

История / география / этнография

Речи немых



Виктор Бердинских

Речи немых

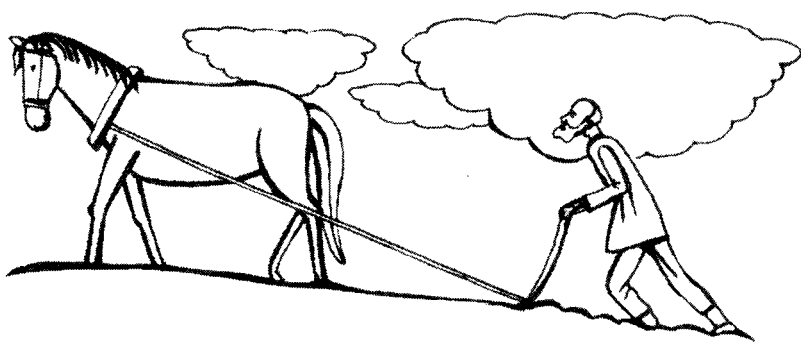
Повседневная жизнь
русского крестьянства
в XX веке



Виктор Бердинских



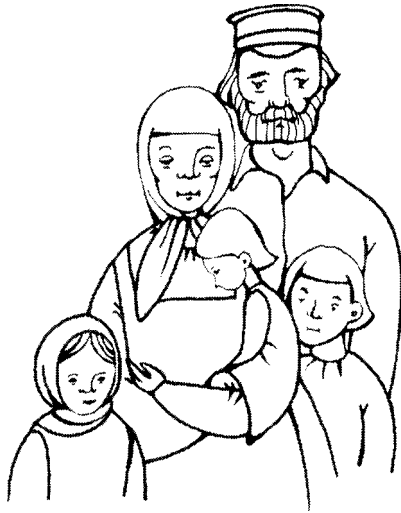
Ломоносовъ
издательство



Виктор Бердинских

Речи немых

Повседневная жизнь
русского крестьянства
в XX веке



Издательство «Ломоносовъ»
Москва • 2011

УДК 392
ББК 63.3(2)6
Б48

Иллюстрации А. Ивойловой

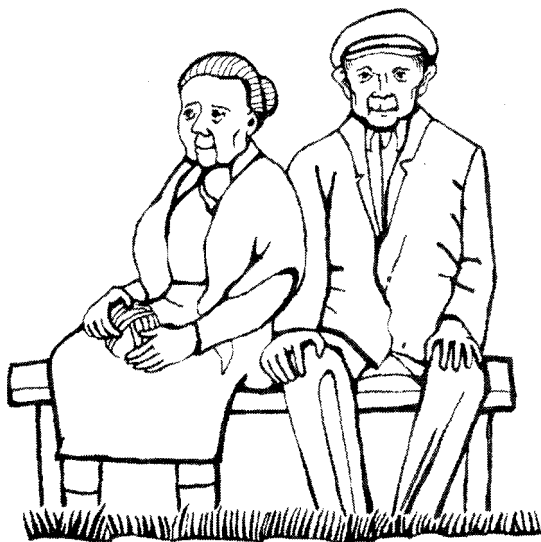
Scan by Greego

ISBN 978-5-91678-112-0

© В. Бердинских, 2011

© ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2011

Что такое устная история?



Девятнадцатый век дал значительное число разнообразных источников по истории русского крестьянства, но в силу целого ряда причин — прежде всего политических — в следующем веке они оказались невостребованными. Реальная и полноценная история русского крестьянства большевикам была не нужна. Отношение к дореволюционной истории России как к «допотопной», сильнейший идеологический пресс и цензура — все это привело к тому, что голосов самих крестьян мы не слышим. Мы не знаем, что они сами думали, видели, чувствовали. Вся многоликая и разнокачественная литерату-

ра о русском крестьянстве — это всегда взгляд сверху или со стороны.

В этой книге я попытался через судьбы отдельных личностей — и с помощью устной истории — показать судьбу русского крестьянства в странном и драматичном двадцатом веке. Что же такое устная история?

Устная история — это история современности на основе воспоминаний участников и свидетелей событий, записанных интервьюером. В условиях России устная история — это и история многих бесписьменных в девятнадцатом веке народов.

До возникновения письменности именно в устной форме хранились и передавались от поколения к поколению социальный опыт, информация о прошлом, художественные произведения (эпос). Думается, что прав исследователь Д. П. Урсу: «После возникновения историописания (анналов, хроник, летописей) устная история не исчезает: параллельно существуют две формы исторической памяти — устная и письменная»*. Основная социальная база устной истории — патриархальное крестьянство. Двадцатый век — последний век существования патриархального крестьянства в Европе.

Абсолютизация письменных источников привела большинство историков к полному забвению источников устных. Второе рождение устной истории (oral history) связано с достижениями научно-технической революции. В 1948 году профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Алан Невинс (1890—1971) начал записывать воспоминания, используя первые магнитофоны. Уже в 1973 году в США было 316 научно-исследовательских учреждений, работавших в области устной истории. В Европе устная история массового распространения не получила, хотя в каждой западноевропейской стране были широко известные специалисты в этой области.

Отметим прежде всего демократизм устных источников. Действительно, на их основе можно писать историю «про-

* См.: Урсуд. П. Методологические проблемы устной истории // Источниковедение отечественной истории. М., 1989. — С.3—32.

стенов» — народа, а не правителей и государства. История снизу — это история личной, приватной жизни людей.

Запись на магнитофон обеспечивает высокую степень достоверности свидетельств очевидцев. А кроме того, в устных рассказах людей есть элементы уникальности — неповторимости личной судьбы человека, чего никогда не найдешь в официальных документах.

Революция в исторической науке двадцатого века привела к тому, что принцип «Нет документа — нет истории» был отвергнут. Таким образом, словесно-речевой способ информации о прошлом вернулся в обиход историка. Мы вновь вспомнили, что народная история всегда была устной.

В нашей стране наконец произошло осознание того, что коллективная память народа — это национальное богатство. Причем в России интерес к устной истории гораздо больший, чем на Западе. Ведь в любом тоталитарном обществе — две правды: официальная и неофициальная, и объем неофициальной правды в нашем обществе был исключительно велик. К тому же очень велик был объем слегка приукрашенных, полуправдивых и полностью фальсифицированных документов. Наши архивы загромождены колоссальным объемом бесцветных, ничего не значащих бумаг, а по-настоящему исторические события часто не документировались.

Мы должны отчетливо осознать — в России 1970–1990-х годов произошел не просто естественный уход поколений, родившихся в 1900–1920-е годы. С этими людьми в прошлое ушла целая тысячелетняя эпоха народной жизни — комплекс традиций и повседневный уклад, создававшийся у нас столетиями.

Резкий слом материальной и духовной (прежде всего национальной русской) культуры, происшедший в 1930–1960-е годы, поставил под сомнение культурные ценности традиционного крестьянского общества. Сформировалось негативное отношение к народной культуре прошлых столетий как к чему-то давно отжившему. Между тем это была живая структура, державшая национальное самосознание общества на своих плечах.

Следующие поколения уже не восприняли и не передали дальше существенные культурные ценности традиционного

общества. Произошел разрыв в цепи поколений — в чем-то, может быть, и неизбежный, но проведенный «мужикоборцем» Сталиным чрезвычайно грубо, жестоко, варварскими методами. Урбанизация и индустриализация страны, роль донора по отношению к национальным окраинам, гибель наиболее творчески активной части населения России в годы сталинских репрессий и Великой Отечественной войны — все это привело к полному разорению российской деревни и уничтожению российского крестьянства — самого массового творца-созидателя великой русской культуры.

Представленные здесь рассказы-воспоминания очень типичны. Записи интервью-рассказов крестьян-старожиллов собирались в 1980—1990-е годы самим автором и проинструментированными им студентами города Кирова (Вятка) по созданным автором программам и опросникам. Всего собрано более тысячи записей. Опросы проводились в основном в Кировской области, но имеются записи рассказов крестьян — жителей других областей России. Многие рассказы отличаются высоким уровнем доверительности, так как опросы проводились внуками старожиллов.

Что же замечательного есть в этих рассказах?

Первое. Это рассказы людей, перенесших неслыханные муки и тяготы, переживших такие бури, которых с избытком хватило бы на несколько веков тихого, бескризисного эволюционного развития. Не может не поражать загадка невероятной устойчивости нравственной основы, крепости духа тех поколений. Очевидно, дело здесь в цельности, нерасчлененности народного самосознания.

Второе. Сегодняшние 70—80-летние деревенские старики и старухи унесут с собой живой русский язык — эту живородящую основу великой русской литературы XIX века. Сменяющие их поколения как в городе, так и на селе говорят совершенно по-другому. Ладовость, сказовость, поэтичность строя народной речи в этих рассказах удивительна.

Третье. Для воспоминаний женщин характерен в основном ассоциативный (а не логически-рациональный) стиль мышления. Прибежавшей на поле встречать отца девочке кажется, что звон от его медалей разносится, словно коло-

кольный, по всему полю. Поэтому высока, кроме всего прочего, литературная значимость такого рода записей.

Не столь драматичны, трагичны воспоминания мужчин. У них один образ не цепляет второй; рассказ идет по хронологии — снизу вверх. Немало тут сухой перечислительности. В художественном отношении воспоминания-рассказы мужчин гораздо менее значимы, чем женские. Вероятно, это особенность стиля мышления, механизма памяти. Для мужчин характерны преуменьшение значимости событий, иронический анализ прошедшего, последовательно-логическая манера изложения. Зачастую эти рассказы окрашены юмором.

Оказалось, что образование накладывает свой отпечаток на стиль рассказа, причем часто этот отпечаток не на пользу. Порой раскрепощенный, живой и яркий рассказ старухи, только две зимы ходившей в школу, резко контрастирует с сухим, казенным мертвым языком учителя, врача, служащего. Образование серьезно меняет строй речи, строй мышления человека, часто уменьшая художественную значимость его воспоминаний. Не столь свободным становится при этом механизм неосознанного отбора значимых для человека эпизодов. У меня есть десятки записей рассказов, по которым словно прошелся асфальтовый каток, настолько они сухи, бесцветны, двухмерны. В основном это люди со средним или высшим образованием. Не получается у них сопереживания, слияния, растворения в той эпохе. Барьер времени, отстраненности для них часто непреодолим. Эмоциональный накал речи, ее интонационное многообразие, жест в речи для них так же недостижим, как естественен для многих престарелых крестьянок.

И последнее. Рассказы крестьян о прошлом — это великая панорама души народной. Они свидетельство умения остаться людьми в эпоху страшных испытаний и потрясений, когда цена отдельной человеческой жизни падает до минимума, а на карту поставлена судьба целых народов. Это ли не сокровище русской истории?

Избирательность, субъективность человеческой памяти несомненна, но поражает искренность этих рассказов, их исповедальность. Люди, нередко находящиеся на поро-

ге смерти, часто осознающие завершенность своей жизни, не видят смысла в том, чтобы сознательно себя приукрасить, где-то выгородить. В их рассказах есть мудрая рассудительность, соразмышление, выстраданность, обращенная не к нам, а вперед, к грядущим поколениям. И нет обозленности на судьбы других людей, какие-то жизненные обстоятельства, свою судьбу. Люди смотрят на прошедшие годы не только как на события, которые нельзя перерешить; чаще они рассматривают их в своей незавершенности. Мать, ждущая и через сорок лет после войны своего сына; жена, разыскивающая сейчас могилу мужа, — это не легенды, а повседневная реальность. Люди несут прошлое в себе всю свою жизнь.

Рассказы этих людей — ценнейший этнографический, исторический фольклорный источник. Факты, приведенные в них, не мертвы, они включены в систему общечеловеческих ценностей. Причем нам ведь дороги не только факты. Чрезвычайно важно понимание связей между людьми (это исчезает бесследно) и роли человеческой общности как единого целого, как системы.

Рассказы часто горьки и жестоки. Но это не плачи. Понимать их как горестное стенание — нелепость. Всякое повествование держится на высоком чувстве собственного достоинства, осознании личностью своей силы и героизма. Человек раскрывается только тогда, когда осознает, что он достойно прожил жизнь.

Здесь представлены воспоминания-рассказы стариков из самых разных областей России, хотя, конечно, больше всего вятчан. Это помогает, мне кажется, достижению исторического и стиливого единства книги. Неизбежны какие-то повторы, может быть, бросится в глаза монотонность и массовость некоторых фактов. Но это тоже знак времени.

Идеализация, вольная или невольная, времени своего детства и молодости несомненна для большинства рассказчиков. Что ж, таковы свойства памяти. Прошлое всегда стоит на котурнах. Но будем помнить — русские в XX веке прошли через такие страдания и унижения, как ни один народ в Европе. Люди, пережившие XX век, увидели голую основу жизни.

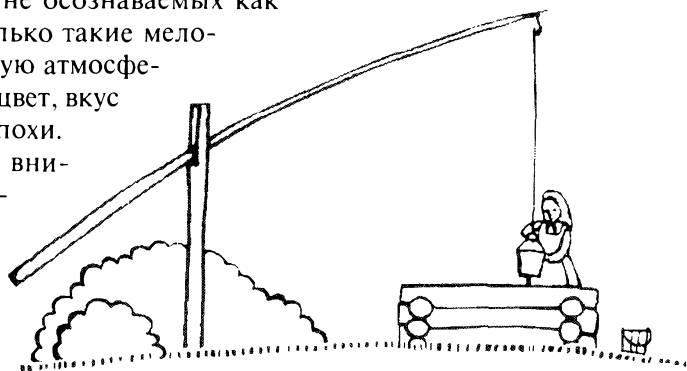
За каждым рассказом стоят человеческие судьбы, прожитые жизни. Это очень много. Материал вламывается в сознание силой своей подлинности. Ведь недаром сказано, что никогда писатель не выдумает ничего более привлекательного и сильного, чем правда. Как из кусочков смальты складывается общий рисунок мозаики, так и здесь из разнообразных и зачастую очень схожих воспоминаний (судьба миллионов была одновременно многолика и типична) складывается цельное представление об истории души человеческой в России двадцатого века. Как в капле волжской воды содержится основная информация о великой реке, так и в судьбе каждого человека преломилась история страны, история народа. Факты, находящиеся в этих рассказах, не мертвы, они включены в систему ценностей человека, взаимоотношений людей.

История молчаливого большинства населения России прошлых эпох — русского крестьянства еще не написана. Между тем через пять — десять лет уйдут в небытие последние люди, сохранившие в памяти духовный облик России — страны крестьянской.

Народные воспоминания о прошлом — это истинная мера времени и мера человека той поры. Противоречивые и сбивчивые, но честные и безыскусные, они нужны нам сегодня. Без них мы обеднеем, обнищаем духом.

Меня прежде всего привлекали мелочи жизни, которые «река времени» погребает бесследно. Между тем реальная жизнь состоит как раз из мелочей и деталей быта, не осознаваемых как ценность. Но только такие мелочи дают настоящую атмосферу подлинности: цвет, вкус и запах каждой эпохи.

Вчитаемся же внимательно. Так жили миллионы...



Великий перелом

Раздел I



Глава 1. Начало века

«Пережила столько правителей»

Плехова Агния Петровна, 1909 год,
дер. Детеньши*

Пережила столько я правителей. Родилась при Миколке, и столько много их сменилось с тех пор. Все пережила: и революцию, и гражданскую войну, и Отечественную войну. В 1914 году тятя мой ушел на войну. Помню, продразверстка началась, когда уже отца дома не было — погиб на фронте. Мама рано умерла. Остались мы с сестрой вдвоем. В продразверстку приедут вечером на обыск, тычут железной — ищут хлеб. Как ведь хлеб отбирали — последнее выгребали! А мы один раз муки-овсянки навалили в амбаре в сундук и заперли на ключ и ключ отдали соседке. Пришли солдаты, спрашивают: «Что в сундуке?» А мы говорим, что именье мамино. Председатель сельсовета с ними был, ну он и заступился за нас. Говорит, дескать, сироты они. Ну и оставили наш сундук.

Жили мы кругом в лесу. Лес для нас был и еда, и топливо. Летом собирали грибы и ягоды, рубили лес — только на

* В случае, если рассказчик родом из Вятского края, название области опускается. Сразу после имени рассказчика указывается дата его рождения. В рассказе полностью сохранены стиль речи, диалектные особенности говора, устность речи старожила. Если последний просил не указывать своей фамилии, ставится N. N.

участках отведенных. Я ведь в лесу долго работала. В войну нас всех гоняли на лесозаготовки. По целым месяцам там жили и домой нас не отпускали. Попробуй-ка уйди! А дома две дочери маленьких да свекор со свекровью... Спасибо им, помогли. Не знаю, но в лесу работали и не болели, видать, воздух в лесу больно здоровый. Ведь в лаптях ходили, и кормили нас плохо. Если норму выполнишь, дак дадут 200 грамм хлеба. Пока идешь до барака — куска как не бывало.

А земля для крестьян раньше дороже золота ведь была. Раньше землю делили по мужикам. Да еще ведь как? Если родится парень в семье, дак ждали еще, пока подрастет он лет до десяти, а то ведь может умерет. А потом уж стали по едокам делить. А обрабатывали-то землю ой-е-ей как! Сперва по весне вспашут, потом навозу навозят, по осени снова вспашут да проборонят. Земля-то ведь как пух станет, не то что сейчас.

Пограмотнее был у нас в деревне один мужик, он все праздники божественные знал, и писать, и читать умел. Помню, вот к нему ходили документы разные писать. Помню, ишо Библия у него была. По одно время, церкви-то когда громили, тогда Библию-то у него и забрали.

«Ладони у него были
сплошная мозоль»

Бучихин Иван Николаевич, 1924 год,
дер. Бельтюги, служащий

Моя бабушка Феклинья Леонтьевна была единственной дочью у своих родителей, а потому ее замуж на сторону не отдали, а женили дома, то есть взяли мужа в свой дом. В старину таких женихов звали «приволами» (иногда «привалами») и на чужой деревне их не любили, притесняли, выживали. Феклинья в 1894 году родила моего отца Николая, в 1898 году — Анну, в 1903 году — Дмитрия, в 1907 году — Василия. В 1908 году деда Логоя Тарасовича, как рассказала бабушка, завистники крутым кипятком насмерть заварили в бане. В наследство от деда остались старый пегий мерин да хомут с мочальными гужами.



Преодолевая все невзгоды, мой отец становился на свои ноги. Обзавелся скотом, стал появляться достаток. Но в 1914 году отца призвали в царскую армию. Он храбро воевал, получил Георгиевский крест, а в 1917 году перешел на сторону революции и в звании заместителя командира кавалерийского полка воевал против Колчака. В одном бою пулеметным огнем ему прошло обе ноги, долго валялся в госпитале, но ноги сохранил. Вернулся домой, глядит — хозяйство в упадке. Тогда он продал свой Георгиевский крест и купил жеребенка и через это вновь стал поднимать хозяйство. Женился на будущей матери моей Анастасии Семеновне в 1919 году. В 1920 году родилась Настя. Мало пожила, умерла. В 1922 году родился Алексей. Он выжил. В 1924 году родился я. После меня родились Миша, Аля, Валя, но все они умерли маленькими, не дожив до трех лет. Шел естественный отбор, слабые умирали. К услугам медицины не прибегали.

Отец часто беседовал с соседями по деревне, убеждал мужиков, что Ленину нужно верить. Нэп считал вершиной человеческой мысли, утверждал, что человек тогда будет человеком, когда трудолюбие будет проявляться ежеминутно. Про Сталина говорил, что это не Ленин и ему до Ленина не дорасти. Об этом говорил с оглядкой и перечислял много знакомых людей, которые бесследно исчезли. В свободное от полевых работ время отец плотничал, столярничал, а потом даже организовал лесопилку. Каждодневный от темна до темна труд вывел отца в середняки. Он имел две лошади, две коровы, овец, тулуп, шубу и весь необходимый крестьянский инвентарь, то есть стал по сталинским оценкам кулаком или подкулачником. Только никто не обратил внимания, что ладони у него были сплошная мозоль. На него было наложено «твердое задание». Он выполнил его. А в 1929 году мы всей семьей ушли из своей деревни в соседнюю коммуны. Бабушка только осталась со своим младшим сыном Василием.

Виделись часто, там было всего десять километров. Бабушка все советовала мне перенимать отцовское ремесло, называла все работы, которые я должен делать. Я как-то спросил ее: «А почему все должен делать я, младший брат? Что же будет делать Алексей?» Тогда-то бабушка мне пояс-

нила, что по сложившемуся в деревне укладу старшие братья и все сестры должны оставить родительский дом, а самый младший сын обязан с детства знать, что именно он должен остаться в своем доме с родителями и только он должен «докормить стариков». По ее понятию я должен был с детства все уметь и делать. Ну так было тогда. С двенадцати лет я стал работать с отцом в столярке.

«Все по пути шло»

Свиньина Дарья Гавриловна, 1907 год,
дер. Зайцы, крестьянка

Раньше говорили: «Лето — припасиха, зима — подбериха». А теперь где припасать-то? Денежки везде нужны.

Как ни говори, до войны лучше жизнь была. Труженик везде успеет. Мы наряжались во все свое. Много я ткала. Выткешь набойное и вышьешь — как красиво! Питание без денег. Мяско-то свое, молочко-то все свое. Грибов насолишь, засушишь. Все как-то было, и аппетит был хорош. И ягод наготовишь. Картошки очистишь, сваришь, грибов принесешь, масло ленное, если постом, а мясоедом — так сметанка. Все сеяли: гречу, просо, пшеницу, горох, рожь.

Вот про витамины говорят. Мы их не знали — а сколько ягод съешь: брусники, морошки, клюквы! Капуста вырастет — вот как табуретка. Конский навоз клали. Поле одно отдыхает, и туда навоз. Рожь сеяли после Ильина дня свежими семенами. Как она вымахает на навозе-то! Сноп выше тебя, как елка стоит. А лен-то сорвешь — и стоит как колоколец. Теперь коров хвоей кормят. Кто раньше такое видал? Ржаную солому заваришь, мукою усыплешь. Она и удой не теряет, и молоко вкусное. Все жали вовремя. Где на угорчине зрело, там и выбирали. Все умело было, все по пути шло.

В семнадцатом году революция была — царя свергли. Мы, конечно, и не знали. Потом узнали. Не было ни соли, ни краски, ни спичек, ни табаку — ничего, а жили. С лучиной пряли. Неграмотный народ все придумает. А краска была — луковое перо, елшиновая кора молодая, от елки, значит.



Сварят, положат, и делается цвет не то красный, не то черный. Овсяные высейки водой заливали. Оно киснет, киснет — им и отбеливали. Чернила — воды нальют два ведра эмалированных в чугуна, накладывают железа. Оно лежит, и вода делается черная.

Соли не было сначала, а потом стали какие-то военные ездить, с солью товарные вагоны. Куда ездили — не знаю. У нас бураки делали, их меняли. Идешь на станцию — через одно плечо вязка бураков, через другое — сумка и кружка. Иной раз дождешь поезд, а иной раз и нет. Подаешь этот туюсок (так они бураки называли), сумку отдашь, а они за туюсок отмеряют соль кружкой. Они, наверное, не мерили — они полную сумку накладывают, и идешь домой. Это я сама ходила и запомнила хорошо. А потом стало все появляться.

Солдаты у нас в гражданскую войну стояли в доме — как раз перед Пасхой. Паек принесут — нам отдадут. Помню, плясали еще с солдатом в сених. Окопы они копали, аэродром у нас строили. У нас тогда было девять человек семья. Пять коров дойных держали, быка-производителя, лошадь на смену кормили (две лошади работали и одна на смену). Война-то вспыхнула в Ильин день. Остались мы со старой лошадкой. Быка забрали. Отец больно жалел сивку. Пять лет кормили, пять лет овес из-под губы не выходил.

В 1918 году летом корову назначили (забрали), а зимой назначили свинью и бычка. Сколько отдали скота! Но не бедно жили. Не сдавали бы землю, по себе бы жили. В эту войну и голодовали, потому что не своя полоска. Где и тюкнешь хлеба на чужом поле, и то не давал председатель.

В общем, держали мы коров по земле, лошадь, овечек после войны-то. Свой навоз был, был и урожай. Потом бедняки (у них навозной-то земли нет, бедняки-то — лодыри да пьяницы были, скот не держали, ничего у них не росло), как Советская власть стала, давай землю делить. По жеребьям выгодно ли? Я раз на поле говорю одному: «Федор, выпряги мерина, он еле ходит. Пусть травки хоть пошиплет». А он мне: «А сдохнет так отдохнет». Не понимает, что лошадь не кнутом, а овсом везет. Вот я бедняков-то и не ценю.

«Жилось не в тягость»

Мальцев Иван Андреевич, 1908 год,
дер. Мальцы, крестьянин

Отец ушел на войну в 1914 году, а пришел в 1921 году. Мужиков не было, они ушли на гражданскую войну, а я с двенадцати лет пахал, сеял, убирал. И дома все надо было делать. Раньше земельные наделы делили раз в десять лет, землю давали на душу (на мужиков только, женщинам земли не было). Где было много мужчин в доме и детей-мальчиков — в тех хозяйствах было много земли. А где земля — тут и богатство, и жизнь зажиточнее, только не ленись. Поэтому и стремились девок побыстрее сбуть с рук, отдать замуж. У нашего деда было три сына, поэтому земли было достаточно. Полосы были широкие, хорошие, и землю хранили, ухаживали за ней, смотрели, чтобы ни одна даже маленькая частичка ее не отошла в борозду или к соседу. Землю пахали не на развал, иначе уйдет в борозду, сосед утащит. Узенькие полоски не пахали, копали, чтоб земля не укатилась в борозду.

В тех семьях, где земли было мало, надо было уходить на сторону, чтобы прожить. Люди уходили на рогожный промысел в Казань. Где земли было много — жили дома хозяйством. В деревне было три-четыре ведущих специальности, с которыми в зиму уходили из дома. Не уходили только кузнецы. На 39 домов в Курени было три кузнеца. Дальше — плотницкая, столярная работа. У кого лошадей побольше — в извоз ходили. В Казань часто возили мясо, хлеб, другие продукты. Поездки были больше месяца туда и обратно, на пять-шесть лошадей сразу.

Мать всегда старалась внушить нам, что земля — это источник жизни. Если будешь ученым, когда в люди выйдешь, но и от сохи-бороны никто не откажет, держись за землю всегда. Земля — мать-кормилица.

Деревня, где я родился, стоит на взгорке. Деды рассказывали, что тут был родничок, звали его кипуном. Первым жителем деревни был беглый, пришлый человек, роста маленького. Когда стали давать первые фамилии, поп дал



ему фамилию по прозвищу: малец. От дедов слышал — пашни расширяли, лес берегли, садили его. Все старые полосы, межи, все сохраняли. Садил лес — звали вересники. Землю берегли — это ужас как! На лугах не росло ни кустика, все выкорчевывали. От родника недалеко протекал ручеек, его называли Лавра. Дальше тек как маленькая речка, в ней полоскали белье и у родника поставили колоду, где полоскали белье и брали пить воду. На Лавре поставили мельницу, зимой река замерзала. Был кипун у покотины за деревней. Он никогда не замерзал, пар окутывал его. Родничок и кипун были обнесены камешками. Деревня была на три конца.

Жилось раньше не в тягость. И жилось веселее, чем сейчас нынешней молодежи. Особых случаев не вспоминается из детства, памяти не стало, а вспоминается деревня, беготня босиком, птицы поют. Когда утром встанешь вместе с отцом или матерью пораньше, вместе с солнышком — солнышко всходит, везде жаворонки поют. Цветы, трава, утины за домами были, так валялись в траве на этих утинах. Черемухи стояли за каждым домом, лазили по ним. За деревней везде тропочки были, так бегали только по этим тропочкам. Траву не мяли, дороги были только лошадиные, шириной в телегу, а дальше уже посева. Их не топтали. Хорошо жилось в деревне, хорошо быть ребенком, сидеть на коленях отца!

«Тогда никому ничего не надо было»

Самойлов Павел Аристархович, 1893–1989 годы,
Бутырская тюрьма, рабочий

Отец мой был из семьи рабочих, он уходил работать в Сормово, с двенадцати лет уже помогал, а в двадцать в партию вступил, завод тогда бастовал часто, мало работали, а тут работать придавило... Отец организатором был, во главе комитета был, тогда и арестовали и его и мать. Мать была женщиной такой, что я до сих пор не встретил, да и не встречу уже. Она за отцом в огонь и в воду готова идти, любила его очень и села в тюрьму вместе с ним.

В гражданскую воевал с германцем, сбежал из-под караула, мне велели трибунала ждать, расстрелять хотели за агитацию против войны. Я еще партийцем понял, что надо держаться стороны отца, верный он человек, верил в Ленина. От него я узнал о Ленине, научился читать, писать. А пришел семнадцатый, я в Петроград пошел, за правдой. Помню, собрались мы, мужики и говорят — ты боевой, ты и езжай, узнай, как тамо кончат али нет войну. Пришел я, отца встретил, объяснил он мне, что к чему, какая революция, тогда я еще не очень разбирался в политике, это сейчас здоров, а тогда болен был еще. Отца в сентябре убили, так я не знаю кто. Но Петроград уже бунтовал, спокойствия в городе не было, патрули везде, пропуска. Остался я в Петрограде, понял, здесь мое место, отца должен заменить. Мы были готовы уже 20-го числа. А потом на штурм пошли. Сколько мы ждали этого, думали, Зимний возьмем, вся страны будет за нами, как мы тогда ошибались.

Ты думаешь, что так просто было, как пишут, — все было: и давка, и стрельба, кто первый ворвался, потом если падал, то по нему и бежали, а сколько скульптур переломали, побили, тогда никому ничего не надо было.

Потом мы делегатами пошли на II съезд Советов, я тогда впервые увидел Ильича, маленький, обычный человек, а какой ум. Люди стояли везде, где можно было встать, заполненный до отказа зал, балкон, летящие вверх шапки, бескозырки, все перемешалось, и он выходит, все не сразу заметили даже.

А тут нас, передовых рабочих, послали в деревню, строить колхозы, крестьянский путь к коммунизму, как мы считали. Ходили уговаривали людей, силу приходилось применять, а что делать, когда сверху приходит разнарядка, столько кулаков выселить, а столько в колхоз записать. Неохотно люди шли в колхоз, жалко со своим расставаться, частнику надежней жить. Единственное, о чем я жалею, что не отговорил людей отдать весь хлеб, мы были уверены, нам помогут, нас не оставят, конечно, нам помогли, но поздно, люди гибли, хорошие люди умирали, а куркули жили. Приезжает такой начальник из района, ему бы поесть да бабу, и на



остальное наплевать. Видя таких партийцев, как крестьяне могли верить нашей партии.

А это уже XX съезд, меня как старого большевика пригласили, споров было много, а толку нет. Разоблачили Берию, Сталина и все, наметили сдвиг в политике, экономике. Но все осталось на бумаге. Честно говоря, я не верю, что Сталин виноват во всех репрессиях, не он, без его ведома, возможно, все это творилось. Он бывал у нас в квартире, еще до семнадцатого года, хмурый был, но честный и принципиальный, для меня он остался идеалом большевика и сейчас.

«Избрали меня
председателем госпиталя»

Русов Павел Никифорович, 1897–1978 годы,
дер. Спирино Костромской губ.

В Тамбов я приехал в 1916 году, где зачислен был во 2-ю роту 204-го пехотного полка. Мой отделенный командир младший сержант Василий Козумов был моего роста, очень красивой наружности. Он как за своим братом за мной ухаживал. По ночам укрывал своей шинелью и одеялом. Я занимался прекрасно и был первым солдатом нашего отделения. Он рекомендовал меня в учебную команду. Я пошел в команду, где мне достался отделенный командир, младший унтер-офицер Миниев. А взводный офицер был прапорщик Увейнов. Офицер среднего роста, широкий в плечах. Мы вскоре узнали, что он был борец и хороший шулер играть в карты. Раз обыграл на две тысячи рублей командира Московского округа Морозовского, а на другую ночь выиграл опять две тысячи рублей и стал жить на широкую ногу. Завел шинель как у генерала и стал ездить на бегунках к нам в Ахмединовские казармы и другой раз придет пьяный. Но мы его любили и уважали. Раз я попал под неприятности, и меня привели к нему на расправу. Он выслушал мои объяснения и велел поставить меня «под винтовку» на два часа. Такое было мне наказание, больше он дать не мог, а мог

передать по команде мое поведение начальнику команды, который дал бы мне 20 часов «под винтовку». Он меня спросил: «Ну, что попался, “Канарейка”?» Он так меня называл. Дело в том, что я во взводе был запевалой и был голос у меня тонкий. Он говорил: «Запевай, “Канарейка”!», и я запеваля...

До февральской революции у нас в роте произошел ужасный случай, какого мы не видали, как пришли на службу. За какую-то маленькую провинность один наш офицер дал наказание одному украинцу десять шомполов. И вот, чтобы выполнить это приказание, этого мужика повели на конюшни. Но в это время солдаты возмутились и, схватив виновника, бросились на унтеров и отбили несчастного солдата. После этого пришел прапорщик, и сделал митинг роты, и рассказал про наказание, которое заслужила рота. Вскоре произошла революция, и прапорщика куда-то дели, перевели в другой полк.

И вот я попадаю на уроки к моему старому отделенному Василию Разумову, который отправлял меня в учебную команду, и к своему земляку по деревне Шевелеву Гаврилу Федоровичу, который ушел на фронт с первой маршевой ротой. Попал я в 20-й Рижский полк, стоявший на участке левее Двины против Золотой Горки.

Я стоял в одну ночь на посту и наблюдал за противником, как вдруг прилетела от него пуля, и ударила в мою винтовку, и разорвалась против лица, и поранила меня в лицо. Один осколок попал в правый глаз около зрачка, и тот по сие время косил, и не поворотить глаза, но врачи забеспокоились и направили меня к специальному врачу в Москву. Приехал я за четыре дня до Октябрьской революции и попал в госпиталь № 115 против Павелецкого вокзала. В госпитале после Октябрьской революции меня избрали председателем госпиталя, и я стал об нем заботиться. Открыл там школу. Дали мне двух молоденьких учительниц, которые были уже в то время партийными и стали помогать мне в правлении госпиталя. Моя голова была еще забинтована марлей, а мне сразу пришлось бежать в город искать подвод и ехать по картошку. 500 раненых солдат были спасены мной от сильной голодовки, где выдавали по 200 гр. хлеба в день. А в это вре-



мя на улице свирепствовала стрельба из винтовок и пулеметов, и стреляли все кому не лень и в кого не поймаешь. Так продолжалось трое суток, после чего можно было выходить на улицу и ездить с ранеными бойцами в Большой театр, где проходила драма «Евгений Онегин». Но из театра приходилось идти пешком, трамваи уже переставали ходить. Когда я провел в госпитале два месяца и все было установлено, что осколок из моего глаза вынуть нельзя, я попал на Комиссию, и мне дали десять месяцев отпуска, и я уехал в д. Спирино, где и был выбран председателем Спирина сельского совета...

В 1919 году был взят в Красную армию и ушел воевать с англичанами под Архангельском. Я был выдвинут в должности каптенармуса роты. Приходилось ездить в тыл за получением продуктов. Потом я служил в 1920 году в инженерной роте в качестве столяра-стекольщика. Приходилось ремонтировать казармы солдат.

В 1921 году меня окончательно демобилизовали. Я пришел домой и стал править своим хозяйством, не имея лошади, а имея одну корову и одну овцу, выделенных отцом.

«Одна как перст»

Меледичева Августа Николаевна, 1910 год,
г. Котельнич, швея

Я родилась 5 марта 1910 года в городе Котельнич. Мама была кухаркой, но рано умерла в 1918 году. А отец в 1915-м умер, под лошадь попал. С восьми лет мы с сестренкой одни остались. Люба меня на полтора года младше была. И вот сразу после маминой смерти получаем мы письмо от тетки по отцовской линии. Она еще не знала, что мама умерла, и всех троих звала к себе на лето в Санчурск. Оно у них жарким обещало быть. Ну, люди добрые денег нам насобирали. С грехом пополам добрались мы до Санчурска. Полпути на лошади, половину — пешком прошагали. А дороги ведь тогда грязнющие были. Прибыли в Санчурск, дом нашли по памяти — узнали. А тетка за водой на колонку ушла. Мы как

были, так в пыли, грязи зашли в дом, залезли на печку да заснули — с усталости-то и не постеснялись. Ну, тетка пришла, нас не видит, на кухне возится. И тут ее сын пятилетний, Митя (их у нее шесть было) на печку полез. Просыпаемся мы от дикого крика. Понять ничего не можем. Оказывается, он нас за чертей принял. Тетя Настя прибежала с хватом, думает, что за такое? Люба в рев, я за ней. Еле признали нас. Рассказали им про житье-бытье, про мамину смерть. Она поплакала с нами. Но, говорит, детки, мне своих-то нечем кормить, грибами да ягодами летом хорошо живем, а зима придет — хоть по миру идти. Так что ж, говорит, у своих-то деток последние крохи отбирать. И сама ревет в голос.

Сейчас я ее хорошо понимаю. С восемью-то ртами далеко не уедешь! Ну, мы тоже не знаем, что делать. Дождались хозяина, дядю Степана. Он, помню, высокий был, здоровый. Порода, волос кудрявый — в деревне красавцем слыл. Увидел он нас — грязные, худющие — у самого сердце сжалось. Говорит, до зимы оставайтесь, не по миру же идти! Стали мы в новой семье обживаться. Все вроде неплохо, да только тетя Настя потускнела вся словно. Чувствовала, наверное, что не поднять ей нас всех. Но виду не подавала — ласковая к нам, сиротам, была. Лето быстро пролетело. Дрогнуло у них сердце, и на осень нас оставили. Но стала, словно мачеха злая. А ведь она добрая очень раньше была.

Мы с мамой часто у них гостили. Люба частенько маму вспоминала. Заберемся мы с ней на чердак и сидим, плачем. А к лету и того хуже стало. И тут через Санчурск семья одна ехала в Вятку к родным. Мы и надумали с Любой уехать. Лучше, думаем, в нищете, да не в обиде. Тете Насте ничего не сказали, а через дочку ее передали ей поклон за все доброе, что, мол, спасибо ей. Добирались мы дней пять, не помню уж точно. Днем шли, ночью у людей останавливались. Устали очень.

В Вятке устроили нас во Второй детский дом, где я была до 1925 года. Хорошо жили, весело. Вот только Любушка в 1924 году от заражения крови умерла. Они в швейном цехе работали, иглу она вставляла, нажала случайно на педаль — только палец прострочила. Думали, рана — к свадьбе заживет. А тут вон как вышло... Одна я осталась, как перст.



«Наш барин учился вместе с царем»

Енина Клавдия Ильинична, 1906 год,
хутор Меркович Самарской губ.

Хутор наш назывался по фамилии нашего барина, он был нации немец. Эту землю он получил в подарок от царя Николая Романова. Родители мои, Енин Илья Исаевич и Енина Ефросинья Григорьевна, которых не знаю года и месяца рождения, но как мне рассказывала моя мать, после раздела с тремя братьями пошли в работники к этому барину. Жили у него, где было помещение для работников. У них было уже двое детей. Мать моя рассказывала, что наш барин Меркович Владимир, отчество не знаю, учился вместе с нашим царем Николаем Романовым и были с ним хорошие друзья.

Когда царь Николай заступил на царство, то подарил ему эту землю. Отец мой жил в работаках у этого барина четыре года, за это время у них появилось еще двое детей. Как мне рассказывала моя мама, было уже три девочки и мальчик. Работали они добросовестно, мать работала на кухне кухаркой, готовила для господ обеда. После четырех лет ихней работы у барина барин отцу моему говорит, даже называя его по имени-отчеству: «Ну, Илья Исаевич, у тебя уже большая семья. За твой честный труд я тебе выстрою домик из сырцовых кирпичей, дам тебе лошадь и корову, а ты живи своим хозяйством, у меня работники будут».

И через полгода им уже был готов дом. Я тоже его помню, ибо я родилась в нем шестая. Всего моя мама рождала тринадцать человек, и все родились на этом хуторе, но выросло восемь человек: шесть дочерей и два сына. Отец и все хуторяне арендовали землю у этого барина. Как мне рассказывала моя мать, барин был очень хороший, добрый и подати брал с хуторян очень посильные. Сам барин зимами жил в Петрограде. На хуторе у него вначале была экономка, а потом он стал с ней жить, но в хуторе все говорили, что он живет с ней незаконно. У них было шесть человек детей. Мои старшие брат и сестры дружили с ихними детьми.

Барин на хуторе построил школу, где учились мы все, а я окончила в этой школе три класса. Отец потом имел уже в хозяйстве, как я помню, четыре коровы, три лошади, на один плуг своих быков, на которых вспахивали арендованную землю. Имел свою косилку, а в 1914 году купил в селе дом и сад и перезавел хозяйство, лошадь, корову и овец, и стали жить мы уже с братом. Мать в начале 1924 года умерла, а нас было четверо, и у брата трое детей. Так бедненько начали жизнь. В магазинах быстро все появилось, жить стало легче. С 1928 года опять пошли всякие невзгоды.

Глава 2. Сплошная коллективизация

«Земля остыла»

Русов Павел Никифорович, 1897–1978 годы,
дер. Спирино Костромской губ.
Из дневника (запись 1973 года)

«Самообложение» — этот налог выпущен в 1927 году. Сам крестьянин должен обложить себя налогом, который и пришлось мне проводить в моем сельсовете. Крестьянин платил сельхозналог — смотря сколько у него земли и хозяйства. Налог исчислялся в десять — двадцать процентов. Какое селение сколько процентов проведет на собрание. В сельсовет пришла инструкция на десяти листах, и требовалось в ней за три дня обойти все восемнадцать селений и представить в райисполком протоколы собрания.

Я пошел по деревням и стал пояснять, что пришло распоряжение и что мужик должен обложить сам себя налогом, который называется «самообложение». Мужики ничего не могли понять и говорили: и так налогов много, и тех не можем выплатить, а им еще мало. Все селения отказались принимать этот налог, и я представил в исполком об этом протоколы собраний. Меня в этом обвинили, хотя виновни-



ком всему был судья района, назначенный ко мне уполномоченным по проведению этого налога. Он не приехал, и мне вместо его пришлось проводить одному.

Но я как человек свой считался, то мужики меня не боялись и говорили: «Ты скажи им, что мы сами себя обкладывать не станем». Отдали меня под суд. На суд я вызвал двух наших мужиков, которые пояснили, что налог не прошел совсем не по моей вине, что я всеми средствами старался провести налог. Но в инструкции же сказано, что в добровольном порядке: хочешь — принимай, хочешь — нет. Я и сказал на суде: «Что же меня судить за это? Надо судить судью Санторина, который не приехал проводить налог».

Заседателями в суде были два моих товарища: один по школе, где за одной партией сидели, другой был председателем Коневского сельсовета. Оба они меня прекрасно знали. Суд ушел на заседание, и меня приговаривают на шесть месяцев условно. Я на это не соглашаюсь и подаю на обжалование. Но все это замирает, а я в это время отказываюсь от службы и передаю сельсовет другому лицу. Вести дело стало трудно, пужно было выявить кулаков, а у меня их не было. Мой Спиринский сельсовет считался самым бедным. Мы даже не могли представить, что такое кулак, если человек не имел никогда работника или работницы. И как ты его будешь обкладывать?

После меня попал тот человек, который нашел-таки кулаков, вернее, стал выгонять из домов самых трудолюбивых мужиков. Он был сыном одной слепой женщины. Он когда-то водил ее собирать милостыню по тем же деревням, где ему пришлось править. А от него тогда и двери запирали и говорили: «Веди ты ее в другую деревню, что ее все время сюда приводишь?» Мать его все это помнила и знала все дома на память. И его где не так встречали — он и давай искать этих «кулаков». В своей деревне пустил по миру человек восемь. Я знал всех этих мужиков, но сделать мне было ничего нельзя. Все шло к тому, чтобы деревня обеднела и шла в колхозы. Так никто не шел. А больше взять мужика нечем, что только обложить его индивидуально и выгнать из

дому — чтобы другому вбить это в голову! И тогда все пойдут в колхозы.

Хозяйства скоро стали распадаться, и мужики пошли по городам и лесным разработкам. В деревне, где было пятьдесят — шестьдесят хозяйств, осталось десять — пятнадцать. Земля, как говорили мужики, остыла, родить не стала.

Война подорвала очень сильно всю страну. В каждом доме не пришли с войны то муж, то отец, то сын. Семьи остались без мужиков, а одна женщина что может сделать в своем хозяйстве... Надо и дрова, и корм для коровы подвезти, и обрабатывать землю на своей усадьбе. Рабочий на заводе живет и кормит всю семью, а крестьянин живет в деревне и голодный, и холодный. И вот, не обращая внимания на развалины деревни, правительство начинает восстанавливать города. Ну, а деревню построим новую, из больших пятиэтажек. Вот так и живем. Все думали, что город образумится и подумает про деревню, ведь она наша кормилица, и ею мы живем, и ее надо в первую очередь подымать из разрухи. А вот, поди ж ты...

«А люди умирали...»

Никонова Александра Ивановна, 1908 год,
село Ким Ростовской обл.

Летом бегали за грибами, ягодами. Мы ходили с бабушкой, она показывала нам травы, учила, когда собирать их, где и как использовать. Чтобы перечить тятю с мамашей... никогда. Мы их уважали, по имени-отчеству к ним, уважительно. Соседей всех знали. Мы середняками считались: корова, лошадь, куры были. В колхоз не хотели, а пришли из правления и сказали: «Не вступите, по миру пойдете, вышлем как кулаков!» Дед покойный злиться стал, но мы его всей семьей уговорили, мол, что делать. Через неделю мы и вступили в колхоз. Много таких семей, как мы, было. В колхозе вся голытьба была да неработь, ничего они не делали: не пахали, не косили — все трахтур ждали. Но его



все не было. И вот они пили, все дни пьяные ходили. А когда мы надел свой вспахали, да и другие тоже, тогда и загнали в колхоз. Но потом прислали к нам из района председателя, умный мужик был — Тимофей Тимофеевич. Тогда он колхоз из пьянки стал вытягивать. Всех пьянчуг из правления и бригадиров выгнал, хозяев назначил настоящих. И хлеб у нас появился настоящий, и люди стали работать больше, разрешили домашнюю скотину держать. Теперь все с охоткой работали, но недолго он пробыл у нас. Говорили, убили, когда с кручи упал. Да мы так покумекали и решили, что Даниловы его убили, сильно прижал он их. Тогда мы и написали письмо в район, чтобы выселили их от нас. Дед повез письмо в район, через пяток дней вернулся и говорит: «Сказали в районе, чтоб хлеб готовили, весь забирать будут. Бабы, готовьте травы, грибы, все, что можно. Трудодни тоже берут».

Он тогда за председателя оставался. А вскоре и подводы пришли, хлеб увозить. Весь забрали подчистую. Бабы голосили, мужики — кто сидит, кто стоит, сигарки крутят. Дети притихли. Все поняли, что смерть идет. Осенью поздней картошку тоже забрали. Зиму мы еще пережили, а весной пухнуть стали. Малые кричат, хлеба просят. А я сама еле на ногах стою, шатает, а их уговариваю. Тогда весной 33-го умерли Галя, Митя, Степка. Жальче всех было Степку, безобидный малый был, ласковый, тихий... И умер тихо. Живот вздулся, посинел весь, голова как шар на ниточке, все жилки видны... И умер.

Дед в город снова ходил, ехать уже было не на чем, всю животину съели. Собак, кошек — и тех поели. С месяц его не было. Вернулся, сказал, что в городе хлеб по карточкам дают, 700 грамм на рабочего, а в колхоз скоро пришлют зерно. А люди умирали, дети и старики сперва, потом мужики. Бабы выносливее оказались. Из пятисот человек, которые жили, осталось пятнадцать дворов. Семьи были до этого большие, от семи до пятнадцати детей. Вот хлеб привезли, а вокруг мертвые. Нас забрали оставшихся и отвезли в город. Там накормили, хотели везти в другое село, да мы не поехали.

«Коммунары»

Колесникова Антонина Егоровна, 1907 год,
дер. Лебедята

В1929 году в Успенском образовалась коммуна. Мой муж, большевик, был ее председателем с первого дня. Сначала в ней было всего два хозяйства. Называлась коммуна Сталинской. Жили коммунары в бывшем кулацком доме, дружно, в ладу жили. Скоро в коммуны вступили батраки, бедняцкие хозяйства. Много было неясно, кое-что даже пугало, но, в общем, все увлекательно, интересно. У каждой семьи была своя комната. Столовая — общая для всех. Обеды готовили женщины по очереди. Сначала в коммуне все обобществлялось. Мы с мужем сразу сдали молодую лошадь, двух коров, шесть овец и свинью.

Работали коммунары споро: с утра до вечера в поле, на лугах. Женщины обычно ухаживали за скотом. После ужина все собирались вместе. Устраивали коллективные читки газет, книг, беседовали. Мы построили коровник, свиарник, двенадцатиквартирный жилой дом (в нем сейчас школа). Кулаки и подкулачники, все, кому Советская власть не по нутру, люто ненавидели, злобствовали по адресу каждого из нас. Жизнь членов коммуны была в постоянной опасности. Поэтому у нас было оружие — несколько винтовок с патронами. Мужчины обучали женщин стрелять.

Враги коммуны пытались нам навредить. Помнится, как-то ночью один из наших, Егор Григорьевич, застучал протезом по коридору (на гражданской он потерял ногу), мой Павел проснулся, открыл дверь:

— Что стряслось, Григорьич?

— Поднимай мужиков, Павел! У скотного двора бродят кулаки.

Мужчины с винтовками выбежали из дома и отогнали выстрелами вверх кулаков, пытавшихся поджечь двор.

Однажды Маша, жена Егора, моя хорошая подруга, прибежала ко мне на ферму расстроенная. Оказалось, что на моего мужа готовилось покушение. Какой-то неизвестный парень, подкупленный кулаками, поджидал Павла



с револьвером в руке за дверь в сенках конторы. Его заметил сынишка коммунара Ивана Аверьяновича и рассказал отцу. Тот вместе с братом Игнатом тихо подошли сзади, схватили опешившего парня и разоружили. Он сознался, что хотел убить председателя коммуны. В то время в коммуне было уже 250 человек.

Жили в хорошем доме, была столовая, детские ясли. Коммунары собрали неплохой урожай, имели хороший упитанный скот. Потом коммуна была преобразована в колхоз.

«А был еще фокус...»

Бабкин Иван Алексеевич, 1920 год,
дер. Б. Черноскутово

Коллективизация... Просыпаюсь в холодном поту, если ночью вспомнится. Собрание... Место за столом занимает человек из района в черной гимнастерке (но не военный), довольно неприветливый на вид. Выкладывает на стол наган, ведет речь о добровольном вступлении в колхоз. Бедняк да лодырь вступал безропотно, ибо у него, кроме кошки, в доме живности не было. А кому предстояло сдать в колхоз годами и трудом нажитое движимое и недвижимое имущество (скот, лошадей, телеги, сани, инвентарь), такие с маху не удерживались от слез. Возражать было бесполезно: нежелающих вступать в колхоз тут же объявили саботажниками, лишали пахотной земли и одворичного участка. Нависала даже угроза быть объявленным кулаком или подкулачником. А был еще фокус — лишение права голоса, нависала угроза конфискации немудреного имущества и высылки невесть бог куда, невзирая на стариков и детей. Невозможно забыть, как из домов доносились вопли отчаяния, словно по усопшим родственникам. Невозможно забыть, как скот и лошади сгонялись в какой-то облюбованный дом, а весной следующего года эти животные стояли в тех дворах, подвешенные на веревках, истощенные до предела — их не держали ноги.

Люди видели, что полно неувязок и противоречий, некоторые делали попытку обратиться за спасением к самому

Сталину, но они уходили в неизвестность, в небытие. Слепая вера в Сталина была столь фанатична и велика, что люди с разных окраин в 1953 году пытались выехать на похороны Сталина в Москву, но въезд в Москву был ограничен.

«Была как война»

Юдинцева Екатерина Семеновна, 1922 год,
дер. Нагаевщина

Мать моя, Князева Парасковья Христиановна, родилась в семье бедного крестьянина. Родители ее жили плохо, семья большая семь человек. Когда мой отец женился на матери, от семьи их отделили. Нам достался двор, от дома отломали. Из этого двора отец выстроил домик. Стали разживаться с чашки да ложки. Из скотины им ничего не досталось, денег не было. У мамы повины были, полотна, которые она сама пряла, ткала. Пришлось продать все свои изделия и другие вещи. А сами остались как гол сокол. На эти деньги купили маленького жеребеночка, стала лошадь большая, стали обрабатывать землю. Вот с этого и стали разживаться. Потом купили теленка. Семья стала прибывать, народилось нас четверо. Только вроде б жизнь стала налаживаться, так появилась коллективизация. Стали агитировать в колхоз. Сначала народ не шел, так стали загонять. Деваться было некуда, и записались в колхоз. Сразу же лошадь со сбруей и телегой и корову забрали. У других и дворы обламывали, а у нас пристроек у дома не было. Вот опять мы оказались бедными. У кого двора обломали, у кого лошадей да коров забрали. Была как война, ревели, ругались. Но некоторые не хотели дома свои отдавать, поджигали их и в бега. Из отобранных пристроев построили конный двор, всех лошадей туда согнали, а по-хорошему за ними никто не ухаживал. Маме поперву жалко своей лошадки, она ревела, переживала, ходила первые дни, кормила. А потом пошла на конный двор конюхом, там работала десять годков. Потом перешла ухаживать за овцами, была «овчаркой» девять годов.



«Имеешь жатку — ты кулак»

Стремоусов Леонид Григорьевич, 1918 год,
дер. Кривошеи

Помню коллективизацию... По нашей деревне и округе происходило одно и то же. Это было бурное очень время. Крестьянину не так-то было просто отказаться от своей собственности, скота, инвентаря, земли, которая была нажита дедами и отцами. После Октября земля была разделена по душам, и каждый крестьянин обрабатывал свой надел земли. Как он ее обработает, удобрит — зависел урожай зерновых, овощей и т. д. Перед коллективизацией года за три-четыре появились в продаже молотилки, жнейки и плуги «Мцыри» двухколесные — Белохолуницкие с одним колесом, очень удобные и легкие в работе — вместо деревянных сох. Крестьянин на последние гроши все это приобретал. Бороны делали сами. Но не каждый мог купить, особенно молотилку и жатку. Ну, плуги были почти у каждого. Которые жили получше, имели не по одному плугу. А если у крестьян было побольше сыновей, то есть было кому работать, — и жили получше. Ведь жили все одной семьей, не отделялись. Раньше хозяин был в доме дед. Жили два-три сына да у них дети большие. Все не могли послушаться деда. Вот в таких семьях и стали заводить технику. Имели не по одной корове, овцы, свиньи, лошади. Ведь каждую семью кормить надо.

Правда, некоторые семьи перед коллективизацией разделились. Которые были пограмотней, уехали в города. Коллективизация была в 1930–1931 годах. Кто не шел в колхоз, облагали твердым налогом и одновременно начинали раскулачивать крестьян. Вот эта самая техника и сыграла роль в раскулачивании. Имеешь молотилку, жатку, плуг — ты кулак, и пошло поехало. Да и была, видимо, установка такая для раскулачивания: не должно быть в деревне, чтоб не было кулака.

Раскулачивали самых трудолюбивых мужиков. Беднота, были и такие крестьяне — кто один, кто большой. Но были бедняки и лодыри, сейчас мы их называем тунеядцами. Средним считался: имеешь одну-две лошади, корову

с подростками «полуторных и мекишных», т. е. теленок. Овец три-четыре, два поросенка. У всех было по четыре-пять и более детей, работали много, но дети умирали. Всех ведь накормить, одеть, обусть надо. Плели лапти, ходили все лето, весной и осенью в них, кожаной обуви было мало.

Конечно, не все сразу шли в колхозы — боялись. Но колхозы организовывали повсеместно.

Глава 3. Раскулачивание

«Всю жизнь поломала»

Дорошина Нина Кузьминична, 1919 год,
дер. Баруткины

Как на нашей семье отразилась коллективизация? Да что ты, считай, всю жизнь поломала! Жили-то мы хорошо, кой-какую скотину имели. Как-то, помню, взяли еще двух девочек соседских, Иринку и Катьку. Родители у них померли (тоже родственники какие-то дальние), вот мы их и взяли. Да, и сидели с нами за одним столом (им даже больше подкладывали), и спали с нами на одной печи.

А отца-то за его такой характер в деревне не все любили. И вот, когда началась эта самая коллективизация, кто-то сказал, что мы кулаки, потому как держим двух девочек-батрачек. А какие они батрачки, жили с нами как родные. Да в то время никто не слушал, кулаки, и весь разговор. Ладно хоть детей было много — не сослали. Но скотину забрали. Оставили только лошадь да двух коров. Это на двадцать-то человек!

Все? Нет, не все. Наложили на нас твердое задание: заготовить в лесу 100 кубометров. Делать нечего. Отец с Колей, братом моим, несколько месяцев в лес ходил. Хорошо хоть лошадь была, без нее пропали бы. А дело зимой было. Отец-то мой простудился, да и слег. Так-то он сильный был мужчина, красивый, видный, даже в старости. Пропал без



вести в тридцать седьмом. Ну, вот, заболел он. Кого вместо него послать? Все малы еще. Только я да Зойка. Ей четырнадцать было, мне двенадцать. Но Зойку в детстве еще лошадь копытом ударила, ногу повредила. Она и ходила-то еле.

Ох, тяжело было. Ведь мне пришлось с Николаем идти. Наголодаешься, намерзнешься, а пока норму дневную не сделаешь, брат не отпустит. В лесу я и материться научилась. А что? Лошадь нужно погонять, а она к концу-то дня так устанет, что русской речи не понимает. Приходилось ее кнутом да матюгом.

План-то этот мы еще долго выполняли. Я уж и в Ленинград уехала, а и оттуда слышала, что еще гоняли.

Да нам-то еще повезло, можно сказать. У нас только скотину забрали. А вот отцова сестра, Татьяна, замужем была за Фролом Михайловичем. Он-то мужик богатый, да, побогаче нас был. Настоящий кулак. Он еще в Первую мировую вроде в гусарах служил, не то офицером, не то еще кем. Так их-то подцепили. Как? А вот пришли однажды утром к ним и еще к таким же и говорят: «Собирайтесь в десять минут!» Те, как были налегке, так и пошли. Только одежды взять успели, а дело зимой было. Погрузили их в сани да отправили на вокзал. А там уже и поезд стоит. Увезли их на Алтай, не помню, возле какого города. Выгрузили из вагонов в чистом поле. Сказали: «Здесь и будете жить». А у них даже лопаты не было, снег раскопать, яму вырыть. В ту зиму народу померло — уйма. Так их весной хоронили, как снег сошел.

«Жить стало не под силу»

Енина Клавдия Ильинична, 1906 год

В 1930 году стали раскулачивать людей, которые были трудолюбивы и жить стали позажиточнее, которые имели три-четыре коровы, две-три лошади. Бедняки им завидовали — самим работать не хотелось. Ведь чтобы иметь хозяйство, нужно трудиться. А трудолюбивых стали раскулачивать. И тогда было уму непостижимо, их голыми куда-то увозили

в ссылки, а лодыри делили и тащили ихнее имущество: все ломали, куверкали, уничтожали, в том числе увозили священнослужителей, уничтожали церкви и все, что было в них. Веру гнали.

Я вышла замуж в 1927 году за вдового человека, у которого было двое детей и меня старше на десять лет. Он жил в средних, а мы очень жили бедно: семья — 9 человек, и мы с братом работали (два подростка). Сыты были, но одежды не было. Была лошадь, две коровы, овечки, и одного поросенка воспитывали. Супы ели мясные, но мяса доставалось мало. Сеяли хлеб, сажали картошку, бахчу свою имели, и были свои яблоки.

Вышла я, тоже имели две коровы, лошадь и овечек, двух поросят и свой садик был, также свою бахчу имели. Земли на все давали — только приобретай. В 1932 году мы с мужем уехали в гор. Самару и с тех пор стали работать на производстве. Началась карточная система, мы присхали в начале 1932 года. Весной в городе стали продукты дорогие, детей было трое, жить стало не под силу!

«Стала наша семья единоличниками»

Подузова Валентина Ивановна, 1925 год,
дер. Ст. Кузнецово

Мама убедила тятю выйти из колхоза. Стала наша семья единоличниками. Однажды отца послали в Йошкар-Олу за хлебом, но мама не отпустила его, мало ли что случится, дак тебя ведь загрызут. А ему за пятьдесят. За то, что он отказался ехать, дали государственных принудительных работ, лето он скрывался, чтобы сжать хлеб для семьи, а зимой-то ушел. Осталось нас у мамы четверо дочерей. Мама-то у меня была боевая и с председателем жила не больно мирно. Сожгла как-то в печи пару жердей с огорода. Сосед сказал, ладно, мне без разницы. А председатель прознал про это, пришел к нам и сказал, вот, мол, раз укра-ла огород, то и отвечай. И ведь никому ничего не докажешь.



Дали маме десять лет, а ведь тогда вообще садили за то, что золу в поле не рассеял, слово не то не там сказал.

Посадили маму в 1932-м, сидела она где-то в Нижкрайской области (Горьковская область. — В. Б.). Отец был тогда еще на принудительных работах, и оказались мы вчетвером, мне было тогда семь лет, Жене четыре года, Зине два года и Гале тринадцать лет. Катя (старшая сестра) заменила нам маму. Сначала мы жили в деревне в своем доме, нам носили еду и одежду соседи, но потом жить-то больно плохо стало, и ушли мы в соседнюю деревню к родне. Там тоже жили не больно хорошо, но все же получше. Как ушли мы из деревни, на дворе нашего дома сделали колхозный конный двор, а потом его перенесли на двор Ивана Афанасьевича Клишина (где валенки и шляпы катали), водяную мельницу, шерстобойку. Избу имел пятистенную, светлую, хозяйство имел крепкос большое. Был у него приемный сын, который был от его второй жены.

Этот Александр был единственным партийцем в деревне. Он и занимался раскулачиванием. Вот приходит он к Ивану Афанасьевичу и говорит: «Отдашь тулуп — погожу зорить», а в другой раз: «Отдашь жеребенка — погожу зорить» и так, что получше было, что взять можно было — забрал, а потом все равно по миру пустил. А наш-то дом продали. Вскоре после того, как ушли мы к родне, вернулся отец, он нас забрал от родни, и вернулись мы в Кузнецово, а жить-то негде.

Тятя тогда купил у нашего дяди нашу же баню за тридцать рублей, там и стали жить. Через год маме отпуск дали за хорошую работу и еще велели документы собрать для того, чтобы освободилась она, говорили ей: «Подузова, отсидишь тут напрасно». В Яранске документы утвердили, в Нижкрае тоже, в Москве утвердили немедленно, освободилась из-под стражи.

А когда сидела, хотели ее на Север на Медвежью Гору угнать, да отстояли. Маму переводили из тюрьмы в тюрьму, одно время она сидела со своим отцом в деревне за двенадцать километров от Нового Кузнецова. Дедушку нашего раскулачили, хотели отправить в Архангельск, да он двенадцать или тринадцать раз бежал, и каждый раз его ловили и снова в Архангельск отправляли.

Однажды его уж больно сильно поймали. Он шел по лесу, смотрит, знакомые люди стоят, а конвоя-то не разглядел, подошел к ним поздороваться, тут-то его снова поймали и послали в Архангельск. Это он рассказывал, потому что последний побег удачный был, добрался дедушко до родной деревни. Пришел: волоса черные, борода русая клочками, одежда порвана, тощий, грязный. Мы его и не узнали, и не поняли сразу-то, почему бабушка-то заплакала.

У нас только дедушку угоняли, бабушку-то и детей их не трогали. А еще он до этого сбегал, и его ловили, так один раз попал он в тюрьму с мамой нашей. Зина к ним бегала, тюрьма была деревянная двухэтажная, на первом этаже женщины, на втором мужчины. А потом маму перевели куда-то за Лотырь. В лесу она сколько-то просидела, и отпустили ее. А дедушку-то опять в Архангельск послали. Умер он дома от дизентерии, не могли мы врача-то позвать, дедушка-то беглый был.

А с мамой вот какой случай вышел: пошла я и старшая сестра Галя в сарай, а он у нас на улице был, прямо у стены, и я сказала: «Вот хорошо, если бы мама сейчас пришла», и тут она выходит из-за угла. То-то радости было! Мама моя два года отсидела. Домой-то вернулась, в банс жить стала.

«Нас сразу разорили»

Иванова Пелагея Ивановна, 1907 год,
дер. Погешур

Амы-то все сами, свекор у меня очень сильно работал, все в лесу работал. Помер, наверное, с голоду. Переживал, наверное, когда разорили. А свекровь после разора долго еще жила. Про дедушку его с бабушкой и говорить не хочу, всю жизнь за их богатство мучаюсь. Никто не мучается: сыновья вот оба умерли, дочь тоже. Я одна живу и мучаюсь. Дедушка все вот так ходил (прогуливается по комнате, чинно переваливаясь, залажа руки за спину. — В. Б.), когда разоряли, говорил: «Пусть везут, ни слова не говорите». Все сдал по-хорошему, теперь «там» по-хорошему живет, а я за их грехи мучаюсь.



Из-за этого ихнего дома нас и раскулачили. Больно я помню, в каком это году было, тогда мы и не разбирали, какой день, число, да год еще... Наш ведь дом сразу было видно, вот нас сразу и разорили. Все унесли: подушки, матрасы... Мне отчим купил сундук — замуж выходить, — он потом стоял в чулане с моими одежами, его тоже унесли. Он его в другой деревне заказывал, большое хорошие там один мужик делал, так вот и этот сундук из дома прямо увезли. Все мои платья, всю одежду увезли.

Вот и вышла замуж за богатого: пришли с мужиком в город жить с одной сумкой, все богатство. Вот так. Олю (дочь) пока в деревне оставили, вот они с бабушкой ходили побираться по деревням. Бабушка-то была слепая, Оля ее и водила. Давали кто, кто и не давал. Кто картошку даст, кто корку хлеба, кто и плевался на них, говорили: разорили, значит, кулаки были, сами виноваты. Так вот разорили «богатых». Я вот и мучаюсь за свое богатство. Все богатство — это земли много имели.

Всяки люди были — богатые и бедные. Большая была деревня, ну, может, домов 100. И дома тоже разные были: у богатых — богатые, у бедных — бедные. Зато жили хорошо: как праздник — все гуляли, в соседние деревни ездили. Как праздник — никто не работает всю неделю. Хоть лето, хоть зима — всей деревней пируем.

Глава 4. Колхозная держава

«Трудодни были пустые»

Просвирякова Ефросинья Константиновна,
1908 год, дер. Глинное, крестьянка

Зимой — пряла, ткала, летом — жала, косила. Жили бедно. Были еще две сестры, вот и пряли на людей, своя земля была неурожайная. Лен не рос, потому и пряли на людей. Когда появились колхозы, стали работать в колхозе. Была

простой колхозницей. В деревне грамотных никого не было. Кто-то учился одну зиму, кто-то вообще не учился. Я три класса окончила, была самая грамотная. Была школьным работником, учила взрослых. Заставили из сельсовета силой, так бы я не стала. Учила почти два года. Занимались после работы, вечером, человек по пять—семь. Сначала буквы учили, потом цифры. Задачи решали. Например, $10 + 5 = 15$. Взрослые ходили три месяца, не больше.

Была грамотная, поэтому выбирали везде. Кладовщиком была, на молококанке работала. На каждую корову давали план. Жили плохо, потому что сколько надаивали — сдавали все. Ребенки привезут — еле выкатят с телеги фляги. Двенадцать годов была народным заседателем, в суде. До войны разбирали гражданские дела, писали приговор осужденному. Например, бригадир или председатель колхоза из жалости дал колхознику хлеба или муки. Стало известно — их судил народный суд.

Трудной была работа в колхозе. День жнешь, ночь молотишь, утром в заготовку едем зерно сдавать. Утром рано да вечером поздно работали на своих усадьбах. В колхозе-то работали за трудодни. Платили мало, а на трудодни ничего не доставалось. Давали совсем немного картошки да зерна. Трудодни были пустые, считали их только на бумаге, палочки ставили. Я трудодни-то людям отмечала. Когда соломы на них дадут — и то хорошо. А война началась, совсем ничего давать не стали. Наш колхоз был бедный, и заготовку не выполняли. Совсем ничего колхозникам не доставалось.

Землю все любили. Как же землю не любить? Земля — кормилица. Люди трудолюбивые, честные, справедливые и добрые были образцом для соседей. Помню, рядом с нами жила семья Чайкиных. Хозяин был посажен в тюрьму за то, что, работая председателем колхоза, выдавал колхозникам весной из колхозного склада понемногу муки. Своего-то зерна у нас до Рождества не хватало. Все его жалели, он так и умер в тюрьме. Дома осталась хозяйка с пятью детьми. Трудно жилось, но она делилась горстью муки с соседями.

В войну даром работали, всю мужицкую работу делали. Лошади падали, кормить их было нечем. Восемь баб



плуг на себе таскали. Поля лопатами копали. Детей рожали на полях. Один раз жали, баба ребенка родила. В запон завернула и домой унесла. На другой день снова на работу пришла. С ранней весны и до поздней осени собирали на зиму траву. Ели лебеду, клевер, листья липы. У кисленки собирали листья и семечки. Весной песты собирали, варили пестовницу. Переросшие песты тоже собирали, сушили, мололи, добавляли в лепешки. Когда растает снег, ходили на картофельное поле и собирали гнилую картошку. Очищали от кожуры и высушивали на крахмал. Потом его вместо муки ложили в траву, чтобы держались лепешки. Ели мякину (шкурки от овса). Хлеба ели совсем мало, а в войну его вообще не видели — ели одну траву. За молоко, отнесенное в молоканку, давали обрат. Яйца ели только в праздники: Пасху, заговенье, Троицу. Масла вообще не видели. Сахар не на что было покупать. Скипит самовар, дед даст сахару помалехоньку. Мы еще одни жили, а были большие семьи, так они и это не видели.

Я детство уже забыла. С семи годов тятя с мамой носили нас на покос. Сидели в борозде. Потом заставляли учиться в школе. Первый год сбежала, на второй год снова заставили. Сначала нас водили в церкву, книжки были божественные, молились Богу. В семнадцатом году, когда пришло советское право, повели с песнями и красным флагом по селу. Отбрали божественные книги, стали учить по-новому. В тринадцать-четырнадцать лет нанималась жать. Тятя отпускал везде. Денег не давал, не было у него денег. В четырнадцать лет на заработанные деньги купила у сестры подкрашенную старую юбку. Ей тоже нужен был наряд, потому и продала. День и ночь сидели, пряли на людей, дешево пряли. Один раз всю зиму пряла: копила, копила — и купила на эти деньги только себе ботинки и калоши.

За свою жизнь я два раза голодовала: в 1921-м и в войну. Так голодовали, что негде было ничего купить. Ели траву, хлеба не было. Как отношусь к Сталину? Не знаю. Только разболел он всех, в самое голодное время был да в войну. Отбирал коров, посылал продовольственный отряд. У всех забирали хлеб. Мы ревели, жить-то совсем нечем. Он, гово-

рят, какой-то нерусский был. При Сталине жили очень плохо. Его-то уж никто не похвалит. Всех раздел и разул. Нашто теперь Сталина вспоминать? Все живут хорошо.

«Людей за колоски судили»

Мерзлякова Евдокия Яковлевна, 1905 год,
крестьянка

Ты адрес мой не пиши! Эти сведения в ГПУ пойдут. А вот вопросы задаешь и запись ведешь — как в НКВД. На меня раз после войны, в 1946 году, письмо настрочили. Ох, и натерпелась я! А все из-за того, что в столовой я работала, мол, я продукты ворую. Меня обвинить и поймать не с чем было, разве я буду своих обворовывать. А вот людей за колоски, за буханку хлеба судили — за то, что человек пить и есть хочет. О Сталине спрашивать незачем, вся Кировская область была в колониях. А песни про Сталина пели: «О Сталине мудром, родном и любимом прекрасные песни слагает народ» или «Сталинским обильным урожаем вся наша земля завалена». Свалили где-то хлебушек не в том месте, а народ с голоду помирал в тридцатые и сороковые годы.

В коллективизацию много народу погубили ни в чем не повинного. Муж мой рассказывал об одном «герое», председателе колхоза. Был он пастухом в селе. Вот так пригляделся — и давай всех в коммуну сгонять. Скотину отбирали. Собрания соберут и выясняют: кто верующий, а кто нет. Даже людей до утра держали в избе, чтоб все поголовно запишывались в неверующие. От слова ГПУ коленки дрожали. У исправных семей (середняков) имущество забирали, а их целыми семьями высылали. Все отбирали у мужика, в колхоз загоняли. Тяжело было. А война началась...

Мужик мой говорил, как их на фронт готовили на сборном пункте. Из бригадиров колхоза взводных делали, из председателей — ротных. А потом наших мужиков как мух били. Некоторые бригадиры и хлеб не умели выращивать, не



то что воевать. А потом, после войны, на колхозной конторе лозунг повесили «Вперед — к победе коммунизма!», а в колхозе было семь коров. Бабы коз держали, так их налогом не облагали. Так и прожили.

Все покалечили во времена Сталина. Колокола сбрасывали, божьи храмы ломали, народу столько полегло... А за что, спрашивается?

«Все время боялись»

Пырегова Александра Алексеевна, 1900 год,
крестьянка

В колхоз вошли в 1932 году. Председателем стал Коля Ванюшихин. Лошадей взяли, по корове оставили. Некоторые свой скот продавать стали, так с них штраф брали по 100 рублей. Землю в колхозе наперешку стали пахать (поперек полос), чтобы всем одинаково было. Около каждого дома двадцать пять соток земли одворицы оставили. Такие усадьбы у нас были. У Зайчиков, у Мосиных — по сорок соток, а так везде по двадцать пять было. До колхозу за землю подать платили деньгами. До колхозу хлеб не продавали, все на свою семью. Деньги брались, только вот если скотину продавали или от промысла: лапти, холст, ягоды, еще чего на базар возили. А в колхозе стали все брать: картошку, яйца брали — курицы есть, нет ли, зерно — маленько ведь посеешь, а все равно брали: мясо, шерсть, молоко.

Сначала работали за хлеб, а в войну да после войны — все даром! Траву ели да работали все! Дошло до того, что платить за работу в колхозе совсем не стали. Записывали только трудодни, а по ним выдавать было нечего — все уходило на разверстку. Кормились кой-как со своего огорода да хозяйства. Коровы почти у всех были поначалу. Потом налоги установили на все. Сено косить не давали. Распоряжались во всем уполномоченные из городу. Косили сено для коровы тайком, по болотам. Выносили с ребятишками на руках ночью. И все время боялись, что вот придут, опишут все

сено на сарае и отберут. И было такое не раз! Да еще суда все время боялись. Судили за каждый пустяк, даже за то, что колоски и гнилую картошку на поле собирали. И некому было пожаловаться... Двадцать два мужика и одна девушка не вернулись с фронта. Остались подростки да женщины. И нельзя никого обвинять, можно было только плакать. И горько плакали люди, уезжая из родных мест. Оставляли свои дома, опустели целые деревни. Кто хоть как-то мог устроиться на работу — все уезжали. Многие девушки уходили в няньки, потому что без справки от колхоза на работу тоже не брали.

Многие деревни теперь уже перепаханы, и следов от них нет. А те, которые остались, стали намного хуже. Теперь уже не строят, как раньше, домов с разной обшивкой, не следят за каждым колодцем. А речка, а луга возле деревень? Все загажено. Сильно обеднели наши места. А ведь все было! Были кругом леса с грибами и ягодами и даже бортовым медом. Каждую весну прилетали журавли. Крупные серые птицы разгуливали по полям. Близко людей не подпускали. Издали было хорошо видно, как они поднимались с разбегу. А теперь никто уже не увидит их в наших местах...

«Решил уйти из председателей»

Бажин Иван Алексеевич, 1918 год,
дер. Слатые

Жили мы средне: имели лошадь, двух коров, кур и другую живность. Когда началось раскулачивание, односельчане все говорили, что нас надо раскулачивать. Это потому, что дом у нас очень красивый был, с верандой. Ну, отец мой сломал веранду, так все и кончилось. Все разговоры. Мне в то время было лет тринадцать-четырнадцать, очень жаль было веранду, плакал.

Когда у нас началась коллективизация, председателем стал выдвигенец, тысячник. Он все хотел, чтоб я в сельсовете секретарем был, но отец меня не отпускал. Тогда



меня записали агитатором, грамотный все же. Первое время в колхозы не вступали, боялись. Некоторые говорили, что все будет общественное, что построят один общий дом и будут все вместе жить. Я, как был агитатором, разъяснял, что все это выдумки. И в деревнях мы объясняли. Записались мы в колхоз одними из первых, потому что я был агитатор. В нашем районе до колхозов еще, помню, была одна коммуна. А председателем в ней был партийный. Пока он был председателем, дела шли хорошо. Потом он уехал куда-то, или перевели его. На его место стал другой, и коммуна развалилась.

Колхозы сначала не понравились людям, но потом все привыкли, и стало вроде так и надо. Когда умер Ленин, некоторые говорили, что Советская власть кончилась и все будет по-старому. Помню, как в 1934 году убили в Ленинграде Кирова, вот и начались разоблачения врагов народа. А мы всему этому верили. Когда в тридцатые годы людей раскулачивали, их выселяли в тайгу.

Помню, однажды нам на деревню дали задание — выделить две подводы. Это значит, для того, чтобы везти раскулаченных. Тогда в деревнях были комбеды, вот они-то и распоряжались, кого направить для отправки этих лишенцев, то есть раскулаченных. И поехал мой отец еще с одной там. Вначале они сами не знали, куда едут. Конвоиры не говорили. Ездили больше недели. Потом отец рассказывал, что приехали они в Кай. Это было зимой. Высадили раскулаченных в лесу. Отец говорил, что эти люди плакали, и он плакал вместе с ними. А там была одна девушка лет восемнадцати. Она поймалась за отца: «Дяденька, не оставляй меня!» Отец потом мне сказал: «Был бы ты постарше, привез бы тебе невесту. Очень красивая девушка». А мне тогда было четырнадцать лет.

В 1938 году меня взяли в армию, и я находился в военноморской пограничной школе. Был у нас такой случай. Шли строевые занятия. Во время перерыва разошлись кто куда. Один курсант пришел в туалет, а бумаги с ним не оказалось. Его товарищ дал ему газету. А на ней был портрет Сталина. Курсант взял газету, посмотрел и говорит: «О, Иосиф

Виссарионович! Ну да ничего, надо же чем-то пользоваться». Когда закончились занятия и мы пришли в казарму, его вызвали в штаб, и оттуда он больше не вернулся. Нам потом сказали, что это был враг народа.

После демобилизации из армии в 1946 году некоторое время я был председателем колхоза. Помню, нас, председателей, вызвали в район для отчета. Колхозы после войны ослабли, народ жил плохо, голодно, ел траву. Вот стал отчитываться один председатель, тоже фронтовик, и сказал, что задание района выполнить не сможет. У него было две лошади всего, урожай немолоченый, а у него забирали этих лошадей на лесозаготовки. А ведь лошади нужны были ему на молотилку, такой был там конный привод. Да еще хлебозаготовки вывозить. Поэтому, говорит, лошадей не дам.

Председатель райисполкома встал и говорит, что вот это — враг народа. Таких врагов народа надо искоренять, чтобы они нам не мешали. Прокурор взял трубку телефона, сказал, чтоб прислали двух человек. Когда мы вышли в коридор на перерыв, то увидели, как в кабинет вошли двое милиционеров, пробыли там минуты две-три и вышли с этим председателем. Вот тогда я и решил уйти из председателей.

«Самая натуральная крестьянка»

Рублева Ксения Афанасьевна, 1918 год,
с. Шестаково, крестьянка

Сейчас я пенсию получаю, тихонько живу, излишков не имею, но и на правление не жалуюсь. Мне, старушке, много ли надо? Хлеба кусочек да воды глоточек. Магазин близко, дрова помогают заготовить — так что бедности особой нет. Я-то хорошо живу, а вот рядом старушка бедует. В девках-то богато жила, отец кулак. А потом, как Советы пришли, ей плохо пришлось... И за коровами ходила, и дрова таскала, сейчас пенсию маленькую получает, 35 рублей. Сам посуди, что на эти деньги купить можно?



А я тоже не принцесса, везде работать приходилось, все на этих руках держалось. Так что колхозница я с рождения, самая натуральная крестьянка. Как профессию получила? Да очень просто. У нас ведь как не пойдешь в коммуну — помирай с голоду. Вот ведь как было! Хотя куда беги, хоть за границу! А я подумала, погоревала, пошла. Прихожу, а встречают хорошо. А я боюсь, слова сказать не могу, страх по мне так и ходит.

Ну вот. Мне начальник бумагу дал и говорит: «Теперь жизнь у тебя начнется с перспективами». Ну и началась! То тут корова поляжет, не встанет, кто-то сено сожжет, то платить нам нечем... Так и перебивались первое время, а потом легче стало, научились вместе жить, друг друга понимать. И жить лучше стало, в стране дело на лад пошло. Конечно, наша работа тяжелая, ручная, незаменимая. Руки ни одна машина не заменит — золота в них на пуд. Жаль, что со временем сила из них к старости уходит, а потом и я уйду... Боюсь, что уже и солнце-то не увижу, и людей-то знакомых.

Да, не профессия это, а работа, настоящая работа. Бывало, так за коровами набегаешься, что ног не чувствуешь, а руки каменные, как плети висят. А коровы, они все разные: одна добрая, что человек, а другая, как сатана. Вот и ходишь за ними: кормишь, доишь, чистишь и видишь, как растут они, теляточками обзаводятся.

«Чайное блюдечко муки
делили пополам»

Головешкина Клавдия Архиповна, 1920 год,
дер. Исаково, крестьянка

Отец наш шел за советскую власть. У нас создалась коммуна, и он первым вступил в нее. И хотели построить общий дом. И наш отец первый отдал дом для этого. Но коммуна была недолго. Образовался колхоз, и все коммуны перешли в колхоз. Мы остались без дома. Конечно, горя

много приняли, и нам через какое-то время дом поставили. Но в 1929 году случилась большая беда: помер отец. Работать некому — мы остались мал мала меньше! Все разошлись, кто в няньки, кто куда, а старшая сестра ушла в стряпки. Годы были плохие, мама зарабатывала мало и была не в силах нас прокормить. Помощи нам никакой не было. Все остались неграмотные. Старшая сестра только училась на ликбезе, брат тоже, а я кончила только один класс полностью. Больше не было возможности учиться, потому что зимой нечего было надевать на ноги и на себя, ходили полуголые.

Жизнь до войны была веселая. Уедешь пахать или боронить в поле. В поле едешь очень рано, песни петь не хочется, а с поля — не считаешь, что устал, начинаешь песни. Как сядешь на верховую — и до самого дома не останавливаясь пели песни. Как-то на душе все было хорошо. Придет сенокос — то же самое. Все мужики и бабы на сенокосе. И тоже смех да радость. И вроде не выдаючи день пройдет. Потом подходит страда. Жали серпом. В поле, конечно, только смотрели друг на друга, чтобы никто не опередил. Жали помногу, серпом выжинали по 30 соток на человека. А если вязать за жаткой, то надо было навязать-то 300—350 снопов. И все их поставить суслином или бабками. А домой тоже с места тронешься, когда солнце сядет на место. И все это было с таким весельем и песнями. Или сядешь поужинать или пообедать, так не было никаких крупных разговоров, только смех, и все были какие-то жизнерадостные.

Когда пошлют обмоютки хвостать, конечно, эта работа не очень всем нравилась, но никто не отказывался. Будешь молотить семена на простую молотилку — тоже работа нелегкая! Намолачивали 300 пудов. Эту работу занимали десять человек — все веяли, солому убирали, и коней гонял один человек. Тут уже поспекает другая посевная. Озимую рожь надо сеять, и хлеб государству надо возить. А у нас хоть и не очень было далеко — четырнадцать километров, все равно нелегко. Попадешь в амбар подымать кверху, приступков двадцать, может, и больше, так на последнем приступке чуть ноги шагают. Повозишь хлебозаготовку, и дальше перерыв.



Поспевает овес жать и снопы в кабаны класть. Тоже работа тяжелая и не женская, а приходилось делать. Потом появились тяжелые молотилки. На них, конечно, молотить было быстрее. Молотили с осени до весны. Возили снопы на конях. Зимы были холодные, а поле дальше — за шесть километров. Было очень холодно возить снопы, но возили по всем зимам. Народ был, конечно, дружный. Работали за трудодни. На трудодень получали всяко — какой урожай вырастет, столько и получишь.

Зимой сидели с лампами керосиновыми. Днем работали, а ночь еще надо прясть куделю, ведь носить нечего. Денег взять негде, кроме как продать хлеба, а много продать тоже было нечего. Семья была большая, и все мелочь. Рабочих было три человека. Отец потом помер и оставил нас семь человек. Так что горя хватило много — собирали, одевались очень плохо. Из семи ребят нас осталось только трое, четверо померли, все не дожили до пенсии, все были простужены. И померли молодые.

«Дела были плохи»

Беляков Михаил Анатольевич, 1910 год,
Тамбовская губ.

Коллективизация прошла у нас быстро. Все сельчане почти сразу же вступили в колхоз. Сопrotивления практически никакого не было. Вот только кулаки все середняков на свою сторону сманивали. Но кулаков было мало — всего две семьи. Средняков быстро сломали, а семьи кулаков собрали и увезли красноармейцы.

Очень много раз приезжали люди в кожаных кепках, все агитировали нас за колхозы, рассказывали что и как. Наша семья сначала сомневалась, но потом всем миром решили, что вступать надо, так будет легче. Но легче не стало, работали сначала за галочки или трудодни. Денег тогда нам и не думали давать. Много раз наш колхоз переименовывали

в подсобное хозяйство или в совхоз, а зачем... мы работающие там, не понимали.

Когда все только записывались в колхоз, жалко было отдавать туда нашу скотину. И года через два как мы были в колхозе, у нас чуть ли бунба не была. Все крестьяне захотели обратно своих коров, потому как видели, где их скот содержали, как к ним относились, чем кормили. Мор страшный был среди скота. Но потом уладили все дела. Председатель ходил и всех успокаивал. Было очень строго с планом. В тридцатых годах, если ты там не выполняешь, все что обязался, дела были плохи, могло дойти и до расстрела. Ну а если в голодные времена ночью выберешься на поле унести колоски, то судили за это беспощадно и высылали далеко на север колымить или сажали до десяти лет.

Коров голодом морили. Тут рядом стоит стог сена, а коровыдохнут. Дак наши сельчане ночью коров кормили, из колхозного стога солому таскали.

«Желающих было немного»

Юдинцев Иван Александрович, 1914 год,
дер. Нагаевщина

До коллективизации была хуторская система. В 1921 году был год голодный. Ели клевер, траву, десятигодовалую солому с крыш снимали. Но хутора в скорости ликвидировали. Начался передел земли, полос, много шуму было. Сделали небольшую подать, кто плохо жил, у того не брали. В начале тридцатых годов начали организовываться коммуны. Был у них общий дом, отдельная у каждого комната, все общее, питание бесплатное. Приели они все, что было от богачей, и коммуны распустили, распались.

Потом перешли на колхозный строй. Но желающих было немного. Приезжали уполномоченные из города: коммунисты, комсомольцы. Говорили, как работать, как что. Сутками длились собрания, уговаривали вступать в колхоз тех,



кто не шел. Кто соглашался, писал заявление, того отпускали с собрания.

Брали вначале в колхоз тех, кто беднее. Если кто побогаче соглашался в колхоз, то его еще вначале не брали. Высасывали из него все, что нажито было. Больше зерна должен был отдать, т. е. подать больше. Так почти весь урожай забирали, а уж когда разорят совсем, тогда запишут в колхоз. Если было две коровы, то одну в колхоз. Если были амбары, конюшни, то забирали. Обломают — и в колхозные конюшни.

Кто не в колхозе был, тому все урезали, землю плохую давали. Пятьдесят соток выпаса определяли. Жить-то надо как-то, и вступали в колхоз. Как деревня, так свой колхоз. Но в деревнях в то время народу-то было много. В семье по пять-шесть детей. Вымерли, кто работал в колхозе, каждому свой осырок, примерно пятьдесят соток. Хочешь, сей какую культуру, а можно и на покос.

В колхозах работали за трудодни. В конце отчетного года подсчитывали в среднем, какой урожай. Примерно пятнадцать — двадцать центнеров с гектара. Обязательные поставки два центнера с гектара государству. Были отдельные государственные тракторные организации МТС, которые помогали в колхозе с техникой. Им колхоз тоже платил или деньгами, или зерном.

Иногда были года, когда на трудодень и по 200 грамм зерна да по 20 копеек. Если, например, в год 700 трудодней вдвоем то примерно 200 граммов, получалось 140 килограммов. И это уже на весь год надо растянуть. Иногда не хватало хлеба, так выписывали авансом. У нас в деревне одного раскулачили. Дом у него был пятистенок, мельница, молотилка и две коровы. Его сперва выселили из дома. Дом взяли под правление колхоза. Дети с женой уехали к сестре, а его на Урал, в шахты.

Многие и давились, когда их раскулачили. Жалко было своих трудов. В первые годы все было на счету, даже навоз. Вывезешь норму на колхозное поле, а уж потом всего телегу себе. Потом колхозы начали укрупнять. В маленьких колхозах председателя выбирали из своих. А в новые больше направляли из города коммунистов.

«Работали много»

Кривошеина Мария Матвеевна, 1922 год,
дер. Зимник

Председатель стоит рукой машет — вот это, товарищи, надо сделать, это надо сделать. Все на канавах, где на дому-то, вот в нашей избе, где эка чудо людей уместишь. Собирали с палкой по окошкам, бежишь к каждому окну: «Эё, на собрание, на собрание». Где там решат собраться, туда и зовешь: «У Митьки под окошко!» Вопросы решали разные, смотря какое время было. Телефонов не было, на конях вот соберутся бригадиры, три бригады у нас было, три бригадира, один председатель.

Дак чо на сходе спокойно, решали сообща, чо надо вперед сделать, нет, раньше не ругались как-то, не орали. Это ведь час без матерного слова за стол не садятся. Раньше так не матерились дома, боялись. Идет председатель, дак все ведь клонятся, а час председатель скажет слово, дак ему двадцать в ответ. Раньше ведь не смели.

Табельный день у нас был с пять часов утра бежишь на конник запрягать и вперед до вечера, — от зари до зари пока светло, все пашешь.

Зимой, если молют, дак с трех утра, разные ведь работа-то были. Коней ведь мы вот гоняли, да сколь не охота вставать, даже ведь мешки заставляли ворочать. Зимой сено возили с лугов. Весна придет, тут уже пашня, посевная, потом навоз вывозят. Все до соломенки вывезут, под метелку все подметут. Запахивают этот навоз, потом сенокос.

Рано до солнца встаешь — косишь. В шесть-семь часов завтракать идешь, повернули сено — потом обед. Потом в копны метать, потом опять косим часов до десяти вечера — это сенокос, потом уборка. Сколь коней сменишь, все бегаешь. 400 снопов свяжешь — палку получишь (трудодень). Циновки расстилали, зерно убирали, дак не единого зернышка мимо не упадет. Циновка ткалась из мочала. Ребятишки лен теребили. Осенью мужики строят, женщины со льном барабаются да молотят его. Мужики зимой



лапти плели, валенки катали, плотничали. Раньше ведь не давали лежать-то, телевизор-то глядеть. Да и не было его. Все, конечно, не опишешь — много работы. Работали много, одним словом.

Глава 5. Сталин глазами русских крестьян

«Всех вождей знаю»

Потапов Василий Михайлович, 1915 год,
починок Соколовский, председатель колхоза

Когда в школе учился, у нас все сходки были, так я всегда на собрания с отцом ходил. Шли они в крестьянских домах. Путаница была страшная. Вечером говорят — записываемся в колхоз, утром уже переиграли — давай выписываться. Добровольности никакой не соблюдалось, и вообще вся эта коллективизация носила принудительный характер. В деревне, правда, был раскулачен один только дом. Жили там семидесятилетние старики. Самые трудолюбивые люди в округе! Раскулачили их зимой, да еще ночью. Выгнали из дому. Взять ничего не дали! У нас их жалели очень. С ними уж совсем не по-человечески обошлись. Варварства было много.

Отношение к Сталину... Что видел, считал неправильным. Однако дисциплину он держал. Это дело немалое. Хрущева я хорошо знаю, в шестидесятых был на трехдневном Всесоюзном совещании. Ездили туда по одному-два председателя колхоза с района. Я был вместе с председателем Лопьяльского колхоза, сидели с ним на галерке в старом еще дворце Кремлевском. Он мне хлопает по колену и говорит: «Какого чудака-то поставили!» Сделали на каждый район фотографию большую: в середине Хрущев, по бокам от него Полянский, Воронов.

Семь лет со Сталиным работал, десять лет с Хрущевым, семнадцать лет с Брежневым. Так что всех вождей знаю. Когда был председателем колхоза, по существу, не давали работать. Кто придет — свои указания, а как работать? На инвалидность вышел, конечно, на нервной почве. Все говорил: «Мужики, неладно дела-то идут!» Дают две тысячи гектара кукурузы сеять. Зачем? Ну и сеял я по десять гектаров и все.

Никогда за соломой никуда не ездил. Всегда своя была. А то ведь аж с Краснодара везут. Делал я всегда все по-своему, а план выполнял. Чувствовал, если бы не план — давным-давно бы уже в тюрьме был, а может, не было меня на свете.

Руководство после Сталина я не любил, потому что считал, все делается в ущерб сельскому хозяйству. Так и вышло. Семьдесят лет уничтожали крестьянство, а как уничтожили — придумали семейный подряд. А семьи-то теперь маленькие. Дети к труду непривычны. Сами себя хлебом не обеспечиваем. Я с 1946 года, как пришел в колхоз после армии, так и понял, что неладно это. Ликвидируют деревни — и все тут! Я ведь председателем был, вставал в четыре утра, а в пять часов уже в колхозе. Сейчас так не работают. Старушка Петровна плакала: «Дурак ты! Здесь уже пять председателей сменилось». И тут не один Сталин виноват. Он людей уничтожил, а другие, после него — экономику: промышленность, сельское хозяйство.

«Разузналось все»

Жиделева Наталья Степановна,
1913 год, дер. Крутихины, служащая

В пионеры вступать не разрешали. Дед говорил, что если вступишь — на части разорву. Но в школе училась. Началась с 30-го года коллективизация. Школьникам давали на каникулы задание — организовать в деревне ТОЗ, а то исключат из школы. Я приехала в шестом классе на зимние каникулы домой, договорились с братом. Собрали собрание, организовали ТОЗ — половина нашей деревни вошла. Пред-



седателем выбрали моего брата, лет шестнадцать ему было. Летом работали. Потом организовали коммуны. В Куменах однажды организовали. Народ не шел, ревели.

Помню, там был дом богача Прокашева, два этажа, каменный. Туда все колхозное добро стаскивали. В школе практику проходили летом по сельскому хозяйству: скот кормили по-научному, морковь я выращивала на участке (урожай большой был — я золы много сыпала). Нас на агрономов учили. В Вожгальскую коммуну ездили на выставку, мне там дали премию — платок кремовый с розами. Тогда узнали, что было в газете «Головокружение от успехов» Сталина. Ходили — объясняли, что местные-то неправильно делали, да и у Сталина голова от успехов закружилась. Как после этого не посадили нас. Ходили, его биографию рассказывали. Ну а потом, после курсов при педтехникуме работала учительницей.

Я к Сталину относилась раньше хорошо. При нем дисциплина была. Но говорить о нем нельзя было. Знаю много людей, которых посадили ни за что. Мужа у нашей учительницы, Анастасии Федоровны, вдруг пришли вечером, взяли с собой, сказали: «Очень нужен». В форме были два человека, увели, и с концом. А еще дядя Сеня, он жив сейчас, ему 87 лет. Работал стрелочником, хороший человек, дочка его училась у меня. Его тоже забрали. Кто-то говорил, что он что-то сказал про Сталина. Лет пять сидел. Их прижимали: жену, сына, дочь. Она дом продала.

А моего второго мужа Леню (первого-то на фронте убили) посадили на двенадцать лет. Это когда Берия еще был. Просидел он, правда, три года. Работал он завскладом, а заместитель был стукач. Были при ревизии излишки одних товаров, недостача других. А это все в выходной день заместитель отпустил товар и не записал. А виноват Леня оказался. У нас все описали. Дело было на 280 листах. Была у меня жакетка, платок пуховый да швейная машина. Это успела убрать.

Потом оправдали Леню, работал он электриком. А мать Лени уже тогда плохо относилась к Сталину, ругала его. Я ей говорю: «Не ругай, а то узнают — посадят». Отца Лени тоже садили. Его там били, отбили одно легкое. Он торговал во время нэла: закупал шерсть, катал валенки, сбывал через

артели. Кто-то написал. Потом и его оправдали. А из-за отца Леню везде исключали. Читаю о Сталине — ненавижу его. Разузналось все, что он делал у власти. А раньше боялись слова поперек сказать.

«Нельзя было ничего говорить»

Клестов Анатолий Васильевич, 1918 год,
кузнец

До 1930 года русский человек — пока колхозы не стали делать, да нэп был — был — предприимчивый. Люди умели работать, не хуже англичан бы жили, если бы вот так не дали по рукам и ногам. А тут отучили работать-то всех эти колхозы. Русский человек — это лодырь. Но не все такие были. Вот у нас в родне все были трудолюбивые, таких не было, чтоб лежать на печке зимой. А какое-то ремесло было, в каждой семье что-то делали.

Во время войны я узнал, что люди, живущие за границей, очень культурные. А сельское хозяйство так залюбуешься! В Венгрии он везет навоз, сидит в такой рубашке с коротенькими рукавами, в шортах, чисто одетый. Вывозят навоз своевременно от ферм. Конюшни они подметают под метелочку. В то время уже у них были автопоилки в хлевах.

До коллективизации все было на рынке, а потом все по карточкам. Мать целыми ночами стояла за ситцем. Тогда во главе власти стоял Сталин. К нему народ относился как к богу. Я, например, служил в армии с 1938 по 1940 год, знал, что в это время начали садить, так что нигде лишнего слова, никакого анекдота. Вот я в артели «Север» работал. Мы сидели в столовой, ели, и ребята стали дуреть. Один в другого ложкой супа плеснул, и этот в него хотел плеснуть. А сзади портрет Сталина был. Капля супа попала на портрет, и этого парня назавтра уж не стало. Его, видимо, посадили.

Да, какое мнение было? Мнение-то у всех отвратительное было, но каждый про себя знал: нельзя было ничего говорить. Знали, что это наш великий вождь, наш самодержавец. Я же при нем воспитывался и рос.



Ну, в 1924 году Ленин умер, я уж тогда в школу пошел. Помню, целые ряды заключенных во время коллективизации шли по нашей улице в тюрьму. На войне мы, конечно, кричали: «За Родину! За Сталина!», но все равно доверия не было, потому что мы войну вначале чуть не проиграли. Сейчас я отношусь к Сталину так, как все. Таких бы паразитов не было бы больше над русским народом.

«Как плакали люди...»

Стремоусов Леонид Григорьевич, 1918 год,
дер. Кривошеи

Сталин для нас был вождь и учитель, все знающий человек. В общем, был богом. Так нас учили в школе, так писала пресса, радио, кино, так учила партия до самой его смерти, так думал народ. Во время войны шли в атаку за Родину, за Сталина, все солдаты и офицеры. После войны в частях, на кораблях, во всех воинских подразделениях изучались все сталинские выступления, а их было одиннадцать. Считалось, что все Сталин, — благодаря его мудрости — наш народ выиграл такую войну. Как плакали люди, когда умер Сталин, ну, думали, конец света, прекращается и Советская власть, загубят нас другие. Разве кто знал все его творения, ведь правду-то только узнали?!

Что внушали народу — то он и думал, куда поворачивали — туда и шли.

«Умных тогда не любили»

Жуйкова Алевтина Алексеевна, 1904 год,
учитель

Когда узнали о смерти Ленина, было собрание в Малмыже. До этого Сталина знали как левака. Но сказали, что будет Сталин, так как его уже обработали, рассказали все

недочеты. Потом уж изъяли все учебники Зиновьева «История РКП (б)» и Бухарина «История материализма». Очень хорошие учебники были. Об этом думали, что Сталин опять берет влево. И все время я думала, что он левак. Вдруг стали брать тетради учеников. Отбирали, потому что в рисунках на обложках нашли антипропаганду. Это ввел Ягода, и после этого считалось, что рисунки на тетрадях не нужны. Но я глядела и ничего не видела. Говорили, что рисунки надо разгадывать, и поэтому отбирали. Мы думали, что все это Сталин. Затем стали исчезать люди. По ночам ездила машина «черный ворон». Если едет «черный ворон», то опять кого-то заберут. А книги у Сталина были хорошо написаны, ими премировали. Мы знали, что Сталин — соратник Ленина. Левак, но и не уважать его не могли. Изучали его работы.

Мой брат был студент, отличник учебы. А умных тогда не любили. Как чистка в институте, так ему говорят, чтобы он уходил из вуза. Как только он окончил институт на инженера, послали его в Министерство обороны. А в одну ночь июня 1941 года в возрасте двадцати шести лет арестовали. Осужден был брат на десять лет без права переписки, а просидел тринадцать лет. Сначала мы ничего о нем не знали. И только случайно его товарищ по детдому, приехав в Киров на совещание, нам сообщил его местонахождение — лагерь в городе Тавда.

Вернувшись, брат сказал, что не знал, что была война. Приехав домой, он не верил, что за ним не следят. Вернулся он весь больной: туберкулез легких, болезнь почек. А ведь был до ареста отличным физкультурником с красивым телосложением. Но он не мог без работы жить. Сначала на работу не брали, а потом он устроился на стройку инженером в Геленджике. Ему там климат больше подходил. Дали ему пенсию. После этого он прожил еще восемь лет и умер. Все время, пока он жил в Геленджике, я его материально поддерживала.

Я замужем не была. Был у меня парень, но, когда нужно было ехать знакомиться с его родителями, я не ответила ему на письмо и не поехала. Он снова мне написал, я опять не ответила, потому что в загсе заполнялась анкета, где стоял вопрос: есть ли в родне осужденные (а у меня это брат) — и таких не расписывали. И только спустя 40 лет я ответила на письмо



своего жениха и объяснила свое молчание. Ведь я поддерживала связь с братом, пока он еще не был реабилитирован. А это запрещалось. Сейчас этот мой бывший парень живет тоже один, так и не женился. Я об этом узнала и ему написала.

* * *

Беляков Михаил Анатольевич, 1910 год,
Тамбовская губ.

К Сталину раньше мы относились с большим уважением, верили в него как в бога. Были тогда стремления, были идеалы.

Помню рассказывал брат мне. Он жил в Москве в пятидесятых. Сталин умер тогда, хоронили его, и он был в этой огромной массе людей. Толпа шла за гробом, и эту толпу постоянно сдерживали. А вот сдерживали варварскими способами: ставили машины поперек дороги, открывали колодцы, отрезали толпы, направляли по другим улицам. После того как прошла толпа, осталась на дороге куча пуговиц, шапок, лежали и задавленные. Потом улицы не один день убирали. Очень много людей тогда погибло, ведь постоянная давка, много раненых, сердечные приступы в духоте. Ребра только так трещали. Люди гибли, но все равно продолжали идти за гробом. Мы тогда были похожи на стадо баранов, которые ничего не понимали. На улицах стоял вой огромный. А мой брат очень умный был человек, он всем говорил: «Чего ноете, придет новый, еще лучше этого». При нем порядок был. А сейчас черт-те что творят, ничего не боятся. Но это личное мое мнение.

* * *

N. N. Раньше Сталин для всего народа был просто богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в сельсовет. В «Красном углу» висел портрет Сталина, мать перекрестилась и меня заставила поклониться. Все жили в страхе, все боялись, но и уважали Сталина. Мы не могли себе представить, как жить без Сталина.

* * *

Н. Н. Сталин для нас был бог и царь. Когда он умер, мы всей деревней ревели по нему. Мы даже думали благодаря Сталину. А и сейчас у меня нет на него зла. Нас он не обидел.

* * *

Н. Н. Отец мой работал председателем сельсовета, организовывать колхозы помогал. Я помню, хоть и невелика была. В него кулаки два раза стреляли — когда коммуну организовывал и когда колхоз. Это только сейчас говорят, что они бедные высланные. Это все меня бесит. Сталина я и не считаю врагом народа. Он, конечно, не царь, не бог, смертный человек. Но его ругают за то, что он вернул исконные русские земли — Украину, Прибалтику. Зачеркнуть Сталина — все наше поколение зачеркнуть! А это время как будет называться? Период болтовни? Отец мой с семнадцатого года коммунист. А из партии потом исключили. Через два месяца восстановили. Ответ пришел — и подпись «Сталин». Так у нас портрет его большой висел. До сорок третьего года, пока отец не погиб. Потом мама икону повесила.

Все говорят — мы маршировали строим! Но мы были равные все!!!

Яковлев Павел Егорович, 1904 год,
бухгалтер

На мой взгляд, Сталин — это подобный Ярославу Мудрому человек, того называли мудрым за то, что он, сидя и не выходя из царского дворца, знал, что делается на Руси. У Сталина таких, как Берия, было миллионы, и он верил им. Сталин расправился и с нашим зятем, последний работал в органах ВЧК, и он сослал его на север. Когда моя сестра поехала на свидание к мужу, то у мужа якобы получился разрыв сердца, а сестра на обратном пути пропала без вести.



Глава 6. О налогах

«Налоги душили»

Зубарева Дарья Зиновьевна, 1913 год,
дер. Устины, крестьянка

Ведь как в деревне в те годы? Попробуй ссеки на меже Велку, так тебе и голову ссекут. Видишь, как было — земля-то полосами была, а между ними вьюнка (это так огород называли). Кричат: «На твоей вьюнке коровы в поле попали!» Вот и идешь опять вьюнку городить. Любили землю-то. А женщина? Хозяйка. В огороде хозяйка, и над семьей хозяйка, и в поле иди не отставай. По году после родов не сидели, дни по два, по три самое большое, а тут иди в поле. У меня у самой пятеро, так со старшой дедушка водился, да со второй тетушка, а с остальными никто и не нянчался. Все одни.

У мужиков своя работа была. Баню они не топили, и с бельем на реку не ходили. У них — огород городить, пахать, дрова заготавливать. А старые-то люди, так те что могли, то и делали. Раньше семьи-то большие были: две молодухи в семье — дак две и зыбочки. Вот старички-то и качают то одну, то другую.

Русские люди простые — вот как я скажу. Ничего не знали о других людях-то, тогда ведь ничего не говорили о других странах. Жили, про соседние деревни только и знали: вот, мол, у Двойников молотить начали, в другой деревне то-то делается. А питались как? Картошка да хлеб, хлеб да картошка. Года бывали, что одним куколем да травой питались. В войну ведь мусор ели. Как, не знаю, люди и выжили. И в городах ничего не росло. Видно, уж правду говорят, что беда поодиночке не ходит. Война, так она и война. А летом ребенки за пестом ходили, за ягодами, за кисленкой. Грибы, конечно, а кто и на речке рыбу ботал.

А я про себя скажу: а ничё не было на себе, ни единой лапотинки. Лапти носили. Валенки были, так они только на праздники, на вылюдье. Главное — налоги душили. Вот смотри, налоги какие платили: страховка — ну, эту деньгами пла-

тили, потом налог военный, за бездетность налог опять же, налог на молоко, мясо, шерсть, яйца, потом заем еще. Бывало, все ночи сидели: подписывайся, да и все! Да как я подпишусь, если у меня платить нечем? Ведь ни рублика не платили. Весной, помнится, раз не подписалась, дак в сельсовет вызвали. «Надумала?» — спрашивают. «Да где, — говорю, — денег нет, а где мне взять?» Ну уперлись — давай да давай. Я уж угопиться пригрозила, так тогда струхнули.

Военный-то налог после войны порядком еще платили, точно не скажу, но долгонько.

«Были отступления»

Зубарев Василий Петрович, 1921 год,
дер. Ивенцы, столяр

Колхозы... Пошло так, что ничего не стало. И отец ушел работать из колхоза стрелочником. Ведь в колхозе дадут 200 грамм зерна, и все. Плохо было, голодно. А как стрелочником-железнодорожником, то там хлебный паек, 700 грамм хлеба старшим, а младшим поменьше — 300 грамм, папиросы, обувь.

Коллективизация... Помню. Все время споры. Одни говорят: «Не пойдем!» Другие насильно говорят — надо. То в одном доме собирают всех на собрание, то в другом, то в третьем. Вот, например, в нашем доме. Придут, всю ночь шумят, кричат. С боем шла коллективизация, тяжело. Но все-таки люди организовывались. Только что толку? Помню, когда перешел из второго класса в третий, голод был страшный на юге. И вот по Котласской дороге идут изможденные люди, еле-еле держатся. Как сейчас помню, два мужика, а между ними женщина. Еле идут, чуть-чуть попойдут — присядут, потом дальше идут. В ссылку. Так вот.

Сталин! Попробуй заикнуться. Все, что он скажет, для нас закон. Но были отступления от закона, таить нечего. Ежов, Берия такие делали выкрутасы, избави бог. Например, перед войной у отца была фотография. И там были сфотографиро-



ваны он и один эсер. За эту фотографию его вызвали в НКВД и продержали неделю: «Вспоминай, кто это! Этот кто?»

Во времена Берии пошла такая неувязка. Мать держит корову — все слай молоко. Пришлось зарезать корову. А в 1947 году мать от беспросветности положила руку на себя. Меня и отца обложили налогом: с отца — 3,5 тысячи рублей, с меня — 500 рублей. Командовал этим Берия. Сталин чихал на все это. Мы не могли выплатить. Тогда имущество забрали. Увезли, оценили за бесценок все.

«Она рвала волосы»

Муратовских Анна Прокопьевна, 1926 год,
агроном

Вчетырнадцать лет из колхоза нас собрали учиться в ФЗО, хоть мы не хотели учиться на слесарей, токарей. Делалось все это насильно. Увезли нас в Тагил, поставили к станку, не кормили. Показали, как работает станок, и заставляли работать. Я очень скучала, ведь оторвали насильно от земли, от родни. Не выдержали мы, сговорились и решили сбежать из ФЗО. А было это в декабре. Мороз — 40 градусов. Садилась в товарные поезда с углем и ехали. Три раза меня милиция с поезда снимала. Подержат немного, смотрят — девчонка худушая (при росте 170 сантиметров весила 35 килограммов), одни глазенки остались. Так и отпускали. А я снова на поезд и ехала. Добиралась восемь суток.

До Котельнича добралась, потом в деревню, чтобы никто не видел. Скрывалась всю зиму на полатах да в подполье. Хорошо, нашлись добрые люди в МТС, дали направление учиться на комбайнера. Я очень обрадовалась, тут же в Яранск пошла пешком. Шла три дня. Там меня сначала не приняли, опоздала на месяц. Я плакала, уговаривала, что буду стараться. Ладно, оставили. Потом работала с утра до ночи, совсем как мужчины.

Самовольно никто не хотел в колхоз вступать. Затем все силой вошли. А реву сколько было! Так переживали, что

в больницу люди попадали из-за этого. Много людей раскулачили зря. У Василисы-труженицы все забрали. Она поехала к Калинину, который подписал своей рукой, чтоб все вернули — «отдать обратно». У Василисы брат сам сделал мельницу. Семья у них была большая, много сыновей. Вот он и решил смастерить своими руками, чтобы легче было жить. Так его раскулачили и угнали в Сибирь. Еще один пострадал — очень хорошо обделывал шкуры (овец, кроликов) и катал валенки, а затем менял на что-нибудь. Ведь не каждый мог хорошо валенки катать. Всех и сослали в Сибирь. Воровски они приезжали иногда, чтобы никто не видел. А потом затерялись где-то.

К Сталину относились на людях хорошо, все ведь были за Сталина: и работали, и учились. Но уже тогда многое понимали. Старались молчать, не говорить про начальство, про Сталина. Если только кто в сельсовет донесет, человек без вести пропадал. Сейчас отвращение полное у меня к нему.

В сороковых годах были займы. Шли они туго. Даже коллективизация проходила лучше. Работали на трудодни. А чего на трудодень? Ничего. Только на мясо, проданное в городе, мыла, соли да сахару немного купишь. А тут займ. Да нужен он нам, этот займ! Собирали собрание, не выпускали до тех пор, пока не сдашь деньги, пока не подпишешься. Это было настоящее зверство! В семьях жили бедно. У Анны Михайловны было девять ребятишек, муж погиб на фронте, а требовали подписаться на займ. Она выла и рвала волосы.

«Деревня вымерла»

Стремоусов Леонид Григорьевич, 1918 год

На трудодни получали только зерно, что останется от хлебопоставки государству, засыпки семян и получали мало. У колхозника была усадьба 40–50 соток, за эту усадьбу плати 32 килограмма мяса, 75 яиц, даже если и курицы



нет. Налог был немаленький, заем обязательный, штрафовка со строения обязательно. Есть корова — 220 литров молока сдай. А где взять деньги, вот крестьянин вез на рынок, что от налогов осталось. Многие и поехали в город.

А после войны по приказу Сталина набавили налог на колхозников, когда всю войну ели траву, т. к. весь хлеб увозили под метелку, даже семян не оставляли, ведь надо было кормить армию во время войны. Но после войны можно было дать небольшой отдых колхознику, а сделали, напротив, еще больше. Надо было платить налог примерно 1200 и более рублей, у кого какая скотина, улы если есть. Где взять было такие деньги? Тогда мясо ведь дешево стоило на рынке, одиннадцать—пятнадцать рублей. Если взять, чтоб заплатить налог, заем, нужно продать колхознику 100 и более килограммов мяса, а на остальные расходы где было взять денег? Городу было хорошо, все было на рынке и в магазине. Колхознику надоело жить в дерьме и голоде. Из колхоза ни денег, ни продуктов. Вот деревня и вымерла.

Глава 7. Об арестах

«Каждый третий был завербован»

Зорин Иван Иванович, 1918 год,
механик

Для нас, малолетних, все происходящие события того времени были очень интересны, все мы ждали чего-то лучшего. Особенно нас, подростков, радовала коллективизация. Мы-то радовались, а большинство населения было против. Лишь небольшая часть населения, которая жила очень бедно, не имела тягловой силы, только она и приветствовала коллективизацию. Почти каждый день проводили сходы (с год, наверное), а иногда в день по два-три схода. Первый раз собирают сельсоветы, второй — с района кто-нибудь, тре-

тый раз — с области. Были случаи, я хорошо помню, прежде чем достать бумаги из портфеля, на стол для устрашения выкладывали наган. Под сильным нажимом проведут голосование, составят протокол, что большинством голосов постановили организовать колхоз. А большинства-то и не было. И порядка не было.

Как дойдут до обобществления лошадей, коров, инвентаря — так и все. Сводить-то некуда — ни складов, ни помещений, ни конюшен. Колхоз все же у нас был организован. И все семьи, что вошли в него, вынуждены были держать скот на своих дворах и кормить своим кормом. При этом сдавали продразверстку государству и как за личное хозяйство, и как за колхоз. А самим хозяевам, которые кормили-поили этот обобществленный скот, не оставалось ничего.

Во многих деревнях негде было разместить правление, и чтобы занять помещение, власти принимали решение почти в каждой деревне кого-нибудь раскулачивать. И раскулачивали притом самых трудолюбивых и хозяйственных мужиков. Делали опись имущества, продавали его на торгах, а самого хозяина выселяли в Сибирь. Притом, мне кажется, делалось это не по приказу сверху, а по инициативе местных властей и партийных органов. Припоминаю такой случай, когда крестьянин из деревни Лопариха, не имеющий ни кола, ни двора, и никакого скота, пришел в сельсовет и заявил шутейно, что вот тех-то раскулачили, а я что, беднее их, что ли? Почему меня не раскулачат? Что и было принято сельсоветом: как за вылазку классового врага он и был арестован.

Когда я трудился уже на заводе в тридцатые годы, очень часто, приходя на работу, не видел в цехе одного-двух человек. После выяснялось, что они арестованы. За что и почему, никто не знал и объяснить не мог. Даже интересоваться этим было запрещено. Репрессировали зачастую тех, кто больше боролся за правое дело и высказывал свое мнение, как лучше организовать то или иное.

Ну, а больше всего аресты производились просто за неуместную болтовню, за анекдоты. Помню, работал я на стройке МВД и спросил одного, знал, что он сидит по 58-й



статье, за что же он был посажен. Он говорит, работал после войны трактористом. А трактор был плохой, чтобы его завести, надо полдня крутить ручку. И он своим товарищам сказал, что на фронте работал на американском тягаче, который заводится от стартера мгновенно, и похвалил эту машину.

Ну и дали ему десять лет как за выхваление иностранной техники и принижение нашей. Можно привести примеров сотню. При Берии ведь разговаривать двум-трем человекам между собой было опасно, так как каждый пятый или даже третий был завербован службами госбезопасности агентом-доносчиком. Поэтому и проходили такие массовые репрессии.

«Старичка забрали»

Новоселова Анна Андреевна, 1914 год,
с. Калинино, директор совхоза

Сталина я никогда не любила. Любила и очень уважаю до сих пор Кирова, Молотова (простой мужик). А Сталина не любила за внешность очень суровую, категоричную. Для него остальные люди — плюнуть на них... А он — вот это да! При мне начались аресты. Как это можно было столько людей уничтожить! А потом, когда он умер, я была в Москве, просила трактор для совхоза, сидела целый день, ждала министра. Мне секретарша сказала: «Вы сходите, посмотрите подарки Сталину!» Я так и не пошла.

У нас в бухгалтерии работал старичок. Однажды я из Москвы привезла снимки Политбюро (их дали в нагрузку), все фотографии правительства. И — сразу в бухгалтерию. А он прямой такой был, посмотрел и сказал: «Да, видать, что не четыреста грамм едят». А нам тогда по 400 грамм хлеба давали. Тогда в НКВД были завербованные в коллективах люди, которые следили за сослуживцами и доносили на них. И вот одна такая у нас передала куда надо эти слова. Старичка забрали, куда-то отправили и только

после войны в 1946 или 1947 году он пришел. Но до дома не добрался. Вместо Горок вылез в Бурце. Ехал на пароходе. Он поднялся в гору и от переживаний умер. Разрыв сердца! Там вид открывался на наше село. Очень уж хороший был мужик.

Меня тоже вызывали в НКВД. Ногин сказал: «Вы часто бываете в коллективе. Может, будете передавать, кто что сказал?» Я ответила: «Нет, я часто бываю в коллективе, но разговоров не слушаю, только заставляю делать, что нужно». А потом они, видимо, пригласили эту работницу. Платили ли за это, не знаю.

«За разговоры»

Буркова Валентина Михайловна, 1915 год,
учитель

Мой одноклассник был взят за разговоры, он не вернулся. Взрослые боялись говорить в 1937–1938 годах, предупреждали детей. Ссылных было много, больше женщин легкого поведения, из-за них в городе появились венерические заболевания.

Двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатые годы — это было тогда. Я помню, как шли колонны по этапу кулаков-выселенцев. Сначала лошади с людьми, детьми, потом люди с котомками, палками. В Кировской области ссылали в Кай и поселок Лесной. Их собирали на опорных пунктах. Колонны пеших шли по Вятскому тракту.

К Сталину и раньше, и сейчас хорошо отношусь. Он ведь не один в ЦК был. Все цари были душегубами, он тоже был.

За 34 года не нажил ничего — порядочный человек.

Была дисциплина: на пятнадцать минут опоздал — под суд. Все были на работе, не прогуливали. В магазинах колбасы было по двенадцать сортов. Брали 200–300 грамм.

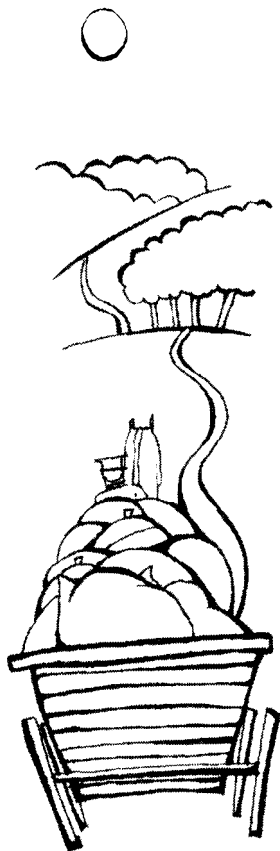
В рассрочку давали всяких товаров, материи. Все было дешевое.



Чарушина Зоя Ивановна, 1928 год,
медсестра

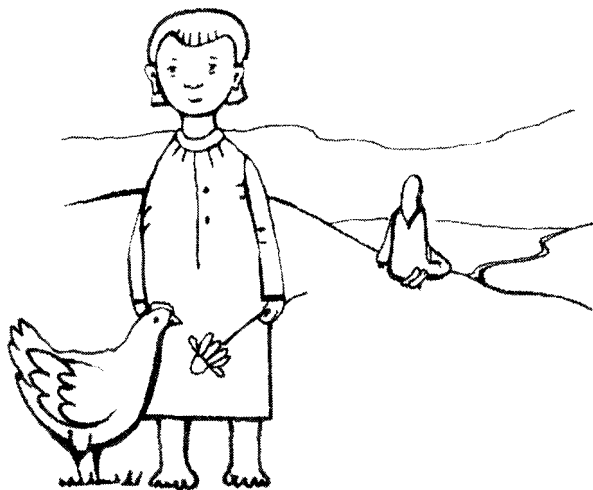
Раньше, конечно, Сталин для каждого человека — это как отец родной. С таким уважением, трепетом относились и некоторые вместо иконы вешали, боготворили. Вот какое отношение было. И боялись... А как боялись? За пять минут опоздания судили. Тридцатые годы — это смутное время было. От родителей помню, боялись даже слово сказать, боялись где-то собираться, лишнего говорить. В тридцатые перед самой войной хватало на ходу. Я была свидетелем, как отца у меня чуть не упекли за частушку. Все продал, приехал голый. Ни сесть, ни лечь — ничего нет, а спел частушку злую. Спел, и все, а ведь частушка-то к Сталину и не относилась. Его бы расстреляли...

Маму тоже, если кто ночует из деревни, вызывали — кто да что. Вверху жил над нами из «серого дома», так вот как мы ему смерти просили! Скольких он упек! Когда уж война кончилась, все на реку ездили на лодках кататься. И он, видимо, со своей организацией из «серого дома» ездил по реке на лодке, лодка перевернулась, и он на реке тонул. Все видели, а никто его не спас. И после войны не поймешь, что было. Почему в плену был? Да ведь он, может, раненый был, может, оглушило его. Виноват разве? Вспоминаешь, и волосы дыбом встают, вот какое время было!



К

Раздел II
РЕСТЬЯНСКОЕ
СЧАСТЬЕ



«Жилось весело»

Платунова Елизавета Ивановна, 1900 год,
дер. Ерусалим, крестьянка

Деревня наша была на баском месте. Нашу речку пошто-то звали Крутец. Наверно, из-за того, что шибко было круто. Сбегали в нее малые речки: Водяниха, Борисовка. А вода-то в них была! Каждый камешек по цвету увидишь. А мельниц-то сколь на них было! Ерменская, Скоковская, Борисовская, Боровлянская, Ботяниха. Мельницы мололи на три сорта. Страсть хорошо жить, коли мельницы-то близко.

Леса около деревни были вот уж сколь хороши. А берегли-то как! В среднем поле лес был строевой. Идешь по нему, сосны стоят одна к одной, только в вершинах пошумливает, ровнехонькие. Разделен был на полосы, кажный и ухаживал за ним. На дрова рубили в верхнем поле, и там был у каждого заполосник. Вырубишь сколь на дрова, весь сук подберешь. Мелочь всю осень сжигали. Бурелом весь сразу подбирали.

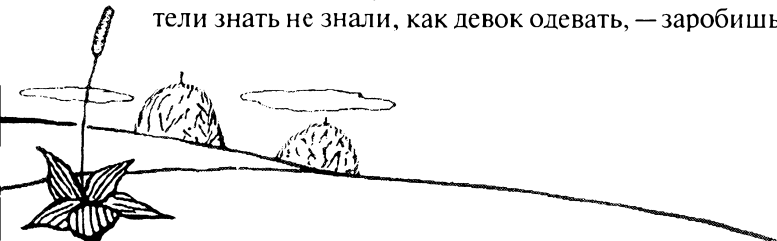
По заполоснику как по избе ходили, перешагивать нечего было — вот какой был порядок. А хлебушек-то рос, ой господи! У каждой семьи в деревне было три полосы земли в поле. Полосы по пятеро гон. Долги же они были! Скота держали помногу. На поля вывозили назем все соседи вместе — были наземные помочи. А вот была у нас вдова, мужик-то умер, звали ее Ваныха-Якуниха. Ей-то уж обязательно назьму возили. Было трое ребят у нее, все малы.

Назьму возили много. Весной солнышко подогреет, ступишь ногой, так и теплая земля-то, подогревалась быстро. Зерно-то и кладешь в тепленькую землицу. А колос-то потом положишь на ладошку, так и вес чувствуешь.

Соседи жили скромно, нигде никакой ругани, бранного слова не услышишь. Мужики к бабам всяко относились. Но ведь, надо сказать, мы — мужиков-то уважали. Да терпеливые были. Робили не хуже их. А вот с каким почестям к старикам относились! Идет старик по деревне — лучше бы куда с дороги отвернуть. Поди не так поклонись или чё не так оболочено. Всем еще из ребят строго наказывают и учат, как надо им кланяться, здороваться. Одним словом, почитали стариков и слушались. Уж слова не переставишь.

Единолично жили, а друг другу ох как помогали. Все было поесть, попить. Семья у нас была семнадцать человек. Сами управлялись. А в пост разве поесть было нечего? Ох и вкусна была овсяная каша — мочиха, саламат, тяпня с суслем, щи постные. Мяса хватало на круглый год. В погребную яму снега наложишь, дак лучше холодильника. Все свое было. А солонины всякой: огурцы, капуста — спускали в ключи, нисколько не мозгли. А летом когда жнут — топлено молоко уносили в бураках берестяных. Оно и не грелось и не мозгло. А делали варено молоко корчагами. Ох, только вспомнишь! Сметана стояла в горшках всяка: тут топлена, тут кисла. Какую надо! А бьешь — комок останется, сдвбник. На нем потом стряпню сделаешь, лучше нынешнего печенья. Овсяные сочни подсушат, да и с молоком холодным — оттепленным ели. Посудка-то — глиняны горшки. Их прожаришь в печке, да еще с вересом ошпаришь. Потом наливаешь молоко, а запах-то какой приятный по всей избе.

А вспомнишь как работали? Все успевали. А ночью молодые девки на себя работали. Деньги-то надо на одежду. Кустари у нас ездили, к домам подъедут со шкурками беличьими. Вот я и брала хребтовые пластины. Сшивала бунты. По пять сотен, бывало, сшивала. Надо сшить 26 рядов. А потом из них, этих бунтов, манто богатым шили. У меня манта не было: шибко дорого. А за работу платили копейки: 25 копеек с сотни. Родители знать не знали, как девок одевать, — заробишь и купишь.



А наряжаться любили! Плясать ходили в шерстяных юбках. Каких только расцветок не было! Да еще с атласными полосами... Таллин ой как хорош был! Батист на кофты покупали. К праздникам шили белые нижние юбки, вышивали — мережили. Красота-то какая! Была еще муравая матьря. Глядишь на нее, никаких цветов не видно, а пойдешь — всякими цветами так и переливает. На головах носили разноцветные полушалки. Каким цветом только не было! И не смывались. Вот плат, ему больше 100 лет. Черный, розочки мелкие, невысказанной яркости, крупные по полям. Зимой носили пуховые платки. Привозили издалека. В кольцо проденешь. Всю жизнь носила один плат.

А тут и в колхоз вступили. Я не знаю, как записывали, потому что на собрания ходил мужик. Бабы-то ведь не ходили. Придет мужик и говорит, всех в колхоз зовут, а я, говорит, не пойду. А я говорю: а я пойду! Он и согласился. Вступили в колхоз. Лошадь увели, а другую скотину оставили.

А што? В колхозе мне глянулось. До этого мы жили дружно, в колхозе стали эдак жо. Пока у нас было три деревни, все было хорошо. А как укрупнили, все пошло-поехало. Всякий сброд отколь-то наехал. И где это видано? Мужики пить стали, бабы — матерщина пошла. Хлеб куда-то увозили. А тут и война. Радива у нас не было, газеты не читали, о правительстве ничего не знали.

А вот еще интересно. Жили раньше — бога боялись, стариков почитали, работали с утра до вечера, а жилось весело. Злости ни на кого не было. Вот я всегда думаю, сколько у прежних людей было терпения. Умели все переносить. Я даже стихотворение запомнила, оно мне и сейчас как-то помогает все переносить:

Боже милостив, владыка,
 Научи нас в мире жить,
 Обновите дух, владыка,
 Научи врагов любить.
 Научи меня смирению,
 Все обиды забывать,
 Дай мне, господи, терпения
 Крест нести и не роптать.

Я не богомольная. Пускай мне скоро 90 лет. Но чего-то все равно есть. Вот раньше ходили исповедоваться. Так после исповеди и помазания где и сила бралась. Домой придешь, дак горы ворочаешь. А вот у нашей соседки сын был, он по морю плавал. Прибегает она однажды и ревет. Видела во сне Ванюру, стучит в окно и говорит: «Тонем». Молилась всю ночь. Потом он рассказывал, что взаправду в ту ночь едва не утонул. Неученые мы были, а хорошо жили.

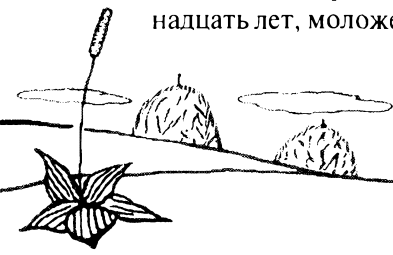
«Каждая семья имела ремесло»

N. N., 1917 год, дер. Ваньшины,
крестьянин, столяр

Земли у крестьян нашей деревни было немного, но деревня по крестьянским меркам того времени жила неплохо. Каждая семья имела какое-нибудь ремесло. Прадед, дед и мой отец Иван Дмитриевич были столяры. Долгие зимние вечера при свете керосиновых ламп строгали, пилили, клеили, шлифовали, долбили, точили...

В семье было восемь человек: отец, мать, я, брат старший и четыре сестры. Дом был большой, двухэтажный, полукаменный. Внизу была большая русская печь, в углу — котел, где грелась вода для скота, стоял столярный большой верстак с массой инструментов. По стенам и на различных полках лежало множество заготовленной древесины, которая годами сохла, чтобы потом пойти в дело. Отец и мать всегда вставали в четыре утра и начинали работу. А мы, ребятишки, спали наверху, на втором этаже на полу, на соломенных матрасах, которые затем выносили в сени на мороз. Работал отец вручную, станков не было. Приходилось торопиться с работой, поэтому нас, ребятишек, начиная с восьми-девяти лет, заставляли уже что-нибудь делать, помогать отцу. Да, пожалуй, даже и раньше. Нужно было шкурить дерево, полировать, варить клей, выносить щепки из мастерской — так называлась большая комната на первом этаже.

Пилить и строгать стали уже позже — в двенадцать—четырнадцать лет, моложе не доверяли, могли испортить доску или



брус, которые стоили дорого. Подрастая, все дети втягивались в работу. Получалось своеобразное состязание — кто лучше. Оценивала работу обычно мать, Афанасья Федоровна, тоже выросшая в семье столяра в соседней деревне. Отец был скуп на похвалу. К пятнадцати-шестнадцати годам я уже самостоятельно мог сделать красивый стул, диван, стол, письменный стол, простой платяной шкаф и другое. Об этом быстро узнала вся деревня и округа, и мужики, встречаясь на улице, уже снимали картуз при встрече и тепло здоровались со мной, называя по имени-отчеству.

Отцы и родные обычно этим гордились. Но такую почесть надо было заслужить, не каждый этого добивался. Так я стал столяром. Конечно, летом столярничали мало. Крестьянская работа в поле, на лугу, на скотном дворе отнимала все время. Ребенок в десять-одиннадцать лет даже в лес уже ходил редко за ягодами и грибами, которых кругом было множество, — нужно было помогать родителям. Ходили в лес почти только в дождливую погоду.

Люди по характеру были доброжелательны и трудолюбивы. Образцом для деревни обычно был дом, где все работали, работали весело, много, где в доме были шутки, смех, где весело отмечали сельские праздники. Был в нашей деревне этакий. Эта семья была не богаче других, не наряднее одевались, не лучше других кушали. Но из этого дома почти всегда слышались песни, вечерами игры на гармошке или балалайке, двери были всегда раскрыты для всех. Около забора у этого любимого дома росла большая черемуха. Когда поспевали ягоды, хозяин дома ставил лестницу на черемуху, и мы, ребяташки всей деревни, с удовольствием ели ягоды. Они были крупнее и слаще, чем на других черемухах. Хозяин просто ежегодно удобрял дерево навозом, и, кроме того, доброта и улыбка его делали ягоды еще вкуснее. Потом он за свое добро расплатился жестоко в годы раскулачивания.

Люди по праздникам в деревне веселились, но пьянства не было. В деревнях были отдельные пьянчужки — один-два на деревню. Это были лодыри, которые не хотели работать. В деревенскую страду их можно было видеть с удочкой на

реке или с поклажей за спиной, несущих что-нибудь в город, осенью — с ружьем, спешащих на охоту.

Один раз мне пришлось видеть страшную мужицкую драку в одном большом селе, где две деревни что-то не поделили. Были убитые и раненые. Но дрались мужики трезвые.

В двадцатые — тридцатые годы с одеждой было плохо. Носили больше холщовую домотканую одежду. Зимой верхняя одежда была меховая: азямы, тулупы, борчатки, шушуны, шубы... В каждом хозяйстве было много овец, поэтому меховая одежда стоила дешево. Зимой носили валенки. Редко кто знал слово «ревматизм». Летом крестьяне ходили в лаптях или босиком. Лапти очень удобная обувь. А вот в грязь, особенно весной или осенью, крестьянину было плохо.

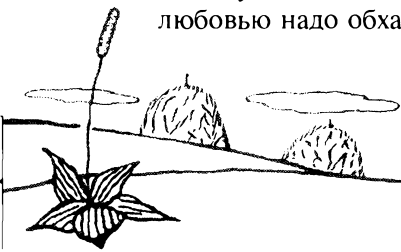
В семье к приметам в прошлые годы относились очень внимательно, запоминали их, сами наблюдали. Но со временем они перестали совпадать, и серьезно верить в них не стали. Однако их помнили, и считалось особым шиком, особенно у стариков, вставлять их в разговор.

К Масленице ставили ледяную горку, большую, пять-шесть метров высоты, и украшали елками, бумажными цветами, иногда веселым чучелом. Начинали кататься с горки ребяташки, потом молодежь, дальше пожилые люди. Парни ездили из деревни в деревню, высматривали себе невест. К вечеру подходили ряженые в различных масках, старой одежде, около горки зажигали факелы. Все это сопровождалось нехитрой музыкой: гармонь, балалайки, ложки, различные трещотки. Ребята приходили домой веселые, усталые, в мокрой одежде. Развешивали ее у печки, чтобы на другой день снова идти кататься.

«Нельзя людям без красоты»

Новоселова Анна Прохоровна, 1917 год,
дер. Шустово, рабочая

Сейчас ведь все в ученые люди идут, а от земли людей сотучили. А ведь землю — ее сердцем чувствовать надо, ее любовью надо обхаживать. В деревнях раньше жили мирно



и дружно. Сосед с соседом встретятся — «доброе утро» говорят. Были и злые, и жадные, но их как-то и незаметно было. В основном добрые, дружные, открытые люди были. Мужики свои дела решали, бабы — свои. Песни, частушки пели чуть не каждый день. Помню, еще малехонькой девчушкой была, а у нас в деревне два мужика было. До чего задиристые да ругачливые, да все назло соседям... Так крупно поссорились из-за чего-то, но люди их пристыдили. Мол, нельзя же задирать постоянно, устали уже от ваших выкрутасов. Так один из них на примирение пошел — частушки забавные сочинил и под окном своего соседа и спел под гармошку. Тому потом пришлось таким же макаром сделать. Так вот и помирились. У нас в деревне гармонист был дядя Тима, весельчак такой, особенно подопьет когда, так его и не остановить было. А весной река разольется, девки с парнями на лодках катались. А раздавались песни как, аж душа радовалась!

Женщина раньше у мужа под каблуком была. Ее дело было работать, детей рожать да помалкивать побольше. Раньше-то ребенки с малолетства за материн подол держались. Она и наставит, и поможет где надо. Мать и уважали тогда, а сейчас вот и забывают родителей-то, не почитают.

По приметам, милый, люди и раньше жили. А ныне ведь все изменилось — весна с зимой перепутались, лето с осенью — и не поймешь ничего. А погоду почти всю по приметам и определяли: когда весне прийти, когда зиме наступить, когда сеять, когда пахать, когда урожаем собирать. И в колдовство верили, не все, конечно, но гадали и ворожили кто как мог. Вот башмачок за ворота бросали. Куда носочек-то у него укажет, значит, собирайся, дева, замуж из дома отца в ту сторону. Стол накрывали на двоих, нужно было приговаривать: «Ряженный, суженый, приходи ко мне ужинать».

Девки еще старались узнать, не пьяница ли муж будет. Так они кринку в чашку с водой опрокидывали. Если вода туда забегала, значит, муж такой же охотливый до вина будет, если нет — живи, девка, спокойно. Еще в ночь перед Рождеством, перед тем, как спать ложиться, так волосы гребнем надо было расчесать и в зеркало поглядеться. Да потом под подушку же и положить, да и приговорить, чтоб суженый

во сне приснился. Потом еще на дорогу выходили и спрашивали у первого встречного имя мужское, что перво-наперво в голову придет, — так вот и жди суженого с таким именем.

«С песнями легче»

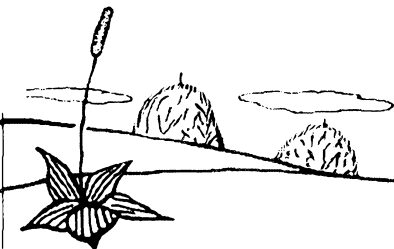
Злобина Анна Григорьевна, 1913 год,
дер. Злобины, крестьянка

Какие люди? Всех людей на одно лыко не свешаешь. Нонче Кесть дурные, и раньше всякие были. Раньше люди поспокойнее были. Сейчас вон они на производстве нервничают. А тем более побегаешь по магазинам — есть-то нечего. Сейчас женщине полегче стало. А раньше работы было много. Хлеб сама пеки. Через день квашня. Вставай пораньше да пеки. Мололи на мельницах. Раньше хлеб по трудодням давали. Сперва государству, потом колхознику. Армия-то тоже была, кормить ведь ее надобно. Вот и жили. Женщина — по дому, мужику хозяйства хватало. С детьми-то больно некогда было возиться. Раньше дети махенькие-то волочились на печи или еще где. Бежишь, бывало, на полосу, ребенка тащишь под сосну, а сама за работу принимаешься. Жнешь свою полосу, неохота отставать-то. Землю начисляли по числу едоков. Родится ребенок — земли прибавят. Корми, воспитывай! Все с собой.

Раньше радива не было, свету не было. Что могли знать? Книги не читала, я — человек бестолшний. Работали усердно. Досуг ли читать газеты, проводить собрания? Усадьбы были по 50 соток. Огородцы садили, сеяли клевер, картошку, хлеб. Соток 20 — картошкой, остальные хлебом засеешь. Жили-то мы бедно. Одна без мужа трех дочерей растила: Тамарку, Гальку и Полинку.

Раньше носили все портяное, ткали сами. Пальто сошьют девке, так до смерти хватало. Девки носили юбку, кофту под юбку, ремешком подпояшут. Сказки-то я все из половины знаю, а частушки есть, певали девками.

Вышивала я платочек
Лебедями, утками.



Дожидала милого
Часами, минутками.

* * *

Полюбила я такого,
Он молчит — и я ни слова.
Дивовалися на нас,
Вот так пара собралась.

* * *

Ко мне милый подойдет,
На лице улыбочка.
Мое сердце встрепенется,
Как на речке рыбочка.

* * *

Ты зачем сюда приехал,
Незнакомый паренек?
Иссушил мое сердечко,
Как на печке сухарек.

* * *

Мой миленок, как теленок, —
Только веники вязать.
Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать.

Или вот про Семеновну частушку певали.

Семеновна! Да больно бойкая!
Наверное, выпила,
Да рюмку горького!

* * *

А Семен, Семен!
Да наколи-ка дров!
А не наколешь дров,
Так не поешь блинов.

* * *

Семен, Семен!
Да не подсвистывай.
А потерял штаны,
Иди разыскивай!

* * *

Мене милый изменил,
Я сказала — наплевать!
Я такого лягушонка
Решетом могу поймать.

* * *

Говорят, я боевая,
Боевая не совсем.
Боевая десять сушит,
А по мне страдает семь.

* * *

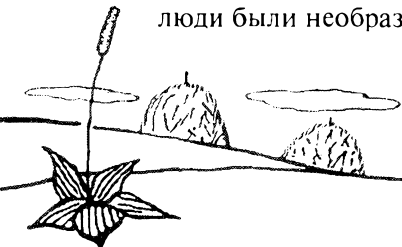
Говорят, что я горда.
Это верно, это да!
Гордость девушку молоденьку
Не портит никогда.

Раньше-то я много всего знала. Жизнь нелегка, а с песнями — все легче.

«Какие люди были вежливые!»

Стремоусова Нина Федоровна, 1922 год,
дер. Кривошеи

Ведь в деревне тогда были все неграмотные, не могли сами расписаться, да и, собственно, где было и расписываться-то. А если надо было расписаться, то кого-нибудь просили. Мои родители тоже были неграмотные, но вот запомнилось, люди были необразованные, а какие вежливые, культура от



природы, видимо, всегда уже поздороваются друг с другом, поклонятся, шапку снимут. И не ругались матом, как сейчас, это был и грех большой и осуждалось, ведь на деревне все всё друг про друга знали, всё известно будет, живо осудят за такое.

Мать у меня умерла рано, я осталась от матери на четырнадцатом году, был еще брат моложе. Вся работа по дому на мне стала, скотина ведь была: корова, телка, овец три-четыре штуки, курицы. Да и у каждого была скотина, питание все свое было, и жито сеяли, и огород садили. Кто не ленился, работал, дак сыт и был.

Работать я начала в колхозе. Был у нас бригадир, который назначал на работу, утром часов в пять стукнет в окно, скажет: «Сегодня туда-то иди». Куда пошлет, туда и идем: навоз возили на лошадях на поле, машин не было никаких. Слышали про них как про сказку какую. Возили весной на телегах со своих хозяйств и с фермы на колхозные поля, удобренье ведь тогда и в помине не было. Люди нагребали, а мы возили или разваливали по всему полю. Лошадей было много, некоторые держали и лошадей. Сама умела запрячь лошадь: одевала хомут, дугу, седёлку, подбрюшник, чересседельник, сани с оглоблями. Потом боронила, сеяли. Все приходилось делать. А бригадир-от скажет в пять часов, а встать-то часа в три, а то и раньше, надо ведь и печь истопить, сварить и для скотины и для себя, корову подоить, накормить. И бежишь ранехонько на работу. И вроде все успевалось и не уставалось — и насмеешься и напоешься. Хорошо было, воздух вольный какой. Потом, когда сенокос поспевал, это был как праздник, конечно, молодые были, все нипочем. Косили вручную, все луга выкашивали, сено потом загребали и метали в стога. Это самая веселая работа была, одевали самое нарядное и яркое, как на праздник: розовое, голубое, красное. Эти цвета считали самыми нарядными у нас. А вот самое главное, всегда работа с песней, по всей округе, кажется, разносится. Ведь не пили, а как пели песни красиво. Кто-нибудь запекает, а остальные подтягивают, песни длинные, протяжные. Сядут поесть, отдохнут маленько — и песня. Есть с собой брали в платок, яйца вкрутую, лук зеленый,

бурак квасу, хлеба ржаного. Какой хлеб ароматный был, пекли ведь сами его, от посева до печки все сами делали, своими руками.

«Находилась я по праздникам»

Белякова Клавдия Васильевна, 1906 год,
дер. Таракановщина

У-у-у. А вот праздники. Праздники раньше мы раз в году ходили. Ох, и находилась я по праздникам, попела песни, а плясать не плясала. А праздники так ведь это собирались у нас не известно из сколько деревень. Молодежь в кругу. Девки — это, знаешь, липатские (деревня Липаты), дальше наши бы девки, там за нами сапроновские, звено, там еще какие. Ну, вот и они, даже две песни поют — велик круг так... Тут одна деревня поет песню, там другая. А у нас загодя собирались. Не часто. В Троицу, в заговенье — летом только. А зимой вечерки все устраивали. Парень делал вечерку. Собираются парни, собираются девки, играют. Всякие игры. Гармонисты свои. У нас мало-то танцевали. Ну, играли, «Хрен» пели, да скомаром ходили, да... всякие-всякие песни. В игры играли. В почту.

Так вот — девка едет, а парень за ней стоит. Девка топнет, парень спрашивает: «Кто тут?» Девка: «Почта», — говорит. А он: «Зачем?» Ну «привезла вон то-то», — скажет. Платок носовой или еще что-то. Парень: «А кому это, кому?» Ну, а она опять назовет, извеличает кого-то. Тот приходит, они поцелуются. Он сядет на это место. А она спрашивает. Он опять говорит: «Почта». «Откуда и зачем?» Отвечает: «Оттуда-то и с этим-то». Опять назовет... и так вот. Так играли.

В «Соседа» играли. Опять, знаешь, парни парами девок разберут и вот ходят две девки, спрашивают: «Да вот мы со своим соседом. Справьте удовольствие». Ну, а они говорят (парень с девкой): «Как от вас». И вот я ездила со своим-то мужем (не жених и невеста еще были). Ну, а были там парни интересные, и вот один все льнет ко мне. А его там девка... Ну, вот она и говорит:



Гостить гости
Глазками поверти.
На часок приехала,
На перегон поехала.

Это она поет песню мне. А я пошла петь песню:

Подруга, не кори
модой своей.
Погуляю у тебя здесь,
Не увезу с собой.

А она мне опять, снова. Это все уже обойдут и опять пришла ко мне. Опять мне поет. А я ей снова:

Я поехала сюда
Ну никак не завлекать.
Я, молоденька девчоночка,
Приехала гулять.

Так вот так, таким манером.

Ну, а играли всяко-всяко. Целый вечер — так, ой... Тут все уж... «Хрены» пели. «Хрены» — так это:

Кто тебя садил,
Кто тебя поливал?
Садил меня Иван,
Поливал Селифан,
Селифанова жена
Близко к городу жила.
Хрен ухаживала, огораживала.
Хрен расцвел, все плоды развел.

Вот две девки водят парня. Потом приведут к девке (все на лавках сидят):

В город по капусте,
В терем по невесте.
Кто женится?

Вот такой-то женится. Его назовут, извеличают. А вот к которой девке приведут — вот такая-то, такая-то. Такую и берет. «Дело ли ребята?» — говорят. «Дело!» И этого парня сядят тут. И потом опять берут парня и опять к девке...

Я, милая моя, хоть верь, хоть не верь, за двадцать второго жениха вышла. Вот сколько у меня было сватов. От одного парня раз пять приходила сватунья.

«Все было свое»

Загоскин Василий Федорович, 1904 год,
дер. Самковы

До 1920 года я жил в деревне, детство проходило в крестьянской семье, а детство ведь было очень тяжелое, от родных я остался семи лет. Грамотных у нас никого не было, только брат учился две зимы. Когда я подрос, с полей стали убирать зернова, меня научили жать серпом. А когда подошел сенокос, меня научили косить косой-горбушей. Крестьяне жили одиночно, поля были огорожены, ведь скотину отпускали без пастуха, когда они наедятся, приходили домой сами. Меня заставляли делать всю крестьянскую работу.

Подошли года, надо идти в школу, на учебу. А в семье сказали: «Для чего учить, пусть будет работник по хозяйству». Но брат настоял: «Как же так? Он мальчик, он должен грамотным быть, читать и писать уметь». И отвез меня в деревню Ожош, там был учитель, он учил в своем доме первый класс. Я не знаю, но ему, наверное, за это платили. А я стоял у одного дядьки на квартире, все ему по хозяйству помогал. На следующий год открыли школу в деревне Четвериковы, и я закончил три класса сельской школы в 1916 году. Но на этом мое образование закончилось, стал работать крестьянскую работу.

Было много трудностей. Я работал так до 1921 года в деревне. Я старался приобрести какую-нибудь специальность (деревенскую). В деревне соседи были все мастеровые. Сосед Кирилл, он делал гребни. Я ходил к нему в свободное время и научился делать гребни из рогов. А сосед дядя Гриша делал горшки, я тоже начал ходить учиться делать горшки и научил-



ся. Брат был пимокат, я ему помогал и тоже научился катать. Деревня у нас была на красивом месте, на возвышенности. В лесу были грибы, ягоды, много земляники. Вокруг нашей деревни было восемь деревень, на расстоянии полтора-два километра. Крестьяне жили единолично, у которого была своя полоса, он ее и обрабатывает, и удобряет, и старался иметь побольше скотины, чтобы получить навоз на удобрения.

Для коров всегда делали подстилку, накормят ее, она лежит-пыхтит, а сейчас бедную коровку держат не цепи, как дворовую собаку. В те года крестьянин держал лошадку, без которой он жить не мог.

Все поле он обрабатывал на ней, и что привезти и отвезти, и куда требуется съездить. Машин не было. Держали корову, бывало, и двух, и подростка, и пару овечек. Есть и овчинки для шубы, есть и шерсть для валенок, свое мясо, и молоко, и продукты. Все свое было.

«Вера в Бога не позволяла»

Перминова Мария Федоровна, 1911 год,
дер. Санники

Раньше ведь не было хулиганов, бандитов. Просто некогда было этим заниматься, люди были заняты работой, да и вера в Бога не позволяла.

Мы верили в судьбу, обо всем просили Бога. Перед выполнением серьезной работой, перед пахотой, косевой, севом молили Бога: «Господи, благослови, Господи, помоги».

Вот как не было дождя, вызывали попов. Нас, молодежь, посылали за иконами в церковь. Вот дадут нам иконы, большие как двери и тяжелые очень.

Вот приволокут, поставят в какую-нибудь избу. Приедут попы и начнут службу на каждой полосе. А еще по домам ходили, у кого скотина болеет, у кого что.

А попы-то ведь грамотные были, у них барометр был, а народ-то дикой. Вот когда барометр показывает дождь, так они и едут. Это мы потом узнали, когда наши девки в гимназиях стали учиться.

А вот у нас часовня была. К ней приход тоже возле школы. А потом парни стали пограмотней и стали отказываться таскать иконы: «Пускай сами волокут, если им надо».

Попы ездили по деревням, им подавали, кто что сможет.

Вот у меня отец рассказывает, был он еще ребенком. Также приехал поп. А отец говорит про себя: «Что ему, долгогривому, за что давать». И насыпал вместо пуда в мешок только на дно. Поп схватил за ухо и дернул. С тех пор отец и не любит попов.

Никто не воровал, не хапал. На богатых не злились, потому что они все своим горбом зарабатывали.

Зла друг на друга не было, народ был добрей. Вот у нас раньше кто ни придет в дом, старуха ли, ребенок, дедко ни за что не отпустит, пока не напоит чаем. Он давал мне деньги, серебро, посылал меня в лавку, и покупал на эти деньги калачей к чаю.

Вот еще что характерно для того времени, так это то, что никто не ругался. Мужики чрезвычайно редко матерились, а теперь ведь не люди, а собаки. Чуть что, в ход идет ругань, матерщина. Много что, конечно, мне пришлось выдержать. Были болезни раньше всякие: тиф, испанка, горячка. Много людей умирало. У меня мама умерла от горячки. В 20-х годах был у нас сплошной голод. Неурожай был года по два. Но у нас было много картошки. Дедко ходил, обменял, дали пуд муки. Вот бабка у нас сварит два ведра картошки. Мы напечем с мукой, лепешек наделаем. В пестерь накладем, бурак молока и повезем в поле тем, кто работает. Так за счет картошки и пережили голод.

«Жили мы весело»

Селезнев Николай Георгиевич, 1920 год,
дер. Афоничи, учитель

Ой, жили мы раньше весело, не то что вы сейчас. Весело гуляли, выходили замуж, женились. Я со своей женой познакомился в школе, она тоже учитель, приехала после института, молоденькая, симпатичная. Больно она мне при-



глянулась, и мы поженились. А в деревнях свадьбы проходили по-особому. Вот, понравилась парню в какой-то деревне девица, или просто пришло время жениться. Ему хвалят в какой-нибудь деревне девушку, что вот-де и умна, и пригожа, работяща (самое-то главное). Та женщина, которая нахваливает (сваха), предупреждает невесту, что приедут сваты. И вот парень, хоть и не видал эту девку ни разу, едет с водкой к ней домой.

А у невесты в это время все идет к встрече жениха. Она вывешивает на решетку полатей полотенца, скатерти — все, что она смастерила, вышила, связала.

Приезжает жених со свахами. Его встречают. Затем сидят за столом, пьют чай, едят. Сваха ведет разговор с родителями невесты, нахваливает жениха.

После этого жених и невеста уходят на середь, с ними сваха, там сидят, рассуждают. А вот помню, мы ребенком лежим на полатах и в щелки наблюдаем и все замечаем: «Ой, он ее на коленки посадил, он на нее смотрит».

Если жених договаривается с невестой, то на стол выставляется бутылка водки. Затем родители уговариваются, когда едут к жениху дом смотреть.

После этого бывает венчание и свадьба. Свадьбы бывали в основном осенью, зимой, весной в мясоед (когда можно есть мясо, молоко). В пост свадьбы не делали. В основном до Масленицы проходили все свадьбы. А в Масленицу отец невесты едет к зятю и приглашает его на праздник. Во всех деревнях к Масленице готовились основательно. Делали горки, насыпали снега метра три, заливали водой. Брали палки (снеги) и катались с этих горок.

В каждой деревне каждый хозяин имел выездную сбрую, корзину, вожжи, лошадей. Парни с гармошками и девушки едут в ту деревню, где есть молодой зять. В этом доме молодежь угощают деревенским пивом. Кто бы ни приехал — всех угощают. В пятницу, субботу смотрят зятя, затем зять увозит к себе невесту, затем смотрят невесту.

А в Чистый понедельник сжигают зиму, то есть сноп из соломы. Опять начинается гуляние. А вот со вторника уже начиналась работа.

И вот много таких праздников бывало. Я вот охарактеризую некоторые.

В Пасху ходили на качелях качались. С помощью вожжей двое-трое парней раскачивали. Столбы были метров по пять-шесть. Подшибали шибко. Даже вылетали некоторые, но ничего, смертных случаев не бывало.

Летом гуляния все были в честь религиозных праздников.

Была у нас деревня Пузырь, ходили туда на гуляния километров десять.

В Троицкую субботу тоже веселились. На второй день был праздник «Земля-именница» (Духов день), в этот день нельзя было прикасаться к земле, ни копать, ни рыхлить.

«Заговенье». Все из округи ходили в дер. Мыленки. Пели частушки, плясали барабушку, краковяк, польку, вальс, кадиль или колхозную. Была раньше такая мода, что первый парень приглашает девушку, которая ему нравится, свою ухажерку. А старики наблюдают за этим и уже судачат, за кого девка замуж выйдет.

После Заговенья — «Бородинское моление». В этот день носили икону, служили службу в церкви, а потом танцы. Часто бывали драки.

Затем ходили в деревню Петухи тоже на гулянье. Потом 7 июля «Иванов-день» у Кашолков плясали.

12 июля — праздник Петра и Павла, мы ходили на Блиниковщину, тоже километров за десять.

8 ноября — «Митревская» — день победы над татарами, в этот день ездили в гости, ели, пили, угощались.

Когда начиналось Рождество, начинались вечеринки в избах. Ребенки ходили по деревне и созывали: «Сегодня приходите на вечерку в такой-то дом». На вечерку собирались парни, девки, старики. Старики балякали друг с другом, а молодежь танцевала.

Вторая рождественская неделя называлась «Страшные вечера». В эту неделю все гадали, бегали шишкуны (чудища), переодевались, пели песню.

В «Крещенские» лепили из теста крестики, их светили в церкви, а затем раскладывали их везде: в домах, во хлеву у скота, чтобы не влез дьявол.



Много гадали всяко. Выходили в поле на развилку дорог и слушали, если звон колокольчика — свадьба в деревне, если шум молотилки — год урожайный.

В это время еще привозили передвижное кино.

А вот еще было одно развлечение — гигант-столб, на верху железина, в центре отверстие, а у железной штуки крючки, к ним веревки прикреплены, внизу петельки. Возьмется ребятишки, подростки за эти веревки и бегают вокруг столба.

А взрослые парни играют в городки. В каждую неделю перед Троицей в деревнях возили навоз, выметали улицы, мыли все в избах.

В деревнях была высоко развита мораль, людского мнения придерживались, боялись осуждения народа. Поэтому я не помню ни одного случая, чтобы где-нибудь появился незаконнорожденный ребенок. Что было принято — то придерживались, а что не принято — то высмеивалось.

Из деревни раньше не убегали в город. Только на зиму зимогоры ездили на заработки в город, потому что зимой в деревне мужикам не было работы.

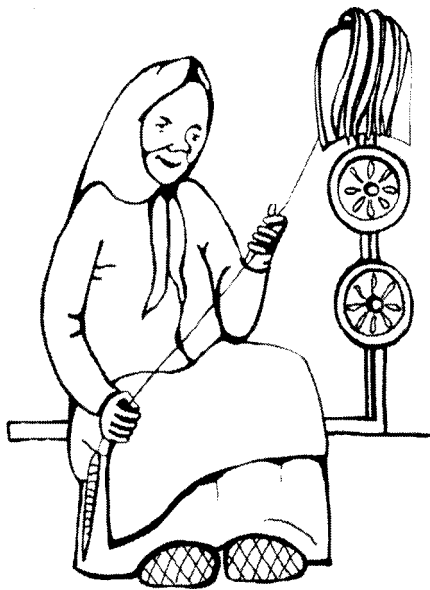
Вот, помню, у нас уезжал один мужик. Потом приехал домой в новом костюме, в сапогах, поверх сапогов еще костюм, чтобы не запачкать, не изорвать сапоги. Он привез гостинцы: платья, платки жене, матери, ридикюль дочери. На этого мужика смотрели как на Бога, с завистью даже некоторые.

* * *

Н. Н. Жили плохо тогда. А народ на самом деле был намного лучше, народ нынче переменился. Мужики раньше ходили друг к другу, дружно жили.



Б Раздел III
ыт и нравы
крестьянской
Руси



Глава 1. Мир, в котором жили (крестьянский круговорот)

«Уважали раньше людей»

Аксенова Агния Георгиевна, 1919 год,
дер. Дулепино

Возле нашей деревни было две речки: Палуй и за пять километров Луза. В Палуе за деревней рыбу ловили, много рыбы было. Мы до школы успевали по бидону налавливать. В речку зайдешь, так мальки по ногам бегают, мы их бутылкой ловили: срежем дно, горлышко пробкой заткнем и на удав завяжем веревкой. Раньше этим все детишки занимались, взрослым не до того было. Здесь же на речке белье бучили. Наткут домашнее полотно и нижнее белье, все сложат в огромные чаны и замачивают горячей водой, чаны закрывают большим пологом, поверх которого золу насыпают.

Две ночи так выпаривают и водой переливают попеременно холодной и горячей, затем полощут белье, вальком выколачивают и тут же на лугу расстилают, смочат — положат на одну сторону, смочат и перевернут на другую. Это солнышком отбеливают. А еще в марте на насту белят. Смочат, порасстилают полотно на целый день. Суровое полотно смягчается и такое белое делается, что и подбелки не надо.

А на каждой речке были мельницы, сейчас их нет, и речки обмелели, и рыбы не стало. Да и химия помогла. А в лесах-то грибов, ягод было! Для каждой деревни был отведен свой волок — густой лес. Его хранили: в лесу такой порядок был, что босыми ходили, а сейчас поди-ка босой пройдишь. Уж за

кладбищем, на что маленький лесок, дак там и то три свалки сделали. Смех и грех. Лес-от зря не рубили, если кому строить надо, так вся деревня решала когда и сколько хлыстов вырубить, а уж на дрова — где похуже — на логах, угорах, пожалуйте.

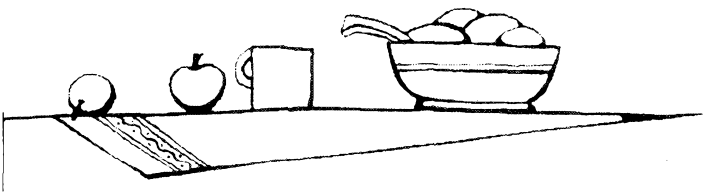
Очистку сенокосов так проводили. Деревья вырубят, на следующий год выжигают, «повины катают», боронят из сучков елочных, а потом лен сажают. Ничто зря не пропадало. А сейчас ведь все заросло, и лес, и поля. Из лесу придешь, так будто волки тебя драли; и никому ничего не нужно. А ведь и лесники есть, и эти лешачьи егеря. Раньше дружно жили, всегда все вместе на работу идем — песни поем, с работы — тоже голодные, холодные — а все равно дружно жили. Друг к другу в гости ходили, все вместе на посиделки собирались (не только молодые, но и старые). И попоем, и попляшем, и работу поделаем, кто прядет, кто шьет, вяжет. Уважали раньше людей, о каждом знали все. Обращались друг к другу только «кума» да «кумушка». Бывало, и ругались, но на другорядь день уже мирились.

«Все берегли»

Котельников Михаил Васильевич, 1922 год,
дер. Скрябино, служащий

В конце двадцатых годов климат был совершенно иной, нежели сейчас. Зима наступала рано и устойчиво. Праздник Покров в половине октября почти ежегодно встречали с надежным снегом на земле и запрягали лошадку в сани ехать к празднику. К хорошей погоде в сенокос — «не иди, дождик, где косят, а иди, где тебя просят». На отдаленные сенокосы уходили только взрослые на неделю, а то и дольше — и работали от зари до зари. На ближних от деревни сенокосах трудились все, даже малые дети, если могли держать грабли или тут же нянчить маленьких. Все делали вручную и, если стояла хорошая погода, сено убирали зеленое, душистое, как говорят, в самом цвету.

Стога (зароды) сена покрывали сырой травой — осокой, которая задерживает промокание вглубь. И так эти зароды



ды стоят до зимы, чтобы потом на лошадке в санях по снегу привезти их домой и очень-очень экономно скормливать скоту. В чистом виде сено дается только лошади и овечкам. Коровам готовят трясеницу — это солома и немножко сена. Встряхивают и перемешивают перед дачей скотине. В крепком хозяйстве содержали три-четыре, до пяти коров. Они молока давали немного, но навоз в коровниках накапливался очень быстро. Это и предпочитал мужик, чтобы его в зимнее время вывезти на полоски в поле.

Летом, к празднику Петра и Павла (12 июля) наступает исключительно жаркая погода. Дни стоят ясные, солнечные — нет ни ветерка, тихо и почти душно. Ребятишки, раздетые догола, устремляются наперегонки к речке, купаются в теплой прозрачной воде, играют на песчаной отмели и ловят маленькую рыбу (маляву) прямо в рубашонку, туго завязав узлом рукав. А скотине в это время — беда! Лошадей, коров, овец заедает овод и мошकारа. Они скрываются в лесах и забираются в самую непроходимую чащу леса. И только к вечеру, когда спадает жара, выходят к речке и водопоям, с жадностью нападают на траву, проголодавшись в дневную жару. На закате дня подростки и малыши встречают на окраине деревни коров, телочек и овец и загоняют их по своим дворам. Лошади остаются пастись на свободе в летнюю жаркую пору на несколько недель подряд. За это время они изрядно поправляются, а молоденькие жеребенки хорошо подрастают. Иногда потом бывает трудно поймать свою собственную лошадь и надеть на нее узду (у нас называют ее оброть).

Не все люди деревенские успевают управиться с сенокосом, как поспевают уборка хлебов. Хлеба созревают неровно и неодинаково. На отдельных полосках озимая рожь бурет, в крупных длинных колосках наливаются зерном, которое становится спелым, почти прозрачным. Если колосок легко разминается в руках и зернышки отделяются от пелевы, настает пора убирать хлеб.

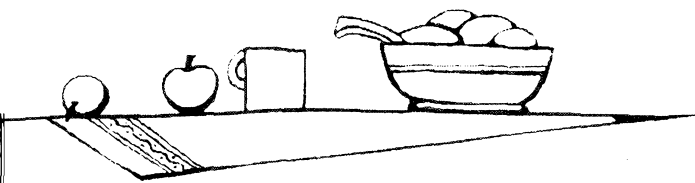
Каждый житель деревни на своей полоске серпом сжинает хлеб, связывает снопы и тут же снопы устанавливает в суслоны. В суслонах колос дозревает и хорошо просушивается. А через неделю-две суслоны укладывают в кладню, чтобы

колоски все находились внутри и хорошо были укрыты соломой сверху от дождей и сырости. Обычно первой на полосках убирается рожь, пшеница, а потом — ячмень, овес. В уборке хлеба участвует вся семья, даже маленькие дети. Они собирают в корзинки с земли каждый опавший колосок хлеба. На окраине деревни, к хлебным полям, стояли овины с небольшими навесами, покрытыми соломой. Это место называлось гумно и служило для обмолота, подработки и очистки зерна. Оно строилось на три-четыре хозяйства деревни.

Овин — это строение из бревен, у которого нижняя часть сруба, до пяти метров, находится под землей, а верхняя — три метра — над землей, овин покрыт крышей, обычно из соломы. Верхняя и нижняя части сруба разделены бревенчатой перегородкой, но с продольным люком возле стены (примерно один метр). Овин предназначен для подсушки хлеба к обмолоту. В верхнюю часть загружались снопы, ставились обычно колосками вниз плотными рядками. В нижней части овина, прямо на земле, разводят костер, применяя березовые дрова длиной два-два с половиной метра.

Костер горит, набирает жар, и все тепло вместе с дымом поднимается вверх, проходит через люк, просушивает снопы хлеба, и в первую очередь колосья с зерном. Сушка длится целую ночь, а иногда и дольше, в зависимости от влажности загружаемых снопов. Молотба и очистка зерна производятся обычно в весенние погожие дни, а в большинстве зимой. Снопы вынимаются из овина на площадку под навес, укладываются в ряд колосками внутрь и обмолачиваются цепями (их у нас называли молотило). Отделяют солому от зерна, зерно провеивают лопатами на ветру или через решета. Прочищенное от мусора и соломки зерно отвозится в амбар. Одна часть хранится на семена будущего урожая, другую часть увозят на мельницу размолоть и получить муку.

Пока люди убирают хлеба на своих полосках, в полях и на приусадебных участках поспевают овощи: картофель, лук, чеснок, морковь, свекла, капуста, брюква (галанка), турнепс. Некоторые из деревенских выращивали прямо на грядках огурцы, но таких любителей было мало. В первую очередь



убирают лук, затем картофель — ведь это второй хлеб, и урожай картофеля бывал всегда солидный. Остальные овощи убирали постепенно, вплоть до самых заморозков, которые наступают в первой декаде сентября. В дождливые и ненастные дни в августе—сентябре мужчины, женщины, дети выбирают время ходить по лесу, набрать грибов и ягод. Люди хорошо знали грибные и ягодные места, набирали корзинки и пестери груздей, боровиков, еловиков и других грибов, насаливая их на целую зиму.

«Учись!»

Ивонина Евдокия Ивановна, 1912 год,
с. Медяна, крестьянка

Всем работала. Колхозница. Косила, жала, молотила. Другой профессии нету. Где я буду ее получать? Меня родители научили всему этому. И в колхозе работали очень здорово — на три уповода. Выходили с четырех часов утра и работали до восьми. Завтрак. Потом опять отработали — через четыре часа обед, и работали до полуночи. А во время войны и четырех часов в сутки не отдыхали. Молотили, метали солому, сено метали. Всех людей забрали на фронт, а одни бабушки так и остались. Один старик остался на нашу деревню. Вот стожар пять баб одинока втыкали. Еле воткнули. Ревем, смеемся — все было.

А потели-то как на труде, потели-то, не просыхали. И зимой работали, за сеном ездили за день по семи раз, а все равно надо, колхозный-то скот надо кормить. Все работали, все делали, все. Везде перебивала, везде переработала. Я и на лесозаготовках, я и на дорогах — дорогу прокладывали: пенья выкорчевывали. И на выкатке была, из реки выкатывали бревна. По плечи в воде стоишь, а что остается? Надо, послали работать из колхозу — дак надо. Никуда все равно не денешься, не сбежишь, не скроешься. Вот так.

День и ночь работали, день и ночь, и обесценили нас, колхозников. Я вот и пенсии не получаю, живу без пенсии. Мои

документы не могут найти колхозные. Из района в район переходили, а село-то в четырех районах было, а теперь мы Юрьянского района. Моих документов нет.

До слез работали голодные. Так голодали, что дистрофию получила второй стадии, вот с палкой на работу и ходила. Ревем да идем. Люди все померли, я помоложе, дак вытерпела. Вот так, мил человек, что дальше, как жить? Кому шерстки попряду, кому что, плетуся. Вино не пью, табак не курю, мужиков не люблю. Только на хлебушко да на сахарок денежки-то. Вот так! У кого-то картошки покопаю, у кого-то помогу садить. А здоровье, какое у меня здоровье? У меня со здоровьем в земле можно лежать. С забинтованной ногой восемь лет хожу с палкой, восемь лет. Люди изживут век, дак волосок не поседеет и зубок не выпадет, а у меня головка-то какая белая, и зубы все выпали.

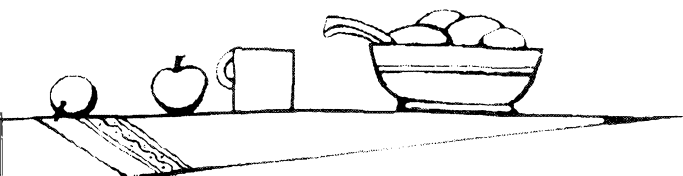
Раньше были люди очень хорошие, добрые, золотые были просто люди. А посмотреть в теперешних деревнях, просто такой народ стал хамоватый, все нороят друг друга подкусить, что-то наговорить, и пьяниц стало много очень. Конечно, раньше люди были не то, что нынче, — умные, умные очень. Идут сосед с соседом, дак встретятся, шапочки снимут, поздороваются и поклонятся друг другу. Или придет сосед к соседу, сейчас же поставят самоварчик, чайком попоят, сушечкой попотчуют.

Годы детства, как же не вспоминаю? Семь годов было — нас повели жать, дак тебе хоть бороздку, а вестичек только с пальчик был. А косить, дак коску маленьку дадут и на одну руку и всяко, и если еще не умеешь, дак тебя промеж ноги заберут, головку-то к земле прижмут: «Давай учишь, учишь!»

«Не было своего леса»

Сычугов Александр Васильевич, 1920 год,
столяр

Вот какую историю я слышал, когда наша деревня образовалась. Слышал ее от отца. Приехали три брата, фамилия им была Петуховы. Один поселился около леса, сказав:



леса у меня будет много, и я стану делать деревянную посуду, из бересты мастерить что-нибудь. Деревня стала называться Боровые. Сейчас ее, правда, уже нет, остались как напоминание три высокие, красивые черемухи. Второй брат поселился около речки, решив построить здесь мельницу. Деревня стала называться Петуховы. Третий брат был лентяй, что ли, нетрудолюбив, и заявил, что будет жить на большой дороге и жить ею. Деревня стала называться Костино.

У нашей деревни не было своего леса. У каждой деревни был свой лес, а мы вот были обделенными. Много леса было у Боровых, у Мосальщины, Головановых. Мы у них покупали на дрова пни, чашу. Каждая деревня за своим лесом ухаживала, растили его, никто лишнего сучка не срубит. В 30-х годах леса начали у деревень отбирать, Советская власть все делала общим. И вот случай у нас такой был. Нам нужны были дрова. Взяли мы разрешение на порубку леса в Бахтинском лесничестве. Пошли рубить в головановский лес. Мужики головановской деревни узнали об этом и на нас с топорами. Мы, конечно, приостановились, кто-то за лесничим убежал. Пришел лесничий Требухин и сказал: «Сейчас лес не ваш». Мужики уж ничего против не смогли сказать. Мы же полосу свою вырубили да уехали.

В колхозе делали, что придется, какая работа есть, ту и делаешь. Сенокос вот, например, сенокосили в июле. При хорошей погоде он продолжался недели две. В лугах у каждой семьи был свой участок. В лугах жили в течение всего сенокоса в шалаше. Увозили с собой пищу на неделю примерно, готовили сами. Встаешь часа в четыре. Пока не жарко, до десяти где-нибудь, косили. Потом отдохнем до одиннадцати. Далее идем сено грести, ворошить. И так до десяти вечера работали. Поужинаешь, и спать. Сено хорошо, полностью сохранялось. Зеленое, хорошо пахнущее. Сейчас с лугов навоз возят, а не сено. Ориентировались по солнышку, часов у нас тогда не было. Жарко, душно, да еще паузы заедали. Лошади не ложились, от укусов у них всплывали ноги. Змеи жалили. С укусами обращались к фельдшеру, выезжая из лугов. В лугах гадюк и медянок много было, уж встретались редко.

«Труд радостный был»

Русанова Александра Ивановна, 1915 год,
дер. Русановы, крестьянка

Всю свою жизнь проработала в колхозе. Работала в поле. Косила, сеяла, убирала, делала все, что надо было, — ни от какой работы не отказывалась. Да и вообще раньше народ был безотказный. Если надо было что-то сделать, то делали от всей души и добротню. Не то что сейчас... Деревенька стояла в очень хорошем, благодатном месте. Вокруг были луга. Трава была такая, что когда пастух собирал коров, так они не видны были — одни черные только спины виднелись из травы. А воздух-то какой был! Как вздохнешь — так выдохать не хотелось.

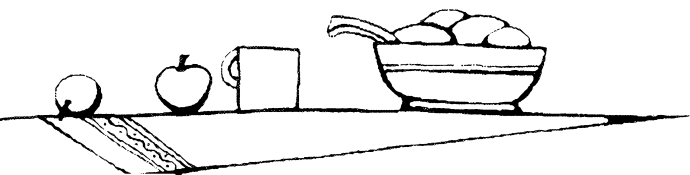
Наша деревенька-то стояла на холме, а под холмом у нас бежал родничок. Вся деревня туда по воду ходила. Было два колодезя-журавля, но как-то из них воду не очень пили — все к родничку ходили. Любовь к земле у всех была — от старых до малых. Перед севом старики выйдут в поле и «разговаривают с землей» — мнут в руках, приложат к губам и скажут потом, можно начинать сеять или нет.

Народ сейчас стал злой, ругастый. Раньше кусок хлеба делили пополам. Да и отдыхали люди лучше. Какие колхозные праздники осенью делали! Больно-то есть было нечего, так в такой праздник колхозный стол был богато накрыт. Первым блюдом была картошка. А из свеклы и моркови какие блюда делали... На жарят, напрягут. Больно-то тогда никто не пил. Выпьют чуть-чуть и веселятся целую ночь под гармошку. Народ и отдыхать умел, и работать. Труд радостный был.

«Все вручную делали»

Аксенова Агния Георгиевна, 1919 год.

Все вручную делали: и жали, и гребли. В воскресенье мужчины оставляли женщин в деревне подольше, чтоб прибрались и пирогов напекли. Семьи раньше были большие,



редко у кого три человека. Со стариками вместе жили, не отделялись, как же? В страду все уходили из деревни — взрослые, а бабка, она и с ребятишками посидит, и скот загонит, и хлеб испечет, если припозднились. Я, грешная, сколько работала, мне все мать помогала, а то не знаю, что бы и было. Ведь приходила — ребята уже спят, уходила — еще спят. Управляющей в колхозе работала, а потом председателем. Придешь ночью — да стирать надо, потом на речку бежишь полоскать, а спать-то уже некогда — со скотиной стряпать надо, да опять на работу. Дети-то почти и не видали. Работали, ни праздников, ни выходных себе не знали.

Каков русский человек? Единственное, что скажу, русский Ваня есть русский Ваня, куда ни пошлют — все сделает, голыми руками. Все, что ели, было свое. Каждая семья не по одной голове скотины держала. У нас семья была побогаче, так мы двух коров, сколько себя помню, держали, овец, свиней, кур. Поэтому и молоко свое было, и мясо, и яйца, шерсть была, из нее или валенки делали, или продавали: у моего отца своя маслобойка была, масло делали, дома у нас ни сметана, ни творог не переводились.

Весной на лугах, на речке кисленку, пучки (пиканы), пестики собирали. А летом — по ягоды, — собирали землянику, чернику, клюкву, малину. У меня приятное местечко было: за овином малина росла, так я в обед прибегу, стану собирать, а уж много-то ее так, что прут ломит, подымать-то нельзя. По ведру набирала на круге.

Овощи были: морковь, свекла, лук. Луку много сажали, раньше его и с квасом и всяко ели, он не гнил раньше, а теперь и гниет, и сохнет, химией все отравили да на небе все перемешали. У нас помидоры не растили, так я до тех пор, пока не выучилась, не знала, что это такое. Как-то из Устюга домой поехала и купила два килограмма, как гостинец. Пока одиннадцать километров шла пешком, все пережидала: проголодалась и решила попробовать, откусила один — не понравилось: ни огурец, ни яблоко, другой — то же самое. Вот какая была. Огурцы растили в старых лодках, поднятых на столбы, урожай был такой, что насаливали бочки две-три.

Хлеб раньше тоже свой был. Сеяли сами, сами ухаживали, сами жали, ведь единого колосочка на поле не оставляли. Хорошо посеешь — хорошо пожнешь. Серпиком-то сожнешь, свяжешь и в суслоне (рожь по десять снопов в суслон, овес — по шесть). Потом везут на гумно, сушат там, молотят молотилом (ручка, к ней кожа привязана с тяжелым кругом). После этого веют на веянке, ручку крутишь — зерно валится. Его потом в сусек, в амбар складывают, а потом везут на мельницу. Раньше на реку, на мельницу по мельничной дороге ездили.

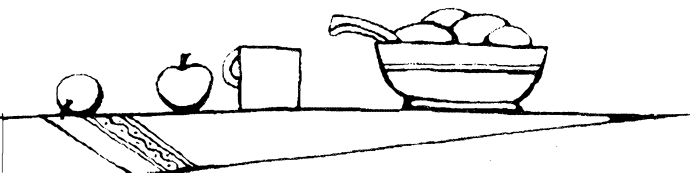
Хлебушек-то тяжело доставался, так не то что бы бросать, не доест боялись. Моя бабушка, бывало, говаривала: «Бросишь хлебушко, накажет богушко».

«Каждая минута была занята»

Полякова Антонида Гавриловна, 1912 год,
с. Лопьял

Вставали мы рано. В шесть часов уж на работе были. Летом занимались: сначала сеяли, потом назем возили на лошадях, а потом сенокос. С работы приходили часов в девять. В сенокосную пору в селе почти никого не оставалось. Все, кто мог держать косу и грабли, — все и дети, и старики в поле. Ехали, бывало, целыми семьями, и никогда такого не было, чтобы кабан (зарод) начали метать и не закончили, хоть до двенадцати, а все же кончим. Не чета нынешним колхозникам — чуть пять часов пробило, уж все домой рвут.

Добросовестнее мы были, хоть и получали шиш с маслом, а не гнушались работой. А там не успеешь сенокос закончить, уж рожь жать надо. А вот и осень на носу, там картошку копать надо, навоз опять возить, да сеешь ржаное поле, поле обрабатывали. И в основном всю осень картошку копали. Ведь посадим — даже не знаем сколь гектаров. Уж мерзнет земля, а мы все картошку копаем. Да и там уже готовили хозяева свои сусеки, амбары под зерно, муку. Хлеба раньше много было, как говорится — «что посеешь, то и пожнешь».



На месте не сидели — все в работе. Зимой занимались молотьбой. Молотили на гумне рожь, овес, пшеницу, ячмень. Мужики плотничали на коровниках, конюшнях. Бабы возили навоз — все ведь вручную. На себя, в своем хозяйстве приходилось работать только ночью. Зимы были холодные, снежные, приходилось огребать коровники. Все вертишься, крутишься, ан уж и весна на дворе. Мужики опять брали в руки топор, уделывали телеги, подправляли колоды. Техники не было у нас, только лошади, все делали вручную, время, конечно, много уходило.

Готовились к посеву тщательно, уж все продумывали, так как знали, что ежели плохо сработаем, то и зубы на полку. А семьи были большие, поэтому раздумывать не приходилось, работали в полную мощь. Каждая минутка была занята. Ведь если все вовремя делать, дак и время-то на отдых не остается. Выходных, особливо летом, не было, работали с утра до ночи. Детей воспитывать и то было некогда, так уж старшие доглядывали за младшими. А что делать, «хочешь жить — умей вертеться». Вот и вертелись, и не напрасно. Богатый колхоз у нас был. Правда, навевывались частенько партийцы. Приедут, все зерно у нас выгребут и отчалят восвосяи, а мы как хошь, так и кормись... И ничего сказать было нельзя.

«Занимались кустарным делом»

Зубарев Василий Петрович, 1921 год,
дер. Ивенцы

Земли были неплодородные, и на каждую душу приходилось очень мало земли. Поэтому в нашей деревне все сельское население занималось кустарным промыслом, столярным.

Вот, по моей родне. У папы два брата. Они все столярным делом... краснодеревщики. Дальше... а у папы дедушка, он был тоже краснодеревщик, а еще прадедушка... он уже делал сундуки. Да... вот... деревянные сундуки... И вот даже

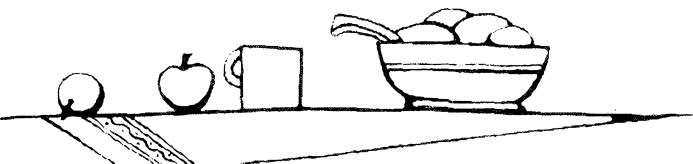
что вот помню... видел сундуки вот эти деревянные, большие, кованные железом, и на сундуках были декоративные листья железа, и там даже были картины реформы 1861 года. Папин отец... Он что делал? Он делал мебель такую: шкафы, дальше... комоды. Другие делали, значит, братья папины: Александр Дмитриевич, Иван Дмитриевич и Петр Дмитриевич, мой отец. Значит, старшим был Иван Дмитриевич. У него было пятеро детей. Сам он делал мебель гнутую, мягкую мебель: диваны, кресла гнутые...

Вот... дальше, в малолетстве ехал на поезде, попал под вагон; станция-то Матанцы, тогда не было станции-то. Возле Раковки садились на ходу на поезд, товарный поезд поднимается, и вот они на ходу цепляются и... дело было осенью. Ну, было это в году девятьсот восьмом... да... в девятьсот восьмом году, а может, это было еще раньше, в году девятьсот четвертом. Была гололедица, и он сорвался и попал под вагон, ему ногу отрезало, вот; был сильный, одной рукой сам себя поднимал десять раз свободно, подтягивался. Дальше что, у него было сознание, и он поблизости нашел лапоть и это... и бечевку от лаптя. И вот этой бечевкой он ногу перевязал. И токо тогда потерял сознание. Ну вот, там, после это видели, сообщили, и приехали за ним, и его увезли в больницу. Прожил он 86 лет.

Следующий брат, Александр Дмитриевич. У того интересная история. Да, вот этот Иван Дмитриевич, он в армии не служил, но, интересно, он ходил пешком, в Киево-Печерскую лавру ходил в то время, как богомольный.

Теперь Александр Дмитриевич. У них было детей четверо или пятеро, много. И вот попал он в армию в морской флот. Из Вятки его отправили в Кронштадт. В Кронштадте прослужил и попал по призыванию, был старший корабельный мастер, столяр. Интересно, что у него было кругосветное путешествие.

Если говорить про столярное дело в деревне, то была конкуренция: кто лучше кого сделает мебель. Старались. Если один сделал какой-нибудь шифоньер, комод или трюмо, другой старается еще лучше сделать. И вот эту мебель они не куда-нибудь, а продавали в кооператив.



Наша деревня Ивенцы, она появилась в начале XIX века. А как появилась? Деревня Зубари была. А в Зубарях у одного отца было три сына: Илья, Дема, Бора. Вот. И вот этой деревни не стало, там сейчас птицефабрика. Дальше, Ива, или Дема, — это наша деревня, Дементьевцы. Дальше, Илья, Иличи. Вот, так вот было, и у каждого у нас были свои участки. Лес там выгорел, и они распахивались, постепенно все земли росли-росли, и вот получилась деревня. Наделы постепенно увеличивались. Вот только из-за того, что земель-то мало, занимались у нас кустарным делом. И еще что. Наша же деревня — занимались люди капа-корешком. Чтобы какой-то кусочек земли бы остался, ничего нету... все полностью. Другой вот только что новый участок распашет, вот и началось тут: «Гад ты, у тебя земли-то стало больше...» Да, вот у вас семья-то столько-то душ, и пожалуйста. Но вот перед Первой мировой войны земли стали уже покупать. Они уже были закреплены за каждым хозяином: вот это мой участок, это мой... Да... И вот, скажем, поле небольшое, вот ширина поля от этой стены, вот токо длиной метров сто. И все, больше все...

«Вот сколько терпения у человека!»

Устинова Анна Степановна, 1903 год,
дер. Платоновы

Нас в семье у родителей было одиннадцать детей. С детства приучали трудиться. Детей-то было много, жить как-то надо было. Поэтому отец у нас рыбачил на Вятке. Там тогда еще васконной рыбы было много. С четырнадцати лет начал отец меня с собой брать, были две гребли: в одной я, в другой — отец. Сама была еще не больно большого роста, вместе с отцом невод тянула. Руки все в кровь стерутся, плачу, да все одно — тяну. Невод вытянешь, так он полнехонек, какая только рыбка не трепешется.

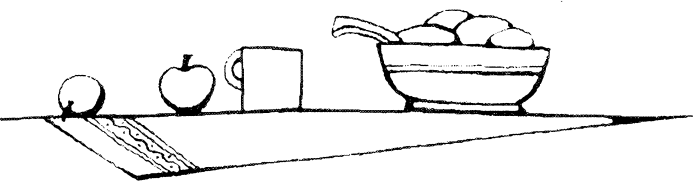
Было нас шесть девушек у мамы, надо как-то всех наряжать, а где деньги брать? Матушка у меня рукодельница

была. Так она научила нас прясть (я пряла с восьми лет), а потом ткали и вышивали салфетки на стол, а матушка продавала их и на деньги наряду нам покупала. С молодого возраста приучала все делать по хозяйству. В доме всегда чистота и порядочек был. Девушкой ходила на игрища. К кому идешь, родителям сказывали. Если в том доме беспорядок, плохие люди живут, так еще и не отпустят. Без спросу мы и не ходили, боялись словом перечить родителям, так и сидели весь вечер дома.

Отец у нас был хороший — матерным словом не ругивался, вина не пил. Тогда заведено так было, что дети родителей своих почитали, слушались, не то что нынешняя молодежь. Мы выросли, и всех нас шесть сестер посватали. Ведь раньше-то смотрели, из какой семьи девушка, какой у нее род, плохой ли, хороший. А потом уже сватов засылали. Я вышла замуж рано, в семнадцать лет меня матушка отдала. Муж мой был в Германии в плену (I мировая война). Очистки три года ел. Пришел к ним однажды германский помещик и говорит: «Кто за лошадьми ухаживать умеет, в повозку впрягать?» Тогда Павел и говорит, что кони у его отца дома были. Помещик и забрал его к себе лошадьми управлять. Семь лет он у помещика жил. А потом наши стали размениваться: германцы туда, а наши сюда.

Он пришел из плена и женился на мне. И стала я в ихней семье четырнадцатой. После революции землю всем дали поровну. Полосами землю делили, сколько народу в семье, столько и полос. Кто хорошо трудится, старался, у того и хлеба, и всего боле было и жизнь лучше была. Им и завидовали. А бедняки-то так называемые ничего не имели, у них ведь земля-то тоже была, да им работать было неохота. На табак даже денег не было, они самосадку курили да в карты собирались играть. Проккоп был один — выйдет на улицу, дождь идет, и говорит: «Не пойду в огород!» Так весь день в карты проиграет да вино пить будет. Мой муж говорил: «Дождь и лата — все красота».

У таких мужиков землю арендовали, сеяли еще и лен, а свои полосы хлебом засевали или еще овес да ячмень для скотины. Продукты у нас все свои были, ничего покупного:



И хлеб свой, и масло, и молоко, роща для кваса... Свеклы напарим, репы, крупы сами делаем. Опустим мешок с зерном в реку, набухнет, и в печь. Насушим наперед и едим потом зиму кашу с молоком. Ткали и пряли тоже сами. В город даже возили продавать.

На деньги вырученные то обнову купим, то инструмент какой в хозяйстве нужный. Когда второй брат в доме женился, места мало стало и расстраиваться начали. Братья начали дом строить. Кирпич на фундамент сами делали, обжигали. Только дом построили, как начали раскулачивать. Брату Павлу говорят — что, кулак! Он говорит, что дом сам строил, в колхоз вступать не буду, и все! Приехали у него дом забирать. Да еще не могут его разобрать-то, кидают бревна сверху, они ломаются. А хозяин вышел и говорит: «Парни, вы ведь так все изломаете». И объяснил, как надо дом разбирать. Вот сколько терпенья у человека! Вот какие раньше люди крепкие, душевные были!

Глава 2. Большая семья

«Дома всегда царил мир»

Устинов Николай Павлович, 1918 год,
крестьянин

А у нас в деревне ведь раньше как было? Кто хорошо работал, тот и жил хорошо. Это до образования колхозов. Богатство неразрывно связывалось с трудолюбием, работали ведь с малых лет. Это уже потом возвысились люди по чину, но таких людей в деревне не любили. Был у нас в деревне И. Б. Устинов, у него сын работал в райкоме. Он жил богато, но уважения к нему не было.

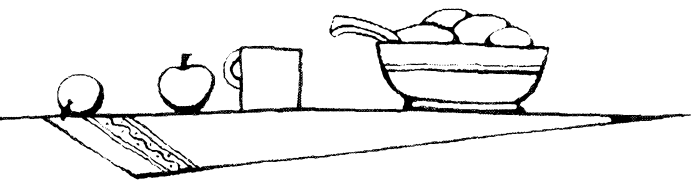
Женщины в семье, конечно, были бесправны, полностью покорялись мужу. У всех куча ребенков. У меня был дядя, так он, прямо сказать, издевался над своей женой. Однажды еха-

ли мы из города: я да он с женой, с базара. Дядя купил новые лапти и отдал жене, положи, говорит. А она оставила их на бревне, где мы сидели, отдыхали. Он прекрасно видел, что она забыла положить их в телегу, но ничего не сказал. Поехали. Отъехали километров восемь, он и спросил: «Где лапти?» Жена поискала, конечно, не нашла. Дядя ссадил ее с телеги и говорит: «Иди пешком обратно и принеси!» Жена ушла обратно на базар, зная, что домой вернуться без покупки нельзя, заняла деньги у знакомых и купила новые. Пришла домой обратно пешком. В тридцатые годы женщины стали ходить на собрания, учиться грамоте, стали более самостоятельные. С ними уже стали больше считаться.

Тогда ели очень много овощей — это была основная еда: свекла, морковь. Ели сырыми, тушили, делали паренку. Конечно, всегда был квас. С квасом ели все: и мясо, и холодец, лук, редьку. Праздники в основном встречали стряпней. Пекли всякие пироги, ватрушки. Мало ели мяса, молока. Много ели рыбы, ее было вдоволь. А какие раньше кисели ели! Сейчас какая-то пища однообразная стала! До войны в нашей округе молодежь не пила совсем. Лет до 20, т. е. до армии, мало кто знал вкус вина. Я, к примеру, до двадцати лет не пивал, попробовал только при проводах в армию. Вообще народ в то время пил только по праздникам, а чтобы в будни кто ходил по деревне пьяным — у нас такого бы признали дураком. После войны — вот стали много пить. Может, тяжелая судьба людей сказалась? Мужики, которые вернулись живыми, они привыкли пить на фронте. Там частенько пить приходилось.

В деревнях много садили льну. Из него и готовили одежду до тридцатых годов. В сороковые начали уже покупать в магазинах ситец. Что-нибудь продадим из скота и купим ситца к празднику на платье или на рубаху. Такая радость! Все же материал тоньше, чем свое домотканое. Но оно зато теплее и крепче, что особенно нужно в деревне.

Праздники религиозные все справляли. В эти дни никто не работал, все гуляли, праздновали, вкусно ели, наряжались в самое лучшее. Гуляла вся деревня. Упаси бог, кто-то будет что-то делать! Даже самые бедные припасали к празднику самое лучшее. Особенно мы, ребята, любили Троицу.



Потому что это было лето, тепло. Перед Троицей мели под метелку все улицы, дома украшали ветками сирени и черемухи. Это время, когда кончали сев и еще не начали сенокос. Был такой перерыв в работе деревни. Молодежь плясала весь день. Кто взрослее — в одном кругу, ребята до двенадцати — четырнадцати лет — на других кругах собирались. Здесь и плясали, и играли в чижа, лапту, городки, прятки.

В детстве ходили мы бедно, питались хуже, но не ощушали этой бедности. Тогда мало кто выделялся. Все лето бегали босиком, было весело и интересно. По-моему, никогда и не болели. Я всегда подчинялся родителям, не разбираясь, прав отец или нет — но он отец. В основном ведь боялись отца. Поэтому дома как-то всегда царили мир и покой, не было ругани и ссор.

«Раньше старики командовали»

Катаева Анна Николаевна, 1908 год,
дер. Сузуново

Кто считался в семье главным? А как? Отец-старик. Раньше ведь старики командовали. Чего делать, говорил старик. Все соберутся, отец и говорил, где работать. Старики командовали и старухи. Старухи, они по хозяйству говорили, чего делать. Это теперь всех старух забросили, а раньше почитали. Ну-ка, скажи ей слово, так она тебе! Не обрадуешься. У нас в доме бабушка жила. Слепая, двадцать лет не видела (до самой смерти!). Так баню испоят, а Афоня все ее носил на себе в баню. Мыли ее. Выводилась, слепая, над всеми ребенками. Она и коров ходить доила. Афоня раз, маленький еще был, посадил ее доить-то под быка. «Дои-ка, бабушка!» (смеется). А родители узнали, выпороли.

А вот старики да мужики напьются, так драчи сколько было! Здорово дерутся. Часто ли пили? По праздникам. Четыре праздника в году — вот и выпивали. Чаше не пили. Отец у нас приедет с работы, накосится. Поставит самовар, чай пить станет. Так он в чай ложечки две лянет

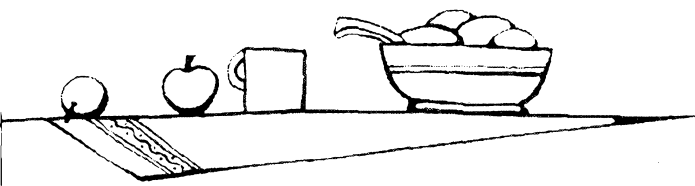
винца и выпьет с устатку. А по праздникам ездили в гости. В каждом селе свои праздники были. А во всех окрестных селах жили родственники. Мать моя вышла за отца, 18 лет ей было. А он женился двадцати пяти лет. Какой вышибало был, здоровый. Так мы все говорили: «Мам, пошто ты пошла замуж-то за тятю? Он ведь не басок был». Она говорит: «Раньше не больно-то спрашивали, басок — не басок».

«Мир казался сказочным»

Сычев Геннадий Александрович, 1928 год,
дер. Николинцы, инженер

Работать пришлось с семилетнего возраста. В 1936 году отец вступил в колхоз. Места у нас глухие были. Главным мерилом достатка в жизни крестьян являлся хлеб. Заработать его надо больше, поэтому мы, мальчишки, с семи лет воспринимали это как осознанную необходимость — зарабатывать хлеб. Вставали с восходом солнца. Работали весь день. Были ямщиками при бороновании пашни, вывозке навоза под рожь, на уборке хлебов. Уходили с работы, когда диск солнца касался края земли. Работа не была наказанием. Мы гордо сидели за столом и с достоинством ели заработанный нами обед наравне со взрослыми. Работали дружно и весело. Земля единоличных крестьян, объединенная в общее поле, еще не потеряла своего плодородия. Ведь раньше как было? Не сеяли рожь, пока под пар не будет уложен навоз. Вспашку земли делали на глубину четырнадцать сантиметров. При этом не трогали пахотный слой, не выворачивали глину, не пичкали землю химикатами, не травили птиц и животных. Хлеба росли хорошие, я бы даже сказал, отличные по сравнению с нынешними. А сейчас миллионы гектаров пахотной земли зарастают кустарником.

Дорог хлеб, когда душа человека вся без остатка вложена в него. При уборке хлеба конной жаткой потери были минимальные. Мы, дети, ходили по полям с ведерками собирать колоски. В лесах водилось много дичи, зайцев было видимо-невидимо. Трепетное было отношение к природе у крестьян.



Конечно, отношение к женщине было абсолютно противоположно нынешнему. Хозяином в семье был мужчина. Жена — хозяйкой. Жена оставалась дома до завтрака печь хлеб для семьи. Ей надо было с рассветом подоить корову, угнать скот на выгон, приготовить завтрак, обед и ужин, вымыть пол, истопить баню, выстирать белье, успеть на колхозную работу. Зимой намять лен, оттрепать его и на самодельном станке наткать холсты, сшить верхнюю и нижнюю одежду для семьи. Это был рабский труд! При таком ритме жизни в семьях не было супружеских измен. Если молодая девушка, что было большой редкостью, теряла свою девичью честь, парни смолили ворота ее дома, и после этого ее никто замуж не брал.

Мужики строили себе дома, заготовливали лес. Рубили дом всей деревней, бесплатно. Плели лапти, основную обувь лета, весны, осени. Зимой катали валенки, ездили в лес на заработки. Старики при встрече, как правило, брались за козырек фуражки, приподнимая ее, и с достоинством произносили «здравствуйте» с легким кивком головы. Уважаемых людей звали только по имени-отчеству.

Мясные блюда ели только по праздникам. То же и с сахаром, а приобрести белую муку никто и не думал. В будни основной пищей было картофельница. Это сваренная в мундире картошка, очищенная и истолченная. Затем залитая крутым кипятком, посоленная и поставленная в русскую печь. Перед подачей на стол приправляют луком, молоком, можно заправить сметаной, маслом. Масло шло на уплату налога государству, для себя почти ничего не оставалось.

На зиму на семью из шести человек заготовливалось грибов соленых шесть-семь ведер, столько же заваренной капусты, четыре-пять тонн картофеля и немного лука. Солили все в кадушках и бочках. В урожайный год набирали брусники. К весне из всей этой заготовки оставалась одна картошка. При такой постной пище, без жиров и мяса, хлеба ели много. Ничего не стоило мужику за столом с картофельницей съесть килограмм хлеба за обедом.

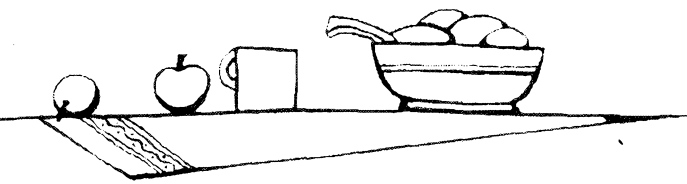
К праздникам варили в корчагах пиво, приправленное хмелем. Это черный, густой напиток с коричневой пеной,

которому нет равных по питательности и вкусу. Огурцы, ягоды, помидоры не выращивали. Мода на содержание свиней только еще начала появляться. Главное было — хлеба досыта наестись. Остальная пища, это так — второстепенное. Хлеб был святым делом. Бережливость к хлебу была аскетическая.

Например, когда семья сидела за столом, руки так и сновали в большую деревянную чашку с картофельницей, и все, торопливо набивая рты хлебом, так зорко следили за тем, чтобы, боже упаси, самая маленькая крошечка хлеба не упала под стол. Если отец семейства заметит такое варварство за кем-нибудь из детей-малюток, он молча бил по лбу своей большой тяжелой ложкой. Но слез не было, не до этого было.

У детей от употребления большого количества хлеба, картошки, капусты, грибов — животы были вздутыми, натянутыми, с посиневшими пупками. До семи лет дети не имели штанов, их заменяла длинная холщовая рубаша, и только зимой одевались в штаны, валенки или лапти. Все лето дети, да и большинство взрослых ходили босиком. Болели мало. Если случалось заболеть, болезнь переносили спокойно. Никаких лекарств и таблеток не имели, врачей не звали, морозов не боялись. Зимой к соседу иногда бежали по деревне раздетые, босиком, радуясь своей лихости. Если же простуда иногда брала за горло, садили ребенка в русскую печь на смоченную ржаную солому, закрывая печь заслоном. Вместе с обильным потом выходила простуда, после чего было легко и весело.

Ближе к вечеру играли, когда удавалось, в войну, бабки, городки, лапту, прятки. По вечерам лазили по берегам оврагов, речек. Рассматривали букашек, жуков, находили мед диких пчел. Мир казался сказочным, бесконечно интересным. Характерный случай произошел в канун войны. У нас в поскотине росла густая березовая роща, где отдельные березы иногда вырубались на жерди для огородов. Так вот, в эту зиму, в феврале 1941 года, эта роща представляла страшное зрелище: все березы, перегруженные намерзлым снегом, воткнулись своими верхушками в землю. Мужики и бабы нашей деревни и соседних притихшими голосами говорили: «Ох, не к добру это, не к добру!»



«Отец содержал нас не как родных»

Колчанова Валентина Гавриловна, 1917 год,
дер. Соски

Было у нас в семье шесть ребят. Пошла я в школу, до школьного возраста дожила. В классе были с разных годов. Отучилась полторы зимы, по летам нянчилась, жила в пестуньях (няньках) у чужих людей. Жила зиму еще в прислугах. А потом и дома в семье работала, тогда еще своя полоса была, а потом начались колхозы, я стала работать в колхозе. Колхоз звали «Золотая горка», это был первый колхоз в селе Монастырщина. Жали, косили вручную все, навоз возили. Даже вручную машины вертели, молотили конным приводом. А по зимам, когда заканчивалась страда, мы шили кули из рогожи, в них возили уголь.

В детстве боронили, были ямщиками на лошадах. Ребенки делали все, как есть все: и коров пасли, всю работу выполняли и помогали. Я вот в лес малехонька ходила рубить дрова с отцом, с матерью, летом лен теребили, колотили его, все делали: стлали, ломали, делали на куделю. По ночам разбудят ребенков лен ломать. А осенью начнут молотить, а мы еще малы были, мы снопы вязали, клали их, лошадей гоняли в приводе — по своей силе работу работали. Подросла я, стала жать и косить. Косу мне налопатят, я и кошу. Первый день ходила косить, руки все сплошные мозоли намозолила, не пошла даже есть, а ушла в полог лежать. А отец с матерью увидели мозоли, притащили меня домой и об самовар стали мозоли прижигать. А на следующий день я не пошла косить, потому что ладони у меня не сгибались, а потом руки зажили, я опять пошла в поле. Тогда лета были жаркие, не как теперь. Придешь с поля, не то чтобы есть, а напиться бы только да умыться.

Дедов я своих никого не знаю и не помню, у нас все мужики в войну погибли, тогда много войн было. А бабушку отцову помню, она жила не с нами, старенькая очень была, приходила к нам, пряла. А под конец не стало у ней ума, бегала везде, весь молодой лычаёк по весне выдержает. Помню ее, когда ей гроб в ограде делали. А Гаврилову мать не помню.

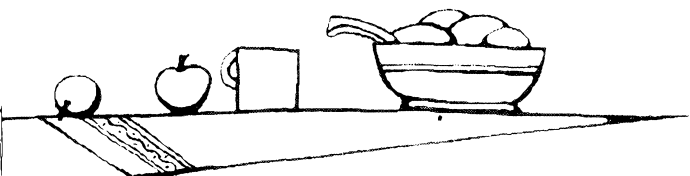
Были у меня три сестры и два брата. Родной отец погиб на гражданской войне, мать потом замуж вышла, жили мы не с родным отцом до Отечественной войны, а в Отечественную и он погиб. Отец содержал нас не как родных. Вставляли на колени, чтобы дали конфет или калач, и в ноги кланялись. Нам от него попадало. Жили мы и у крёсны, у нее был тогда еще один Юрка, а как у мамы Сима народилась, меня домой увезли. На семнадцатом году я уехала в город. Кофточка была у меня, да юбка из чего-то синенького, да жакеточка, а больше у меня ничего не было.

Ведь естоль ребенков у нас было, на всех не хватало. Из портенины чулки вязали, штанов никаких раньше не было.

Ну а ссоры чего. Отец неродной, ругал, мы подчинялися. Мама чем угодно дралася: и кочергой, и ухватом, чего под рукой попадет, всем доставалось. А Витька маленький был, я его спать укладывала на печи. На столе у меня все к обеду собрано было, близко к столу подошли, Витька скатерть-то и сволок, все побилось, вся посуда. Я испугалась, Витьку спать в зыбку скорее уклала, а сама под телегу у колодца уехала. Матерь пришла, увидела и забегала, заругалась, искала меня, убить грозилась. А потом ребенок проснулся, она ничего не убрала, только скатеркой закинула, Витьку на пол посадила, а сама снова айда в поле. А утром потом спать, поругала меня, но бить не била. А с отцом она ругалась только за пьянку, он вино попивал. А отец с ней не связывался, мати ведь как зашумит, так только дай сюда.

Куковьякина Юлия Петровна, 1922 год,
дер. Слобода

Семья у нас была большая. Жили с мачехой, так всякое было. Неродная мать, так не родная. Всяко бывало: и хорошо и плохо. Детство было не очень-то хорошее. С малых лет все делали сами: и шили, и пряли, и вязали. Хорошо, что тятка был у нас хороший. Он никогда нас не обижал, потому что и его детство было не из легких. В тринадцать лет остался без родителей. Сиротское детство он признавал. Даже когда я пошла в восьмой класс, то он вначале не



знал, как и сказать-то мне, чтобы я шла работать, боялся обидеть меня. Но что поделаешь, от судьбы не уйдешь. А еще помню из своего детства, как раньше ходили на игрища. Там парни замечали девок. Раньше было не так, как сейчас. Если вечером парень девушку с вечерки, то у ограды даже боялись остановиться. А на следующий день увидишь друг друга, так виду не подавали. Было и такое — парень работает в лесу, а к нему в дом привели уже невесту. Так и жили.

Кроме вечеров и игрищ, никаких развлечений не было. Потом стали делать клубы. Молодежь в свободное время стремилась в клуб. Старики обычно праздновали старинные церковные праздники. Но ведь праздновали не так, как сейчас, весело.

Раньше по пять, десять, а то и по двенадцать было ребенок. И родителям они были милы, и всем места хватало. Хоть и нянчиться было некому, но дети росли как грибы, и мало кто болел. Ребят крестили всех без исключения. Похороны тоже не обходились без церкви. Если в доме заболел человек, то приглашали священника, чтоб снял грехи и все болезни.

В нашей деревне были дети, рожденные вне брака. Но деревня у нас была дружная, и никто никогда не обижал таких ребят. Но конечно, были и злые люди. Они иногда поговаривали, что вот идет безотцовщина. Будущего не боялись и всегда верили в будущее, а вот смерти побаивались. Но ведь как: бойся не бойся, а смерть придет, так никуда не денешься.

Глава 3. Босоногое детство

«Я детства не видела»

Вагина Таисья Семеновна, 1914 год,
дер. Бурковы, крестьянка

И теперь, видишь, не все ровно живут, и раньше так же было. Были и такие, что выделялись. Вот у нас один в деревне Игнаха жил. Дом-пятистенок ему из Никольско-

го перевезли. На окнах шторы повесил, а раньше штор ни у кого не было. Вот про него разное говорили: «Где шторы — там живут Ежи-воры». У него отца Ежом звали. А он и вправду потаскивал, был у него такой грешок.

Жили мы пока одинолично, семья была четырнадцать человек. Две снохи было. Устанавливался в больших семьях порядок: сегодня твоя денщина, завтра моя. Этой квашню лекчи, за скотиной ходить. В колхоз вступили, так старшие отделяться стали, кто своей семьей обзавелся. Тут уж одна хозяйка на дом оставалась.

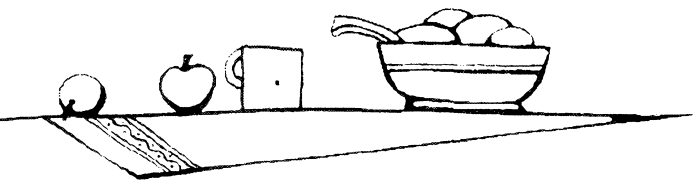
В войну тяжелее стало, и дома надо успеть, и на работе. Я больше в то время с мешками возилась. Молодая была, силы хватало. Мне никого не надо было, чтоб мешки наваливать — взвалю на закорки и несу. Жили без передыху, пахали и сеяли — все делали, и все бабы одни да старики.

Я детства-то и не видела почти что. В семь лет меня уж жать брали. Помню, день был холодный, а мы жали. Руки замерзли, остановилась да оглянулась назад — тятенька так погрозил, дак реву да жну. А раз опять было — тоже жали. Снопы-то забираешь в горсть, вот у меня палец большой и гнуться не стал — до чего доработала. Бабушка увидела и говорит: «Иди, Таиська, домой, вся уж умаялась. Отдохни. Да только накопай картошки да ужин свари, скотину накорми, корову подои, избу прибери, за ребенком догляди». Вот тебе и отдохнула. Много ли подросла — косить стали брать. А косили горбушами. За день-то так натюкаешься, что спину и не разогнуть. А в школе я одну зиму только и проучилась, больше не отпустили. Тут прясти, тут жать, тут за ребенками смотреть надо — вот мои ученья и кончились.

«Жизнь-то держалась на волоске»

Сычева Антонина Александровна, 1923 год,
дер. Антоновцы

Отца сейчас уже не помню, умер. Я мала была. В семье нас (детей) было шестеро. Ссор почти не было. Да и из-за чего было ссориться? Из-за куска хлеба, что ли? Это ведь



сейчас очень часто ссорятся, все делят что-то. А тогда делить было нечего. В семье было четыре парня и две девчонки. Парней взяли в армию, а мы остались с Зиной (сестрой) да с мамой.

Дел было много, поэтому и не смогла доучиться — работать надо было.

Что же рассказать о свадьбах? Лично у меня свадьбы не было. Да и вышла-то замуж я вовсе и не по любви, а по знакомству. Был у меня парень, любили мы друг друга. Но судьба разлучила нас, и навсегда. Взяли его в армию на четыре года, а меня дядюшка Петруня познакомил с другим парнем, т. е. привел в дом сватов. А раньше была примета, что если сваты в доме побывали, то девушка должна выйти за него замуж, а то будет опозорена. Да и в то время парней-то в деревне не было. Рыться, как говорится, не в чем было, а семью-то кормить надо было. А вообще-то свадьбы проходили интересно у тех, кто жил зажиточно, а те, кто победней, так делали просто «вечеринку». В военное время свадеб не было. Численность семьи в то время была различной. У кого двое, а у кого и семья достигала одиннадцати—тринадцати человек.

Конечно, считалось лучше иметь два-три ребенка, так как и кормить легче, и помощники будут. Особенно тяжело приходилось матерям, потому что ведь им не давали ни декретов, ни отпусков по уходу за ребенком, не как сейчас. Вот на примере нашей семьи. У нас, я уже говорила, было шестеро детей, и мать должна была всех вскормить, напоить, обогреть, а ведь работали-то на трудодни. Так ей бедной приходилось работать и днем, и ночью. Она даже иногда ревела, не знала, как нас накормить, но собирать не посылала. Говорила: «Лучше, ребятушки, будем есть траву, но позориться не будем!» Так мы ходили на поле, собирали мороженую картошку. Перемальывали клевер и ели. Иногда даже опухали, но что поделаешь: жить-то хотелось.

Раньше-то ведь как было: всех рожали, как могли, так и кормили. Ничего. Все выжили. Многие и до сих пор живут. Живут и Бога благодарят. Бога тогда всегда помнили и молились ему. Как же не молиться-то? Ведь если человек молит-

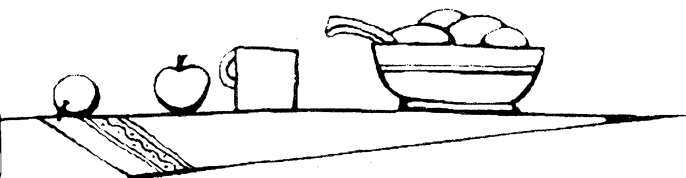
ся, значит, есть от этого польза. Молиться в церковь ходили по праздникам. Ходили «на всенощну» — это так называлась мольба на Пасху. Вечером уйдешь из дома, а утром прибежишь, переоденешься — и на работу. Священника очень почитали. Священник был грамотным человеком, умным, приближенным к Богу. Раньше покойных ведь обязательно носили отпевать в церковь, а уж потом хоронили.

От будущего ждали, что будет лучше. Сначала провели электро, копали сами столбы, чтобы в доме был свет. Все не верили, что мы здесь живем, а будем слышать, что в Москве делается. В доме стали появляться граммофон, телевизоры. А как появился первый автомобиль, так тетка, увидев автомобиль, бежит по деревне и кричит: «Антобус, антобус бежит по полю-то. Без человека, и бежит».

Смерти боялись. Голод же был. День прожил и думаешь — «слава Богу», другой — как смерть наступит. А работали — так не сравнишь. Косили по сорок соток, мяли лен: такая тяжелая работа. Лучше не вспоминать. Польша никаких не было. Первое пальто появилось, уже когда стали работать. Сестра говорила, что давай, Тонь, мы потреплем лен, сдадим, так хоть сукна купим, польта сошьем.

Хоть жили и плохо, а воровства раньше меньше было, не то что сейчас. Деды-то делили раньше покосы, помню, так даже дрались палками. У нас одна молодуха (Клавдией звали) пошла в гости к матери, так свекор из-за ссоры с ее отцом утопил ее. Прозвища давали всякие, но иногда так, ради смеха, то «журавенками», то «киселями» называли, особенно детей маленьких.

Церковь раньше очень уважали и боялись ее. Даже попу давали деньги. Когда была засуха, то вызывали попа читать молитву, ходили на земельку с иконами. И правда, после того, как поп прочтет молитву, начинал накрапывать дождик. Ходили в церковь часто. В малых деревнях были часовни, в которых были иконы. Ходили, молились Богу. В них, как и в церквях, тоже вели службу. Божбу часто употребляли в быту. В жизни чего не бывает. Молились часто. Однажды град большой пошел, так мы, маленькие, — быстрее к иконам, и до того маленькие, что головой об пол стучали.



Голода и эпидемий боялись. Сами голодовали. Жизнь-то держалась на волоске. Но народ был крепче. Без штанов ходили, но почти не болели. Даже после родов, дней через восемь-девять выполняли самую тяжелую работу, и ничего не случалось. Сейчас еще живем, и дай Бог!

«Смотрели на меня,
как на лишнего едока»

Загоскин Василий Федорович, 1904 год,
дер. Самковы

В праздники играли, игры придумывали сами, никто нас не учил. Играли в чиклеш, подшибаш, лото, чиж. Например, в чиж: ставили выбитый кол, на него ставили чиж и подшибали палкой. Играли в шар, его подшибали из лунки палкой. А так детство вспоминать очень тяжело. Земли было у нас на две души. Три узенькие полосочки. Урожаи родились плохие. Первые штаны мне сшили в семь лет, до этого бегал в длинной рубашке. Во двор зимой и летом бегали босиком. Когда подрос, мне сплели лапотцы и дали портяночки — онучки.

В школе я изучил Закон Божий, заповеди, молитвы. Раз в неделю в школу приезжал поп, задавал задания, а потом спрашивал. Мне тяжело давалось церковное чтение. За это поп часто теребил меня за ухо и ставил на колени.

Деревня наша была бедная. Только на трех избах крыши были тесовые, а на всех других — соломенные. А у дяди Гриши печка в избе была без дымохода. Топили по-дымному, при открытой двери. Когда печь истопится, дверь закроют, и в избе тепло. До революции многие крестьяне ходили в город на отходнические работы. Надо было все купить: соль, керосин, спички, сахар, топор, вилы, лопату, иголку. А где деньги? Хлеба себе на еду не хватало, не то что на продажу. Были, конечно, побогаче. Те продавали. У них такие бедняки, как мы, занимали хлеб «до свежего» под проценты. Долг отдавали в первую очередь. Не вернешь вовремя — потом не дадут. Так и жили.

А так крестьяне жили дружно, ходили друг к другу в гости, беседовали. Женщины работали только по хозяйству, в муж-

ское дело не вникали, мужчины редко помогали женам. Бывало, пойдет женщина куда-нибудь и ребенка своего с собой несет.

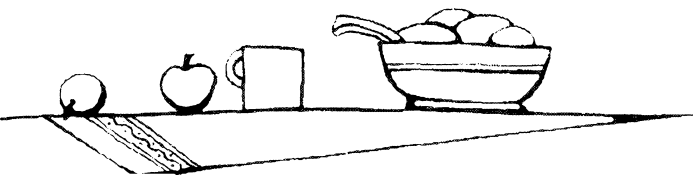
Мой крестный отец — Евлан взял подряд покрыть железом крышу дома одного богача в Вожгалах и позвал меня с собой. Поможешь и чему-нибудь научишься. Шел 1916 год, а мне, значит, было двенадцать. Дома меня отпустили, это была первая моя настоящая работа. Мама умерла, житье стало совсем плохое, сноха смотрела на меня как на лишнего едока. Как-то пришли к нам в избу ночевать два мужика. Один из них, помню, был совсем седой. Собрались все соседи, и вот седой стал говорить, что скоро у мужиков не будет узеньких полосок, а вся земля будет общая и бесплатная, что не будут венчать, детей крестить и зарастут в церковь тропочки, на полях будут ходить кони стальные, а сохи заржавеют. Все слушали и удивлялись — не может такого быть. Я же вовсе ничего не понимал — мал был.

Дожили мы кое-как до 1921 года. В этот год, на нашу беду, случился великий неурожай. Мы нажали только четыре бабки, а в каждой бабке пять снопов. Брат продал лошадь за восемь пудов овса и смолот из него «совсемку», то есть не обдирая. Из этой муки, с добавлением крапивы, кисленки и других трав, пекли хлеб. Сейчас скотину лучше кормят, чем мы ели. Мне было тогда семнадцать лет. Стал я отпрашиваться у брата в город. Он сначала не отпускал, а потом спросил: «Дорогу-то, знаешь? Иди до Кырмыжа, а там большая дорога до Казанского тракта. Он доведет до Вятки». Вскоре брат со снохой заболели тифом, их отвезли в Вожгалы в больницу. Я поплакал и пошел в город.

«Я помогал из уважения»

Русов Павел Никифорович, 1897–1978 годы

Тяжелый случай был у нас в семье в 1900 году. Мать наша померла после родов следующего после меня ребенка. По рассказам моего отца я узнал, что с ним произошел



необыкновенный случай в его жизни. Оглобля у его сорвалась, и мужики ему сказали: «Дело это плохое, и у тебя будет в жизни большое горе». Отец запомнил ихний совет и ждал, что что-то с ним должно случиться.

И вот приезжает из поездки домой, а ему в деревне говорят, что у него что-то случилось, а не говорят что. И вот он идет в дом, и отворяет двери, и сразу падает на порог, где его и поднимают соседи, ведут в избу. Я в это время был на руках у одной из наших родственниц Елены Степановны. Я этот случай запомнил: лежит моя мама на дальней лавке под иконами головой. Больше я ничего не помню, оказывается, меня куда-то унесли и больше я ничего не видел. Помню, как вбежал в чулан, и увидел новую мать, и просил у нее хлеба. То, оказывается, была свадьба моей новой матери, где ее и снаряжали под венец с моим отцом.

Когда мне было три года, со мной водилась сестра Тонька. Мать у меня была нарядная, и я часто гулял один. А больше всего бывал рядом в доме тетки Катерины, она для меня была очень ласкова, и жалела меня как сироту, и давала мне что напечет или сварит.

Гуляли мы чаще всего в угоре. Угор разделялся на две половины. Одна называлась большой угор, а другая через лощину малый угор. Дальше был Ключ. Так называлось место, где бабы полоскали белье. Там мужики вкопали большую колоду, в которую бежала вода из ключа. Мы были рады этому ключу и в сильную жару ходили и купались в этой колоде. Возьмем, заткнем внизу дырку, и, когда колода наполняется, мы в ней плескались. А вода холодная ключевая.

Ходили в лес и весь день качались на коряге, рвали землянику, можжевельник. Из него мужики ставили можжевеловое пиво, которое было очень вкусное...

В другой деревне рядом с нашей стояла мельница, у которой было восемь крыльев больших размеров, а держал ее мужик по прозвищу Медведь. Мельница у него была добрая, на зависть другим.

Но в один день сбросило всю крышу с кругом сильным ветром. Медведь собрал всю деревню и вытащили круг на место. А когда мне было двенадцать-тринадцать лет, отец

брал меня на дальний покос. С одним нашим мужиком Михаилом Андреевым и его сыном Мишей мы ходили за двадцать пять километров от села на Добрые луга. Миша был старше годов на пять, и я помогал так, из уважения. Но потом они посылали меня ловить рыбу по притокам речки. Варил обед, для чего меня и брали на дальние покосы.

День за днем тянулось мое детство, и вот мне уже шестнадцать лет. Меня взяли на службу. Так пришлось мне уходить из родного села...

«11 лет, а зовут мамой»

Ермакова Аксинья Федоровна, 1911 год,
дер. Плесково

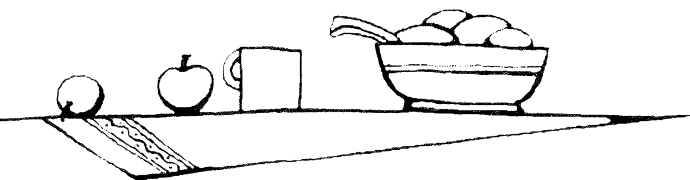
Детство было тяжелое, в семье я была не самая старшая. Особенно нам тяжело досталось после смерти мамы, осталось нас пятеро, да еще отец.

А отец-то был крутого нрава, особенно мне часто попадало за неладно сказанное слово. Тяжелее стало, когда выдавали замуж старшую сестру. Вот уж я тогда нарвелась, ведь все мои братья и сестры оставались теперь мне. В нашей семье я стала старшей. Самый младший — Васька стал звать меня мамой. Сначала я сердилась на него, ведь мне одиннадцать лет, а зовут уже мамой. Но после ответа Васеньки: «Должна же у меня мама-то быть!» — я ему ничего не могла сказать. Так и звал он меня мамой.

Жили в то время плохо у нас в деревне, многие собирать ходили по деревням. Мы-то жили еще ничего, но вот подружка у меня была, Тасей звали, жили уж очень бедно, семья у них была аж десять человек.

Пока мама у нас была жива, делились мы с ними. А уж потом, как мамы не стало, и рад бы поделиться, а у самих ничего нет.

Так вот один раз сговорила меня Тася идти в Чудиново (это село было большое, от нас пять километров) собирать. А я не знала как это, ну вот и пошли мы с ней. Дошли до Чудинова, а там первый дом был на берегу реки; дом-то красивый, видать, хорошо жили.



Вот постучалась Тася (а я за ее спиной прячусь, страшно мне), вышла хозяйка, узнала пошто мы пришли, дала Тасе хлеба, но сказала, чтобы больше не приходили, что хозяин ругается. Еще решила нас научить, мол, вы по двое-то не ходите, а то обоим не дадут, ходите по одной.

Вот уж мне стыдно-то было, больше я собирать не ходила; вернее, ходила с Тасей за компанию — до села ее провожу, а потом жду да где-нибудь по лесу бегаю или в речке купаюсь, пока она не придет. А уж потом домой вместе идем.

Глава 4. Хлеб наш насущный

«Ставился самовар»

Булдакова Мария Михайловна, 1919 год,
дер. Нижнее

На третий день моего рождения отца забрали в армию, и вернулся он только через три года. В армии он переболел тифом и чудом остался жив. Когда кто-нибудь из деревни возвращался, то все деревенские собирались и целый день сидели, разговаривали, угощались, но без вина. Ставился самовар, откуда-то из чулана приносилась сушка. Когда пришел отец, он попросил меня подойти к нему, но я пряталась за печку. Когда все замолкли, я вдруг выскочила из-за печки и бросилась отцу на шею, заревела, закричала: «Где ты был? Где ты был?» И, говорят, все мужчины и женщины, бывшие в доме, тоже не могли удержаться от слез.

Когда выдавали замуж, то проверяли всю родословную, кто чего стоит. Считалось счастьем, если девка выходит замуж в свою деревню. Но выдавали и за нелюбимого, против воли, как скажет отец. Например, сестру моего будущего мужа, красавицу, выдали против воли за плохого человека. Она скоро зачахла и умерла.

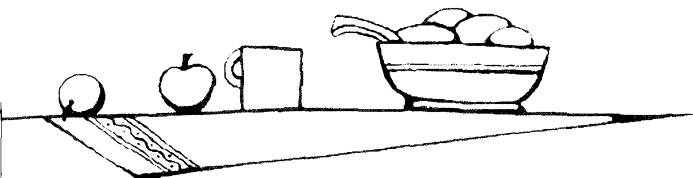
Питание в деревне было строго распределено по постам и мясоедам, кроме того, соблюдались постные дни в течение недели — понедельник, среда, пятница. Пищу готовили сразу на весь день. Воду не пили, потому что постоянно на столе стоял большой кувшин с квасом. Ели все из общей чашки. Квас варили из солода и держали в погребе. На праздники делали черное пиво, непьяное, без сахара. А если положить сахар, то получалось пьяное пиво, которое готовили на свадьбы. Заготавливали растительное масло из льняного семени. Из гороха варили гороховницу, из гороховой муки пекли блины, делали гороховый кисель. Из овса делали толокно и ели во время поста с квасом. Из овсяной муки пекли блины, делали всякие крупы.

Сушили на всю зиму грибы, из сухой рыбы варили щи. Картофель и овощи были весь год. Сахару ели мало, давали только вприкуску по кусочку. Солили огурцы и капусту в бочках. В мясоед ели все, что было, но мясное ели не каждый день, лучшее припасали на летние работы, когда труд тяжелее. Я считаю посты и режимы очень правильными, так как не припомню, чтобы у нас кто-то в деревне жаловался на желудок.

«Люди жили дружно»

Чарушников Семен Яковлевич, 1917 год,
дер. Чарушнята, крестьянин

Наша деревня была из шести домов. Люди жили в деревянных избах. Избы освещались керосиновыми лампами, отоплялись печками, сбитыми из глины. Каждый хозяин семьи имел прозвище: Иван Большой, Иван Малый, Петр Грозный, Алеша Большевик, Федор Богатый, Иван Бедный. Земельные угодья деревни распределялись по едокам на семью. Пашню делили на три поля. На них поочередно сеяли: озимые (рожь), яровые (ячмень, овес), а третье поле оставляли под пар, чтобы земля отдыхала. Сначала землю обрабатывали деревянной сохой — косулей, боронили дере-



вянной бороной. Позднее появились железные плуг и боро-на. Земля удобрялась навозом. Сеяли вручную из лукошка, жали серпами, молотили молотилом. Собранного урожая хватало прокормить семью, оставить семена будущего года, заплатить налог. Зерно каждый хозяин хранил в житнице, где стояли лари.

Весь год в питании разделяли на посты и мясоеды. В посты (говенья) питались только постной пищей: варили из крупы щи, кашу, из репы — репницу, из лука — луковицу, гороховицу из гороха, квас с хреном, грибовницу летом, картофельницу, льняное масло с картошкой, рыбу, заваривали капусту. Мясоедом питались мясной пищей: варили суп, жарили картошку с мясом, молоко, творожное молоко (грудки) со сметаной. Вся семья ела из одной чашки деревянными ложками. Вилки не было. Вино раньше пили только по большим праздникам. Пили маленькой рюмочкой. Хозяин обносил гостей. Кто сколько сможет. Варили пиво на солоду с хмелем. Людей, которые любили выпить, в деревне называли пьяницами. К ним не было уважения, над ними смеялись. Пьяницам говорили: «Кто чарки допивает, тот век не доживает». Перед обедом всегда мыли руки, крестились перед иконами. Детям не давали бегать с куском. По субботам топили баню. Бани были черные. После бани обязательно ставили самовар и пили чай с сахаром и калачами.

Народ одевали в холщовую (портяную) одежду. Мужики носили рубахи-косоворотки из пестряди с поясом с кисточками, штаны кипсовые полосатые. Холст ткали сами хозяйки, сами красили, в разные краски. Женщины тоже носили портяные юбки с оборками. Летом носили в будни босики из бересты, лапти. Зимой — валенки, шили кошули (шубный мех покрывали портяниной). В праздники одежда была иная. У мужчин были хромовые сапоги, брюки из вигони, рубаха сатиновая в полоску и пояс с кисточкой. Женщины одевали платья сатиновые с оборками, цветной платок с кистями, на ноги — ботинки с резинкой на боку или высокие со шнурком (двадцать глазков). Одежду очень берегли. Праздничная одежда хранилась отдельно в клети.

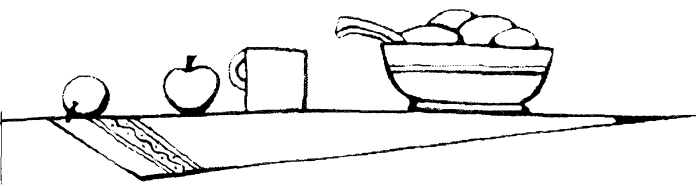
До тридцатых годов все хозяйственные вопросы жители деревни решали общим собранием (сходом). Решения были обязательны к выполнению для всех соседей. Кто плохо выполнял, к тому относились плохо. Собрания проходили в избах, поочередно предоставленных на год. Этот дом назывался «деревенским», а хозяин его оповещал народ о собраниях.

«Пили сильно»

Ерок Валентина Васильевна, 1922 год,
г. Ярославль, фельдшер

А что касается других стран, так нас все время учили и убеждали, что там у них гниющий капитализм и живут все там очень плохо. Но когда я в Германии в войну была, я видела, как там все. Мы столько всего видели, чего у нас нет, и все рот открывали. А замполит наш говорил: «Под той роскошью скрывается нищета». Ну, нищетой там и не пахло. Как зайдешь в какой-нибудь дом — так глаза разбегаются, какое там все красивое: мебель, белье, посуда. Впервые там увидела болоневые плащи и раскладушки. Все думаешь про себя — хоть бы померить что... Молодые были, хотелось одеться.

Пили в городе сильно и много. В нашем доме была «Казенка», там все продавалось — от четушки до литра, все с разными наклейками и недорого. Если праздник какой-то, весь дом пьяный. Сначала песни поют, а потом драки начинаются, мужики жен своих да детей гоняют. Но вот женщины чтоб пили — не видела. Не пили до войны женщины. Пили в основном рабочие, интеллигенция гораздо меньше. Мой папа тоже часто выпивал, но он когда выпьет — добрый такой, не дерется, не ругается. Всегда нам что-нибудь вкусное принесет или просто денег даст. Но мама сильно ругала его, иногда даже огреет в сердцах — но это понятно, семья-то большая. Молодежь тоже пила здорово. В школе, помню, учились в классе седьмом, правда, все взрослые были, лет по 18. Так мальчишки принесут на урок бутылку и под пар-



той распивают. Сейчас-то даже представить такое нельзя, а раньше было. Ой, а в нашем доме особенно — все с одного завода мужики. Как получка, так и слышно: жены ругаются, а мужики песни орут.

«У крестьян ценились деньги»

Кочкина Анна Ефимовна, 1923 год,
дер. Овчинниковы, учитель

Наши бабушки и дедушки были очень работающие люди, экономливые, расчетливые, как говорят, видели взад и вперед и на три метра в глубину. Только удивляешься, когда они спали и отдыхали. Жили большими семьями по двенадцать—четыренадцать человек. Главным был отец (дедушка). Его слушали, у него была вся домашняя казна. Несколько сыновей с семьями жили все вместе в одной избе, и всем хватало места. Ссориться и браниться стеснялись старших (дедушку и бабушку). Весь уклад жизни держался на них. Так делалось во всех крестьянских семьях. Дедушка и бабушка были командирами в семье. Молодые работали, а старики вели хозяйство, помогали растить внуков.

Вот на такую семью в тринадцать—четыренадцать человек попробуй наберись продуктов питания, поэтому в пищу шло все-все от домашнего хозяйства. Особенно много овощей (картошки), ягод, грибов, крупы. Делали сами — все это было приобретено своим трудом, заранее. Причем дети здесь непосредственные участники всего заготовленного. Уже с детских лет знали, что нужно, — вот оно, приобщение к труду. Зато и болели реже.

Запомнилось мне, как рассказывали мужики о том, как мой дед мыл себе в бане голову. Мужики сядут вокруг шайки с теплой водой, а он пристроится где-нибудь со стороны, несколько раз смочит ладонь в воде, без мыла, малость потрет себе лысину и кричит: «Шабаш! Шабаш! Хватит!» Но парился крепче всех. Бывало, на каменку нальют воды, создадут столько горячего пара, что мужики выскакивали из

бани. А он залезет на верхний полок, так себя веником парит, что делается красный как рак. Выйдет, повалится в снегу и идет домой по снегу без штанов. В ограде одевался и шел домой в избу. Очень много курил. Не было махорки — выкурил весь мох из пазов в избе. Прожил он до 97 лет. До самой смерти ничем не болел.

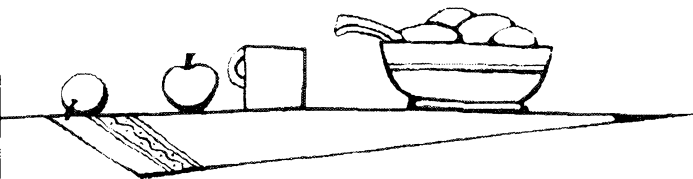
Опишу два случая, говорящие о том, как у крестьян ценились деньги, и о том, как дети (уже взрослые) слушались родителей.

Однажды на ужине семья из двенадцать человек сидела за столом. Ели разную пищу, в том числе и картофельницу (вроде пюре, но разведенную водой). Уже наелись ее, а еще осталось много. Выбросить, или пожалеть, или специально испытать силу денег. И говорит отец старшей дочери: «Маша, съешь это большое блюдо картофельницы, десять копеек получишь». Машка подумала: и есть (неохота) не хочу — страшно много, блюдо больше, а и десять копеек неплохо бы иметь. Все-таки на десять копеек можно кое-что купить для девушки (пажики, гребешки, брошку, ленточки).

Подумала Машка и решила: съем, что будет, не лопну. А десять копеек мои будут. Все глядят, двенадцать человек, что будет Машка делать: съест или нет. Машка поставила перед собой блюдо и начала «возить возами» по полной ложке, все умирают со смеху. Ничего, вот уже ополовинила, кто подбадривает, кто торопит, кто помаленьку велит. Вот уже близок конец... Ничего, не лопнула, заскребла блюдо последней ложкой и десять копеек на стол. Но только как вышла Машка из-за стола! Вероятно, трудно было! А от последнего блюда отказалась, так как было поставлено на стол блюдо с кислым молоком, которое раньше, как обычно, хлебали деревянной ложкой из одного блюда. Вот как дороги были десять копеек!

Аксенова Агния Георгиевна, 1919 год

А отец за столом разговоров не любил, чуть что, и огромной ложкой в лоб так прилетит, что год помнить будешь. А ели все в одной чашке, ложками деревянными, и попробуй



наперед батьки сунься. Мы побогаче были, побогаче и ели: суп, томленный в печи и заправленный кутьей (из ячменя), ржаные пельмени, лапшу домашнюю, картошку в мундире, суп из осердя, шаньги с картошкой, творогом, пироги разные, а если с вечера квашню растворишь — так оладьи; их перед печкой пекли раньше, как и хлеб. Для оладий на столе и сметана, и масло. А масло сбивали не только на маслобойке, но и вручную: в кринке мутовкой сбивали. Масло получится — заглядение. Только вот пошто летом масло желтое получалось, а зимой — белое, не знаю. Топленое масло делали: толокно замешивали с маслом и ставили в печь тушить; хворост раскатывали сочными и так и запекали.

К вину раньше строго относились. Пили в престольные праздники: Троица — в июне, Сдвиженье — в сентябре, и другие, но в воскресенье, в страду, в сенокос — никогда не пили. В праздники варили пиво общее (складывались солодом, мукой, хмелем). Его варили в корчагах с колосом и солодом, сусло-то получалось тягучее, а пена желтая, хмель положат, так пиво баское получалось, не то что теперь — всех святых видно; брагу варили, настойку делали, а потом два-три дня пировали. Бывает, напьются, подерутся, поругаются, но тут же и помиряются. Молодых на свадьбе никогда вином не поили, только квасом, пьяниц в деревне не уважали. У нас случай был, мужик часто выпивал, вроде Петя его звали, а как напьется, так и жену свою бьет. Той, понятно, надоедо, и она решила его проучить. Раз зимой открыла подпол, оно у порога было, застелила его половиками. Когда Петя шел, как всегда пьяный, он упал в подполье. Жена его там два дня продержала, так он взмолился уж: «Выпусти меня отсюда, пальцем не трону». После этого случая он выпивать стал редко, а жену свою не то что не обижал, так лишний раздохнуть на нее не смел.

Одевались во все самошитое: платья, сарафаны, из овчин шили шубы, тулупы. А пальта я путем не нашивала, только когда поступать в техникум стала, мне из маминого пальто перешили, а так все в шубе-барчатке да казачинке ходила. Летом на ногах лапти носили да бродни, лапти из лыка плели, а бродни из широкой бересты, в теплую погоду — боси-

ком. У нас отец шил сапоги сам, так мы в кожаных ходили, и валенки сам катал. А кто не умел, так, бывало, и в лаптях всю зиму хаживали, пододенут опорок побольше, так и ходят.

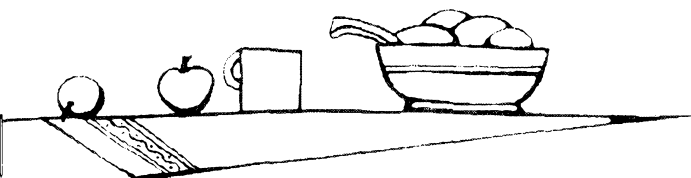
Глава 5. Праздничная Русь

«Невеста ревет, если позовут
в чужую деревню»

Колчанова Валентина Гавриловна, 1917 год,
дер. Соски

Молодыми ходили на вечерке, плясали тамака. Тут с Василием познакомилась, знакомы были не долгое время, с месяц. А потом послали сватов. Пошлют сначала сватуху, придет она — спросит, примут ли жениха. А невесту не спрашивали. Бывало, приказным порядком отдавали. Потом приходят с женихом, ставит невеста чай. Спрашивали, с какого года невеста. Потом назначали, когда записываться поедут, тогда тоже собирали маленько на стол. От записи ездили к жениху житьё смотреть вместе с родителями. Затем приезжают назначенный день росписи, а потом едут расписываться. Перед свадьбой бывает девичник. На него приходят молодежь и своя родня: родители, сестры. На девичник стряпали ватрушечки пресные, угошали. Потом назначают день свадьбы.

Свадьбу справляют жениховы родители. А еще, когда приезжают свататься, если невеста жениху нравится, отец невесты делает запрос, будто бы продает дочь, а жених выплачивает. А если невеста не нравится, просят выкуп с невестиного отца, иногда такой, что выплатить нельзя и приходится отказываться. А когда приедут за невестой, везут с собой дружку. От невесты едут на пяти, семи лошадях. Дружка весь этот поезд останавливает и начинает рассказывать: «Дайте дружке дорожку, не ступить бы никому на ножку. Посмотреть бы невесту, если хороша, то увезем, если плоха, то выбросим».



Раньше у каждой деревни были ворота, их запирали перед свадьбой, чтобы вся деревня могла высмотреть молодых. Дороги молодым загораживали всяко, веревки натягивали. Дружку наряжали, он все время был с молодыми. Молодые венчались в церкви, а от венца ехали к жениху, свадьбу там делали. На столы ставили все свое, покупали только калачи и конфеты. Жених с невестой сидели за столом вместе со всеми, «горько» кричали по первой рюмке, а потом сколь раз подымут. Полотенца, которые невеста сама делала, на стены вешали. Дружка весь вечер плясал с этими полотенцами, всех утирал ими. На второй день наряжают куклу, «крестят» ее, пеленают, дают невесте, жениху, бьют посуду. Проверяют, какая невеста хозяйка, пачкают ей в доме, мусорят. Все гости пляшут под гармошку. Гуляли не по одному дню, у кого сколь есть провианту. Отгуляют, молодые ходят провожают отца и мать. Невеста ревет, если повезут в чужую деревню.

Молодые собирались на вечерки, ходили в церковь. Большие пляски были в праздники: Пасха, Масленица, Рождество. А в такие дни были помочи, плясали так. Парни приходили с гармонью, если узнают, где помочь.

В Масленку ездили молодущек смотреть на лошадах. Привозили их к горкам и там плясали все, и девки, и молодущки. Ездили по деревням, заходили в дом, где молодущка живет, и никого не спрашивали, плясали. Полон дом плясунов бывает, повернуться негде. Если в деревне не одна молодущка, то у одной отпляшут, к другой идут. Молодежь тогда не пила, очень редко, это позором считали, если пьяный на вечерку придет. А в Пасху ставили козла — качели и качались. Старики тоже компаниями собирались, веселились, пели длинные песни. В Пасху христосовались, разрезали красное яичко пополам и ели. В Троицу ребенков наряжали во все новое, веселились все — и старый, и малый.

Колхозы начались, так всем колхозом праздновали, да и не одной деревней. И хоть с обеду, но сделают выходной. Раньше еще любили в картинку играть, лото. Соберутся мужики в какой-нибудь избе и играют, а бабы своим кругом собирались, песни пели. А у молодежи правило было, если ухажерится девка с парнем, то другие парни к девке не лезут.

Всякая девка плясала со своим парнем, другие ее не приглашали. Потом свадьбу делали. И сколь нарожают ребенков, столь и было. Абортов никаких не делали, боялись Бога. Дети выживали не все. У кого все выживут, так бывало семь или шесть ребенков. Слабенькие ребенки умирали.

Вот, например, у неродного отца, у сестры семь ребенков было. Если у кого один ребенок останется, так сватов лучше к одному созывали, чем к семейному. Одному, мол, все приданое достанется, дележки не будет. Раньше много шадравитых ребенков было, воспой болели. Воспу тогда не прививали. Много калеченых было. Калечило корью, воспой, скарлатиной. Крестили ребенков сразу, как только родятся, макали в купель прямо с головой. Помазал поп плечи, руки, ноги, грудь, читал молитву. Раньше всех крестили в обязательном порядке. Приглашали кресну и кресного, после крестин всех угощали. Венчались все, и бедные, и богатые. А когда церкви разрушать стали, тогда венчаться стали меньше. У которых вот свадьбу не на что было сыграть, а венчаться все равно венчались.

«Расходились искать цветок папоротника»

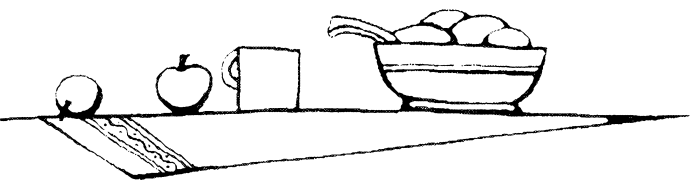
Ермакова Акси́нья Федоровна, 1911 год,
дер. Плесково

Жизнь трудная была, работали все от мала до велика. А вот уже праздники или свадьба в деревне шли не то что теперь. Весело у нас было. Гуляла вся деревня — все друг друга знали, уважали.

Песен ведь раньше много народных знали. Вот свадьба, к примеру; ну, сватались, это еще не праздник, а вот сама свадьба — это уже гулянье. Чаше свадьбу справляли осенью, когда урожай соберут. Тут уж сразу два праздника.

На свадьбе все пели, и подруги невесты и невеста с ними, — песни жалобные, ведь с девичьей жизнью прощалась невеста.

А жених и его друзья, наоборот, — веселые, удалые. Венчались в церкви. У нас в деревне была церковь хорошая, кра-



сивая, из других деревень приходили на службу. Обязательно все крестились, и отпевались тоже в церкви.

В Пасху поп ко всем в гости ходил, молитвы пел. Хозяйки его угощали. К тому дню во всех домах яички красили отваром лукового пера — скорлупа становилась коричневатой-красной, их потом к иконкам подвешивали.

По большим праздникам ходили с иконами на реку Великую, называлось это стречинье. В реку бросали завешания. Кто хотел, купался, а желающих было много; даже в холодную погоду купались и говорили, что не холодно.

А праздник Ивана-Купала мне нравился больше всего. Этот праздник праздновали летом, когда зацветает папоротник, его-то и звали купалин цветок.

Уходили (в основном молодые парни и девки) к реке, жгли костры, хороводы водили вокруг них и, уж конечно, обязательно пели; ведь для каждого праздника были тогда свои песни.

А уж в полночь все расходились по берегу реки искать цветок счастья. Страшно бывало, ведь папоротник растет в болотистой земле да еще чаще в лесу; вот кто похрабрее — один ходил, а то в основном все парами. Рассказывали, что находили и желания загадывали. Только вот мне он ни разу не встречался.

Сейчас забыли эти праздники, а раньше верили; верили в судьбу, верили, что на том свете тоже есть жизнь и что кому на этом свете тяжело живется, легче будет на том свете.

Наверное, эта вера и помогала жить, успокаивала, помогала верить в будущее. Сначала у нас в деревне будущего не боялись, а вот когда церковь сломали, старушки слезами умывались, стали говорить о конце света.

Перминова Мария Федоровна, 1911 год,
дер. Санники

Часто вспоминаю, как выходила замуж. Вечером подъехали на лошади к воротам, забегает мужик в избу, а мужик-то сродни нам приходился, и говорит: «Дядя Нестор, можно ли

заехать во двор?» А мамка мне говорит: «Манька, там в корзине кто-то сидит, жених, наверное». И вот заходит парень, старше меня на пять-шесть лет.

Я быстрее на печь залезла, на мне и платье-то портяное.

А мужик-то этот опять и говорит: «Дядя Нестор, мы сватом приехали». А дед ему в ответ: «Ребенки замуж не ходят». Мужик говорит: «А нам молодую и надо, у нас старухи и так есть в доме».

А народу со всей деревни собралось уйма. Бабка говорит: «Этак и пол подломит». Скипятели самовар, принесли конфет, пряники.

Я вывесила полотенца, скатерку на стол постелила. Самовар-то был двухведерный, я принесла его, шмякнула на стол и обратилась к гостям: «Садитесь за стол». Все сели за стол. Этот мужик Аверьян шутил все, смеялись.

А потом я убрала все со стола. Ушла на кухню. Приходит жених ко мне и спрашивает меня: «Пойдешь ли, Маня, за меня замуж?» Я ему говорю, что я молода. В это время пришел Аверьян и начал сговаривать меня. Я согласилась.

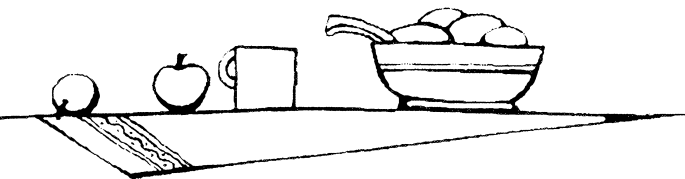
Аверьян говорит: «Приезжайте завтра дом смотреть». Я говорю: «У меня и шубы нет». Аверьян: «Ничего, отец справит». Поехали смотреть дом. Дом-то старинный, не больно богатый. Но жених-то мне уж больно приглянулся, хорош, кудряв. Всем девкам понравился.

Потом поехали уписываться.

Затем был девичник (смотрины). Пировали у невесты. Ох, и народу было! У него родня большая и у нас. Отец нагнал самогонки, всех напоил.

Для невесты были испытания. Сваха уронила как бы невзначай булевку. Я должна была ее быстро поднять, иначе скажут: «Слепоя». Я справилась быстро с этим заданием. Потом еще надо было пройти по половице и не оступиться, а то бы сказали, что хромя. Ну а потом была свадьба. Тоже вся родня собралась. У мамки только было четыре брата.

В семье мужа уже были две золовки. Неважно они тоже жили. Свекор сразу сказал: «Смотрите, если что из дома выйдет, всех перехвошу». Миша, муж, мне сказал: «Смотри,



Маня, ты ни с кем не говори, если что и неладно в семье, не выноси сор из избы».

Война началась, Миша ушел на фронт. Я осталась с пятью детьми. Мишу убило. Если б не война я бы прожила как у Христа за пазухой. Мы с Мишей любили друг друга.

В молодости у нас всякие игры веселые были. К Масленке откармливали лошадей и по деревням ездили с гармонью. Начинали с четверга и кончали понедельником.

А летом ходили по деревням, гуляли мы, девки, парни, поем песни, далеко слышно. Ох, и весело было, нечего сказать.

А когда я вышла замуж, пришла к Дикушонкам — веселая деревня была. Очень интересная жизнь была до войны. Война все съела. Но и в войну мы иногда собирались, бабы. Я помню, ходила в подполье, зеркало повесила на подвод, а другое зеркало на левое плечо. стакан воды поставила на пол.

И сказала: «Суженый, ряженный, приди ко мне». Не успела я договорить, в зеркале появился парень. А потом, когда приехал Миша, я узнала в нем этого парня. Но тогда я здорово испугалась, завизжала и выскочила из подполья. А потом вот еще как гадала. Между заутреней и обедней вышла в проулок. Очертилась головешкой и сказала: «Полю, полю снежок, где мой женишок, там собачка взлай». Три раза собачка взлаяла. И точно, оттуда Миша и приехал.

«Ездили зятевей
и молодушек смотреть»

Юдинцева Екатерина Сергеевна, 1922 год,
дер. Нагаевщина

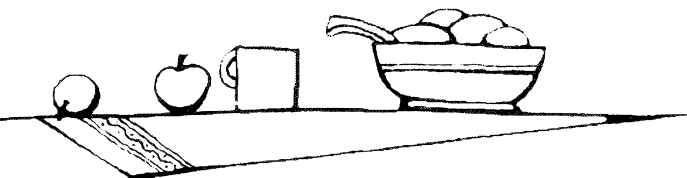
Помнится хорошо, как весело, дружно мы в деревне жили. Соберемся в один дом, сидим, прядем, песни поем на посиделках. По вечерам ходили на игрища. Пели песни, плясали, играли всякие игры, было весело. Керосину не было, так ходили, собирали по домам, кто сколько нальет. Наберут

поллитра, нальют в лампу десятилинейную, хватало на всю ночь. По воскресеньям ходили в церковь, к заутрене, к обедне и всенощную. Богу молились, молебены служили. Народ у нас был верующим.

Жили очень дружно, Бог давал здоровья и миру. На Новый год и на Рождество ворожили. Собиралась молодежь в один дом, пели Илею. Сначала песню споют, чей предмет в руку попадет, тому эта песня и достается. Если к замужеству, то такие: «Твори, мати, квашню, пеки пироги, к тебе, мати, сваты, ко мне женихи». А если девушка в этом году замуж не выйдет, то: «Сидит кисурочка во своей конурочке». Были и плохие песни, к покойнику: «Сидит Арина на овине полотно дерет», «Под Новый год сосновый грот». Эти песни плохие, к покойнику. И много, много разных других пели.

Еще запирали ведра замком и ставили в подполье. Ложились спать и завечали: приснись сон, какой жених за ведром придет. Ходили на поверки, слушали, в какой стороне колокольцы зазвенят, то с той стороны жених и будет. Бывало, и сбывались эти сны. Еще по погоде завечали, что будет урожай ли, засуха. Когда что сеять по церковным праздникам определяли. Ну, например: 1 декабря — Платон да Роман, они кажут зиму нам; 17 декабря — Варвара. Трешит Варюха, береги нос да ухо. Если, например, в Крещение ясная и холодная погода, то к засухе летом; снежная — к урожаю. В феврале месяце начало Масленицы. В Масленку пекли блины, в гости к родственникам ездили. Ездили по чужим деревням километров за десять. Зятевей и молодущек смотреть.

Лошадей запрягут, сбруя вся нарядная; узда отделана разными медными узорами, на дуге разные колокольца, на оглоблях разноцветные кисточки. Запряжем лошадей в зимние кошевки, а их обшивали материалом. Были сделаны горки в деревнях. Делали специальные «леденки», как санки, только низ был сделан из досок, обледенивали низ коровьим навозом, помажут, заморозят и обольют водой, получалась леденка. Катались на этих леденках по два человека. В последний день Масленицы ходили в другие деревни, брали много снопов и ржаной соломы. Шли по полю, жгли эти снопы. Люди наряжались в разные наряды. Выворачивали



вали на другую сторону полушубки, шили цветные, большущие пелены, брали метлы, колокольцы. Заходили в дома, там уж встречали, как хороших гостей, угощали самодельным пивом, пирогами. Люди заранее готовились, стряпали к этому дню. Пели песни разными напевами, частушки: «Мене милый изменил, погодушка подунулась. Он сказал, что плакать будешь. Я и не подумала»; «В том конце собака лает, на собаке бригадир: выходите на работу, а то хлеба не дадим»; «Я по лinye шла, лinyя лесенкой». Загадки были на смекалку интересные, все уж не упомню: «С вечеру — заторкается, ночью — захоркается, утром встал, рукава заскал» (квашня).

«Боялись одного взгляда родителя»

Кочкина Анна Ефимовна, 1923 год

И вот однажды приехал к свату сват, а в доме была не выдана дочь. Но уже настоящая невеста. Это было Рожество Христово. А в Рожество были гулянья в деревнях, днем — игрища, вечером — вечерка. И позвали эту девушку на вечерку. А не спросив отца, никогда не смели ходить на вечерку. Так было заведено. Не спрося, никто не смел уходить, да еще вечером, надолго, и решила Наташа спросить отца: «Тячь, можно я схожу на вечерку?» Отец и говорит: «Это ночью-то шататься, нече делать». Отказано... Но приезжий сват и говорит: «Да отпусти, сват, ведь охота девке поплясать, погулять, вместе со всеми побыть. Ведь праздник». Смилостивился сват: «Ну, иди, только вовремя дома будь». И начали сват со сватом вести свои разговоры. Обрадовалась Наташка, разрешил отец, а подруги ждут ее. Оделась, собралась, только бы уйти и решила еще отцу сказать, доложить:

— Ну, тятя, я пошла.

— Куда?

— Так на вечерку, ты меня отпустил.

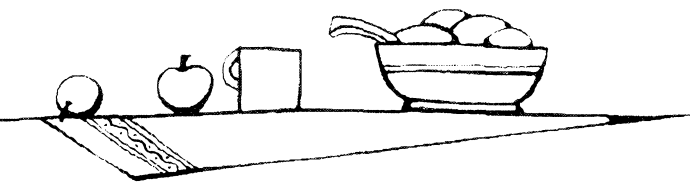
— Некуда ходить! Нече по ночам шататься. Днем сходи-ла, и хватит.

Не осмелилась больше спросить. Не ушла, побоялась. Не смела больше проситься. Проводила подруг печальным взглядом и осталась дома. Вот как было строго слово родителя. Раз спросил, больше не переспрашивай. Боялись одного взгляда родителя. Дисциплина была строжайшая в семьях, не говоря об маленьких, даже взрослые не смели ослушаться. А для маленьких ребят с детства был знак повиненья, лекарство в избе под матницей — воткнут березовый прут. Только покажи на него — любой младенец или подросток знал его «вкус» и чувствовал, чем он пахнет, если провиниться и не послушаться.

О своем рождении можно сказать то же, что и обо всех рождающихся тогда детях. Первенца, как всегда, ждали в любой семье. Проводили обряды после рожденья ребенка (а чаще рожали женщины дома, иногда в поле, на покосе). Роддомов в ту пору не было, а были бабушки, которые немного знали это мастерство. Вот они и принимали новорожденных. Часто встречались аномалии, неправильные роды, а оказать совершенную помощь было некому, поэтому многие женщины умирали или дети рождались неживыми. Но рожденье ребенка в семье было радостным событием. После того как мать немного оправится и дитя тоже, через определенное время в семье объявлялись крестины. В общем проводили обряд крещения. Потом приезжали домой и отмечали застольем.

Смерть старших родственников в семье — это было горе в семье. Старались исполнить все желанья умерших. Отправить все положенные ритуалы: погребенье, поминки, посещение могил в девять, двадцать, сорок дни, полгода, год. Старались поминать их в дни рожденья, в дни смерти. А годовую справляли обязательно.

В годы моего детства (это были тридцатые годы) было немало нищих (бедных), живших почти подааяниями. К таким людям народ как-то выражал сочувствие, милосердие. Им подавали не только хлеб и продукты, а старались дать самое лучшее, самый лакомый кусочек. Думая, что они дают это все своим умершим родственникам, стараются покормить всем хорошим, чем они могут. Давали не



только еду, а одежду, обувь, мыло и т. д. А те молились за умерших, за их царствие небесное, как они говорили и читали память о них. Богатые чувствовали себя более сильным полом. И крестьяне относились к ним с особым почтением.

Но и богатые люди в то время были разные: одни очень добрые, как бы вознаграждая крестьян за оказанную им помощь (иногда звали помочь убрать урожай). Старались угостить их чем-то хорошим, расплатиться по-доброму за труд, а другие — скупые, лишний раз покормить не старались, стремились отделаться побыстрее, подешевле. Крестьяне — все неглупые люди, это отношение замечали, и поэтому у каждого из них складывалось свое мнение. Но они не смели говорить, такова была жизнь.

Семья была самая настоящая, крестьянская, каких много было в России. Работы по горло, отдыхать много некогда, достатка в доме не было.

«В первый раз целовал»

Русских Аполлинария Алексеевна, 1924 год,
дер. Зыкино

Устраивались у нас игрища. Собирались вечерки на Рождестве, на Святках. Кто-то пускал к себе в избу, значит, на вечер. Собирались парни, девушки, гармошку играли, плясали. А летом — на улице. Уже в тридцатых, сороковых годах стали не только по праздникам, но и по субботам с воскресениями собираться. А на посиделках собирались девушки, у кого попросторней изба, небольшая семья. У нас парней было мало, не ходили они на посиделки. Теперь про свадьбу, значит.

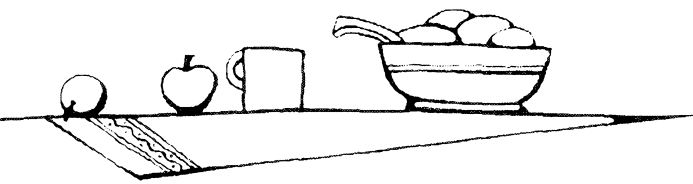
Если парень надумал жениться, то шла от него сватунья к родителям невесты. Если те соглашались, чтобы жених приехал, тогда эта сватунья, обычно вечером, ехала с женихом и его родителями в дом невесты. Когда приезжали сваты к невесте, кипятили самовар. Невеста поила жениха с родителями, сватунью чаем, выносила его на подносе. Может,

некоторые чашки по три выпьют, а кто и больше. Каждый раз невеста переодевалась, наряды свои показывала. Сначала — самый лучший. После, когда напились чаю, родители жениха с женихом и сватуней выходили в сени, обсуждали, понравилась ли невеста. И дальше, когда невеста им понравилась, возвращались обратно в избу.

Жених шел на середь, разговаривал с невестой. Если жених с невестой договорились, понравились друг другу, то тогда решали, назначали день, когда невеста должна приехать в дом к жениху — смотреть хозяйство. Говорили: «Дом смотреть поехали». Тогда там уже окончательно договаривались о свадьбе, если невесте понравился дом. Назначали день свадьбы, определялись, сколько будет гостей. Также решали, на какой день записываться (при советской власти уже надо было записываться в волости, а потом, как образовались, в сельсоветах, а после уже венчание). Жених приезжал за невестой, и они ехали записываться.

Затем у невесты назначался девишник. На девишник ходила почти вся деревня, молодые. И мужчины, и женщины. Сначала собирается родня невесты, молодежь. Приезжает жених, привозит невесте гостинцы в платке, которым невеста его дарила, когда договорились о свадьбе. Девушка выходит с подносом, на котором рюмка вина, угощает жениха. И он ей подарки ложил на поднос. Пряники, конфеты. И в первый раз целовал. А потом сидели за столы. Чай сначала, а потом родители невесты обедом угощали. Пили, плясали, веселились с утра до вечера. Вечером жених уезжал домой. А на следующее утро жених приезжал за невестой. А в первый день венчания за столом молодым «Горько!» кричали, целоваться заставляли. Невесте с женихом одну рюмку подавали, и они пили по очереди. И за уши-то они друг друга тащили, целуясь, и спички куда-то втыкали, сколько раз надо было поцеловаться, да все с присказками.

Наутро после венчания молодая должна была печь блины и угощать всю родню. Еще приносили в избу мусор, разбрасывали, чтобы невеста прибирала, деньги разбрасывали, чтобы собирала. А когда привозили приданное, молодая показывала, что у нее есть. Полотенца развешивала на окна, на



иконы, скатерти на стол стелила. А через неделю молодые с родителями жениха ехали к родителям невесты на хлебины. Позднее обряд немного изменился. Как организовались колхозы, не было уже венчания, свадьба сократилась. В первый день девишник отгуляли, а потом на свадьбу едут за невестой, невесту везут, а следом, часа через два родня невесты едет. Везет приданое ее. В 40-х годах даже так сократилось: с утра гуляют у невесты (девишник), а после обеда невесту увозят к жениху, а следом везут приданое. В один день вся свадьба.

Глава 6. Вера и суеверия

«Теперь живем как гости»

Кромкина Лукия Спиридоновна, 1901 год,
крестьянка

В семье было пять девок и брат. Родители — крестьяне. Отец ушел в монастырь конюшни строить ради спасения души. Училась три класса, со второго пела на клиросе. Богатства не видела, все служила богатым. Сестра поступила в просвирни, пекла на церкву. Тятя когда помирал, всех созвал и говорит: «Всех благословляю замуж, а тебя не благословляю. Оставайся девушкой и будешь за нас хлопотать. Живи с Богом!» Я так замуж и не вышла, а по профессии я трикотажница. Сестра сейчас в доме престарелых, жалко ее, всех жалко. Была в церквях и монастырях, в Ижевске, Киеве, Горьком, Минске, Одессе, Молдавии. Народ везде шибко хороший. Еще в Москву приехала, чтоб повидать было что. Где ни гошу — в церковь идти охота.

В Одессе школа есть, где монахов учат. А поют они так, что не поймешь, где находишься — на земле или на небесах. В Москве была у Пимена. Служба идет. Внизу хор просто поет, а вверху по нотам. Душа-то и просит Господа, чтобы он вывел ее из темницы, осветил светом познания.

Когда советская власть установилась, водили на допрос к начальнику, чтобы монастыри были советскими. Я в послушании была. Выселяли нас из келий. Я одна живу, но ходить к кому-то не люблю. Если скучно, то книгу почитаю божественную. Родители шибко верующие были, сестры приучены к Закону Божьему. Нынче характер у людей нервный, мало смиренно-мудрых людей. Всех нужно любить на свете, как самого себя. Все нации нужно любить, русская она или нет. Все люди Божьи, какая бы нация ни была. Ставь себя ниже травы, тише воды — и будешь человек.

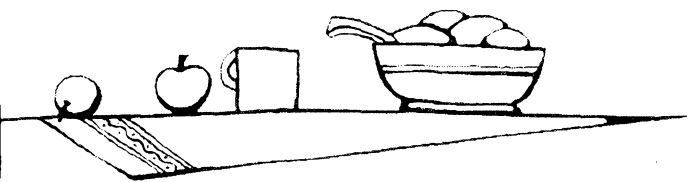
По-крестьянски жили. Теперь живем как гости. Я стремилась к монашеству, у меня было одно церковное пение и чтение. Родители радовались, что я близюсь к Богу, а не к сатане. Вспоминаю годы детства более, чем как сейчас. Была вера и надежда.

«Радею добра людям»

Устинова Анна Степановна, 1903 год

В церковь мы ходили по воскресеньям на все церковные божественные праздники. В воскресенье до обедни не работали, в обедню не работали, ходили в церковь. В деревне у нас все в Бога веровали. А в город когда приехали, там уже строже, в Бога верил кто — того обсуждали. Две церкви в городе Котельниче убрали. В одной поместили трикотажную фабрику. Был красивый собор, его вообще снесли. А какая была красотища в церкви! Мы с мужем в церкви венчались. Отдыхали люди в церкви, душу свою перед Господом Богом очишали, в грехах каялись. Евангелье я читала (есть книга 1913 года). Молитв много знала хороших, иконы были красивые, а куда что потом дели, точно уж я не знаю.

Вот одна из молитв, я ее по утру читаю и читаю: «Великий Боже! Владыка неба и земли, царь мой, Бог мой. Ты единый всемогущий, Боже, благодарю тебя за все милости твои и щедрости твои недостойной рабе твоей Анне. Не оставь меня, благослови дом мой и подай в нем мир, тиши-



ну и согласие. Благослови и устрой жизнь мою от клеветы, унижения, оскорбления и всяких наветов, защиты и сохрани. Помилуй, вразуми меня в делах моих и пошли благословенья и радость в работе моей. Избави от недугов рабов своих... подаждь им здоровье душевное и телесное. Спаси от всякой беды и напасти, простуды, благословляющую десницу твою и спаси души их. Мир, тишину, согласие, любовь и дружбу пошли в дом мой».

Читаю ее, радею добра людям, которые взяли меня к себе, с которыми я сейчас и проживаю. А хоть и запрещали в Бога верить, но люди-то верили. Когда детки мои в школе учились, у них крестики срывали. А у их учительницы дома иконы висели, я увидела, когда домой к ней заходила.

«Будущего, конечно, боялись»

N. N., 1905 год, дер. Монастырщина,
крестьянка

И когда человек умирал, к нему приглашали священника, для последней исповеди. А вообще старые на исповедь ходили два раза в год.

Если в семье раздор, идут к священнику, он что-то читает. Если муж с женой живут плохо, то к иконе ставят свечу. Что там читают — я не знаю. Без попа ничего никогда не проходило. Раньше все ходили на благословенье к попу, да и нонче ходят. Некрещеным в церковь заходить нельзя было, да и сейчас не разрешают.

Внебрачных ребенков точно так же крестили, только мать просила, чтобы грех на ней, а не на ребенке остался, боялась погубить младенца. Раньше такие случаи были, но редко. Раньше женщина с таким ребенком была обиженной, она всех стеснялась и побаивалась, прижатая была в той семье, в какой жила. Если выходила замуж, то родители мужа ее не почитали, ругались, роптали на нее. Ребенка упрекали этим, говорили всякое ему в глаза. Другие ребенки чуждались таких, считали не своими. Братья в одной деревне неродно-

го брата гнали, друг друга не признавали, не сходились друг с другом.

Позор на парне или девке лежал постоянно, браковали их. По родителям гонялись, что, мол какие родители, такие и дети. Придумают парня женить, разбирают все его родство.

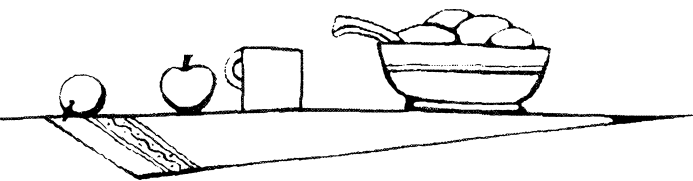
Раньше по любому поводу собирались на сходку. Деревенский ходил, собирал всех в один дом. По приказу представителя из сельсовета или еще откуда собирали.

Жили раньше плохо, старались жить получше, все лучшего дожидали. Боялись Бога, ездили по деревням раньше священники, собирали податые, ездили староста, попечители. На лошади все собирали, выносили у кого ведь что есть; у кого овес, кто хлеба вынесет каравай, кто шерсти клочок даст, даже сеном и то одеяли, всякой ерундой.

А будущего, конечно, боялись, думали о нем. Вот если живут в деревне соседи, сосед соседу старался угождать, а если не угождали, то бывала в деревне большая ссора, неприятности, мстили друг другу. Даже и скотине что-нибудь сделают. Старались чем-то навредить. Были зависти. Кто-то умеет жить хорошо — хорошо живет; было у него скота помногу, земли хорошие, а кто-то плохо жил, ходил всю зиму работал. Обижались бедные хозяева, но к богатому все равно нанимались работать. Хотели как лучше прожить, но не получалось.

А про загробную жизнь и не думали, только Богу молились, а были что и не молились вообще. В работниках-то жили, не ускачешь никуда, только в самый большой праздник, да и то ненадолго. Кто побогаче жил, тот и религию соблюдал, а кто победней, так некогда было, а работать надо было. Муж мой Василий ездил по вербовке, тогда уже вербовались. Он в 1937 или в 1938 году вербовался на Дальний Восток. Жилось дома плохо, вот и ездили на вербовку, отбудут там и опять домой возвращаются.

В работниках жили мужики, даже ребенков отдавали за деньги к богатому, сколь договорятся, деньги отдавали, а ребенка забирали. Брали с десяти, двенадцати годов, ребенок и скот пас, и дозировал его, прибирал, а зимой навоз чистил, все делал. А ребенков таких содержали отдельно,



кормили не вместе со всеми, спать много не давали, ложились спать, только когда все сделает, а поднимали рано — не дома и не дома, не у отца, не у матери. Возьмут ребенка, пока мал, воспитают, а потом он является работником. Обратноматерям уже не отдавали.

А смерти кто же не боится, все ее боялись, готовились к ней, и теперь готовятся. Старый человек больше в церковь ходит, пасет себе одевание, чего для похорон надо. Нонче вон старуха старуху спрашивает, наложен ли у нее салафановый кошель. А молодые не боятся смерти и не думают о ней.

Бога никогда не забывали. Утром встают — всегда помолитесь, спать ложились — опять молились. Если какое-то там приключится несчастье, тоже Богу молились, ходили в церковь. Да и нонче ведь это есть, сулились какому-нибудь святому или еще инвалидам. Вот в Шабалине была Агафья, ходила все ленточки просила, пришивала их, вот и сулили таким убогим подавание или накормить получше. Исповедовались ходили. Положено было исповедаться в год три раза. А постов было четыре. Если уже невозможно было три раза исповедаться, то ходили один раз Великим постом. А когда садились есть, Богу молились, без этого из-за стола не выходили. Раньше церкви были каждые десять верст, в каждом селе была своя церковь.

Вот от Оричей до Шелегова десять километров, значит, там церква, от Шелегова до Монастырщины опять десять километров, и там церква. Были помимо этого еще часовни небольшие. Собирались там в праздники, служили, приезжали торгоши, они делали балаганы и торговали товаром.

В деревнях часто бывали ссоры. Как-то из Орич ехали, видели в Пустошах дрались бабы, не поделили мужиков, за волосы друг друга таскали, ругались. Да и мужики часто дрались из-за споров. И среди молодежи были драки — деревня с деревней дрались. Вот тогда такая драча была: праздновали все в деревне Шабалино, ну и вот в эту деревню пришли втюринские парни и придумали побить шабалинских. Дрались по-страшному, не простыми руками, с огородов жерди и колье выламывали. А Олег Крысовской здоровый был,

отдал всю одежду жене, да и прогнал до самых втюринских полей тех парней и обратно пришел.

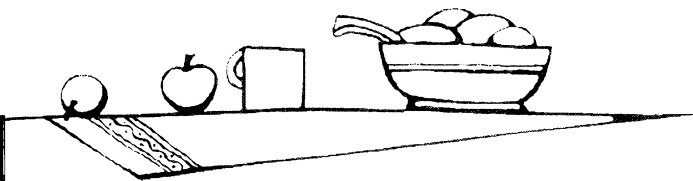
А ругаться-то что, баба-то с бабой часто ругались, вчастовую из-за работы, что, мол, одной дали лучше работу, другой хуже. Из-за участков ругались — кому шире или лучше попадетя. Материться не матерились, а лешаком ругались, обзывались. И из-за ругани работали в одиночку, распались бригады. А дома все с ребенками, да со свекровью ругались, тогда ведь было что — свекровь распоряжалась в доме. А среди родственников какие драки? Ну вот разве что среди братьев, брат с братом делились, в денежке ругались. Нонче никто ни с кем не делится, даже старики, старики-то нонче все наврозь живут. А молодые женятся, да и уходят на свой кош.

«Их всех встречают крылатые ангелы»

Юдинцева Екатерина Сергеевна, 1922 год

На сорок девятый день Пасхи — Троица. Утром ходили в церковь, к обедне, Богу молились. Ничего не делали в этот день, грех великий. После обеда собирались на гуменье, песни пели, плясали. Ломали березовые веточки, вокруг окон прикрепляли для украшения. В деревнях на улицах везде подметали, была везде чистота и порядок. На второй день Троицы, назывался Духов день и земля-именинница. В этот день кашу варили, собирались деньгами семьями и уходили в поле на межу. Каждый всяк на своей полосе и ели кашу с маслом. Поминали землю именинницей, чтобы рос хороший урожай. Родители мои в Бога верили. В церковь ходили часто: по субботам, воскресеньям, обязательно в большие божественные праздники.

Когда человек помрет, чего он заслужил, как жизнь прожил, грешил ли, нет, Господь все видит — туда его и определит. Когда помрет, он за себя не молится. Его моление Господь не примет. Надо нам за него молиться. А они там молятся за нас. На девятый день после смерти они ходят по мытарству. Они от нас ждут поминка. По мытарству они ходят до сороково-



го дня. С сорокового дня они определяются в царство небесное: в рай или в ад кромешный навечно. Там в аду не будет им помилования. Если мы (живые) сумели умолить Господа за них, то они могут получить царство небесное. Их встречают крылатые ангелы и святые апостолы. И покойники радуются и веселятся. В аде же зубами причитают, в смоле кипят. В аде встречают Юда хриstopродавец и Сатана.

Что про чудеса или колдовство? Так в деревне нашей жила старушка — Анна Николаевна, которая колдовала и колдовством лечила. С других деревень ездили к ней лечиться, которые были исколдованы или свои болезни. Она наливала воду в стакан — глядела. Ей казался человек, который испортил этого человека. Наговаривала молитвами на соль, хлеб, воду. Снимала испуг, переполох, заговаривала грыжу. Из кудели пряла нитку или из лыка связывала эти нитки в круг. Читала молитвы, продевала, начиная с ног, и поднимала вдоль тела, три раза с приговорами. А потом эту нитку сжигала на Велик четверг и Великоденну пятницу. Вставала рано утром в три-четыре часа и ходила колдовать к соседним дворам. У хлева «доила» углы с приговорами, отжимала у коров молоко. В этих дворах потом коровы плохо доили или вообще не давали молоко. Много что колдовала, то сбывалось. В соседней деревне женщина одна вдруг ходить не могла, в постели лежала. Анну Николаевну привозили к ней по зорьке три раза. И женщина та стала ходить, да и другие болезни у нее исчезли. Лекарица она была хорошая, но ее поездом зарезало.

«Люди верили в колдовство»

Шубин Василий Константинович, 1911 год,
дер. Шубины, служащий

Люди верили в колдовство. Думали, что один человек может приколдовать к другому. Знахарки лечили любую боль. Например, как лечили зубную боль: кору липы или соль ложили на зуб. А детский испуг — мерили ниточка-

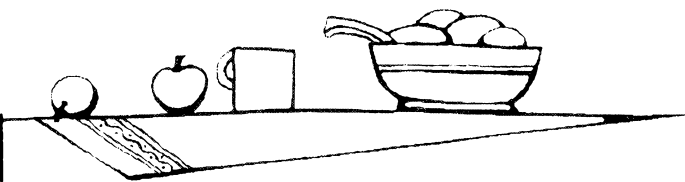
ми голову, завязывали узелки. Костоед лечили травами. Но было такое: урочили людей. Зевнут на человека лихим глазом, и человек заболевает. Но другие снимали колдовство.

В нашей деревне жили две колдуньи. Я про себя расскажу. Я был молодым здоровым парнем, ничего у меня не болело. И вот однажды пришла ко мне эта колдунья и что-то сказала. Но я не понял ни одного ее слова. На следующий день мне стало нехорошо. Надо сказать, что в то время я шибко любил одну дивчину и она меня любила. Видимо, кому-то было неуютно видеть нашу любовь. Ну, так вот. Через несколько дней мне стало совсем плохо. Это было бы еще ничего, но было удивительно то, что девушка, которую я любил, вдруг перестала меня замечать, как будто мы никогда не знали друг друга.

С каждым днем мне становилось все хуже и хуже, родные думали, что я помру. Тогда позвали вторую колдунью. Она пришла и что-то пошептала надо мной. Потом она сказала, что надо мной лежит заклятье и что я через несколько дней умру. Спасти меня может только смерть той колдуньи. Я еле понимал смысл ее слов, но слово «смерть» я понял, испугался. Но колдунья улыбнулась и сказала, что все будет хорошо. На следующий день произошло нечто страшное и странное. Пастух загнал стадо в стойло. И вдруг бык, который до этого стоял смирно, стал злиться. Глаза его налились кровью, он рассвирепел и вырвался из ограды и понесся по деревне. Он прибежал к дому первой колдуньи и стал очень сильно реветь. А колдунья как раз была дома, она подошла к воротам. И тут бык рогами сорвал калитку с петель, ворвался в усадьбу и пригвоздил колдунью к стене избы. Потом постоял немного и пошел обратно. Пришел домой и тут же успокоился.

Не знаю, чем это объяснить, но на следующий день я почувствовал себя лучше. А то ведь ходил как слепой, света белого не видел, будто ночь. Потом пошел на поправку. И девушка ко мне пришла, говорила, как во сне все было. Потом жили мы хорошо.

А почему колдунья была? Не знаю почему. С ветром она зналась, с лесовым, разговаривала с ними. Вот потеряет человек что-нибудь, она могла точно указать то место. Как-то на



картах могла увидеть. Люди верили и в колдовство и в приметы. Многие приметы веками сложены. Часто вспоминаю детство. Помню, в крестьянской избе спали на полотах. По вечерам на полотах рассказывали друг другу сказки. Очень много сказок рассказывали в сумерках, когда родители еще не пришли и не зажгли свет. Помню, топились маленькая печка посреди избы, а от нее на стенах играли блики пламени. Жутко и страшно интересно. Рассказывали все больше страшные сказки.

«И не ругались матом»

Стремоусова Нина Федоровна, 1922 год,
дер. Кривошеи

В деревне тогда были все неграмотные, не могли сами расписаться. Да и собственно — где было расписываться-то? Мои родители тоже были неграмотные. Но вот запомнилось, люди необразованные — а какие вежливые! Культура от природы, видимо. Всегда уже поздороваются друг с другом, поклонятся, шапку снимут. И не ругались матом, как сейчас. Это был и грех большой, и осуждалось, ведь на деревне все друг про друга знали. Вот известно будет — живо осудят за такое.

А в колдовство здорово верили. Все кто-то свистнет, кто-то ходит будто — домовыми называли. У нас вот в деревне был дедушка Миша, старенький такой, с бородой седой. К нему все собирались. Он столько сказок знал и каждый день все вроде про новое. Вот запомнилась какая-то сказка про сизое перышко, как девушка друга милого ждала. Он в виде птицы должен прилететь. А мачеха узнала про это, в окно стеколя понатыкала. Он и порезался. Плакала девушка над птицей (своим милым), а как упала слеза ее горячая, упала птице на сердце — переметнулась птица и в друга милого превратилась. Я очень любила эту сказку. Конечно, старые люди как-то, что ни скажут, так какую-нибудь поговорочку и приставят для красного слова, для большего уважения.

«Колдуны раньше были»

Новоселова Мария Филипповна, 1911 год,
дер. Чепрасы, крестьянка

И колдуны раньше были. У нас Вася-колдун жил. Раньше по невесту ездили на лошадях, колокольца у каждой лошади вдевали, к дуге полотенца, скатерти вышитые с кружевом. А его, этого колдуна, на свадьбу не пригласили. Он вышел, обошел лошадей, они встали на задние ноги — передними машут в воздухе. А люди ползали по снегу на четвереньках, как волки, и выли. Он ушел домой, а они так и остались. Хозяин пошел к нему кланяться. Час, два. Кое-как уладили.

Обошел, пошептал, похлопал — лошади встали, пошли. Взяли его с собой. Приехали к невесте. Хлопнул по плечу — невеста стала реветь, реветь, чуть не заревелась. Снова хлопнул по плечу, она перестала.

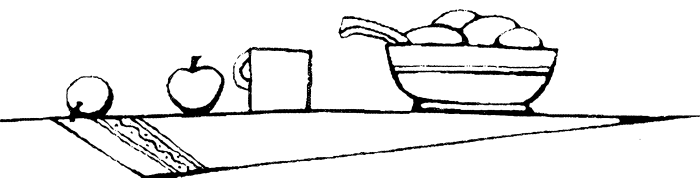
У него толстая книга была, буквы черные. Он по книге все делал. Боялись его очень.

Стол потрогает за уголки, так он плясал. Пил здорово! Умер, так язык был долгуший, высунулся, упихать некуда было — вот какой черти выташили. У него дочь Наталья, она у него выучилась. Прилечивала и отлечивала. С мужиком моим чего-то сделала... А раньше был не такой. Наталья-то уехала в Зуевку. Замуж не выходила, кого надо — того и прилечит к себе. Дом купила маленький, мужиков-то манила, поила. А потом убили ее. Бабы, видно, и убили.

«В суеверные приметы
не верили раньше»

Аксенова Агния Георгиевна, 1919 год

В приметы и колдовство верили не шибко, в нашей деревне колдунов не было, а в соседней жил Павлик-колдун, лечил людей хорошо, трав у него ужасть сколько висело



дома. У нас был такой случай: одна женщина маму испортила, оговорила, та слегла на печи, совсем плоха стала. Ну, отец к Павлику, тот посмотрел в воду и сказал: «Наговорила та, кого с лесенки прогнала. Сейчас иди домой и баню топи». Пришел, а мать уже на печи сидит. По ветру наговор пустил Павлик. Отец баню-то истопил, попарил ее, и мать выздоровела.

А наговор был: мучиться и помирать. А еще встречалась я со сглазливými людьми. Это не колдуны, но все равно вредные. Вот жена моего сына: ну, что не скажет, так и выйдет. А уж если со зла что-нибудь брякнет, тут уж добра не жди. Таблетками никогда не лечилась, все травы какие-то заваривала, настаивала и пила, очень редко она болела, и нас всех также в руках держала.

В суеверные приметы не верили раньше. Про черную кошку, что она несчастье приносит, это сейчас все выдумали, раньше такой не знали, кошка — к счастью. А про соль, что просыпалась, так к ссоре, тоже неправда. Это придумали раньше из-за дороговизны соли.

А вот в природные приметы верили. По зиме определяли лето, осень и весну, даты запоминали. Если на 7 января холодно, то июль — жаркий, грачи рано прилетают — весна ранняя. В феврале капель — весна ранняя, но долгая. Если снегу толсто, то воды, — разлива не будет, а если тонко — то водополица, так как стайвает быстро — не успевае́т землю напитать. По радуге определяли погоду, по солнцу, луне и звездам.

Радуга: высокая — к хорошей погоде, низкая — к ненастью, быстро пропадает — к вёдру, долго стоит — к дождю. Если она перекинулась с севера на юг — дождь, с востока на запад — вёдро. Если зеленого больше, чем других цветов, — жди дождя; синего — к долгому ненастью, красного — к ясному дню. Звезд много — к вёдру, мало — к ненастью, падают — к ветру. Про каждый месяц были свои меткие приметки и поговорки.

Декабрь — хмурень, ветрозвон, люте́нь, ознобе́нь, заверняй, тянуга. Снегами глаз темнеет, да ухо морозом рвет. Февраль: и люте́нь, и бокогрей. Злитса коротышка, что мало дней ему дадено. Март — не февраль, да на нос садится.

По погоде велись сельхозработы: зацвела осина — сей морковь, зацвела черемуха — картофель, появились листья на березе — начало сева овса. Как придет Арина-рассадница (15 мая) — пора капусту сажать. Жаворонок запел — иди на пашню и сей только до цветения черемухи.

Поговорок тоже много знали раньше и про погоду и про людей. Сейчас и смысла-то их люди не помнят.

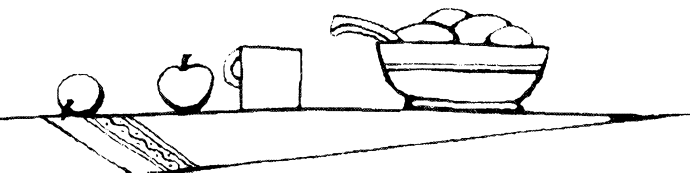
«Нечистой силы боялись
на каждом шагу»

Астахов Петр Иванович, 1911 год

Книг в доме где я жил, было всего две: у хозяина псалтырь, по которой он учился грамоте, а теперь для этой же цели служила его сыну. Да еще у вдовы-дьяконицы имелась гадальная книга «Соломон». Все знали, что она у нее есть, в случае надобности прибегали к ней и в то же время никогда о ней не говорили. «Начни ее везде таскать да всем давать смотреть, она и перестанет правду говорить».

От «Соломона» до гаданий всякого рода переход не велик. Особым авторитетом пользовалось гадание в зеркало; надо только дождаться Святка, в другое время оно ничего не дает. Но не все на него решались: известно, это гадание наверняка, никогда не обманывает; а вдруг как гроб увидишь? Однако на поверку оказывалось, что почти все замужние или бывшие замужем видели своих будущих мужей. Вот один из рассказов.

«Стою я это таково долго, старалась не мигнуть, потому, как хоть раз мигнешь, уж ничего не увидишь, слезы текут. Ну, думаю, должно быть, сегодня ничего не будет. Только что это подумала и вдруг вижу — стоит мужчина спиной, в сарпинковой рубашке; только и распознать можно, что русоволосый да коротко стрижен. И что вы думаете? Вышла я через год за Ф., жила с ним восемь лет, два года вдовела, а тут опять вышла замуж за С. Стал он это после свадьбы раздеваться, смотрю — у него сарпинковая рубашка и коротко стригся. Вот оно, зеркало-то, за одиннадцать лет вперед хватило!



Бывает очень страшно, но первое дело надо крест снять, а потом зашумит ли, застучит ли, надо стоять как вкопанная. Бывает, что и с ума сходят. Вот одна моя кума увидела человека в саване, в тот же год ее жениха и убили. Вот с той поры она и стала заговариваться.

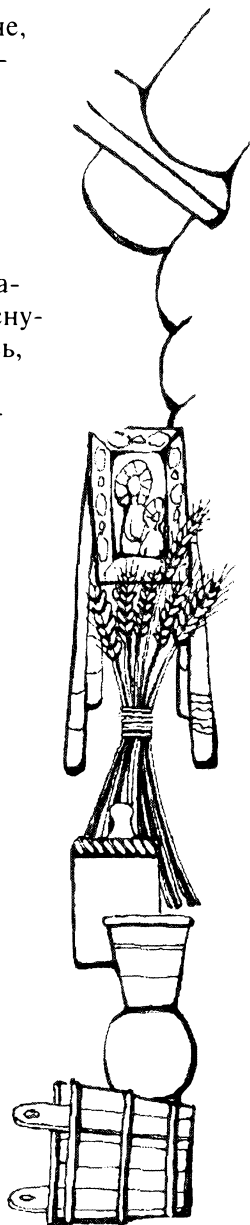
Кроме вечной, тревожной заботы о завтрашнем дне, в доме все жили в постоянной заботе перед невидимыми злыми силами. Стукнет ли где в неурочное время, распахнется ли почему-нибудь дверь — все вздрагивают, а иные даже спешат перекреститься. Непременно домовый шалит; душил ли кого кошмар во сне — опять дело нечистой силы».

Бабы много чего рассказывали.

«Только что собрались было помолиться, как закричит Машутка, стала ее кормить, да так с ней и заснула. Ну, и поездил же “он” на мне, еле ведь проснулась, вся рубаха была мокрая».

«Раз вечером все большие куда-то ушли, должно быть ко всеношной, а нас маленьких собрали в одну горницу и накрепко наказали никуда не выходить. Чем уж мы развлекались, не знаю, только помню, что я сидел на большом столе. Вдруг как мы все заорали, да так, что из соседней хаты прибегала баба: “Что такое, что с вами?” Мы все в один голос только и твердим: “Он, он, он!” Тут скоро подошли и другие, и все согласно решили, что это домовый входил. “Ишь нечистая сила, даже детей не оставил в покое!”

Нечистой силы боялись на каждом шагу. А в баню, особенно вечером, немногие решались ходить одни. Даже оставаться одни дома боялись.



С

Раздел IV
ороковые-
роковые...



Глава 1. Начало войны

«Ну кто же знал, как все будет?»

Васильев Игорь Петрович, 1919 год,
г. Пермь, врач

В сорок первом году учился я на пятом курсе в мединституте в Перми. Весеннюю сессию осилил, осталось сдать госэкзамены. Сдавали мы их тогда много, около семи. Половину-то уже сдали, а половина осталась. Было в тот день воскресенье, солнечный такой и теплый день. Вышел я из общежития, сел на досочки, там во дворе было что-то вроде скамейки, читаю, готовлюсь к экзаменам. Прочитал часа полтора, решил немного отдохнуть. Отвлечься. А в общежитии во дворе на столбе висел репродуктор, такой четырехгранный. Сначала, как обычно, там музыка, зарядка, ну все как в воскресенье.

И тут я слышу; «Товарищи, слушайте важное правительственное сообщение». Выступал Молотов. Обычно он заикался, а тут, слышу, еще сильнее заикается. Он и говорит, что немцы перешли границу и начали войну. Наши войска обороняются, враг несет большие потери. Наша главная задача: всем подняться на борьбу и вероломного и коварного врага изгнать с нашей территории. Тут серьезные-то люди призадумались: война-то не шутка, хотя и было такое мнение, что мы победим любого врага малой кровью и на его территории.

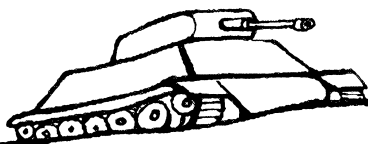
Младшие наши курсы жили в студгородке (это минут сорок ходьбы до института), старшие — уже ближе, а наш пятый курс был вообще рядом с институтом, почти во дворе. И вот без особой команды, сам по себе возник митинг. Собрались в основном старшекурсники, те, кто жил поближе к институту. На митинг этот пришел директор Петр Петрович Сумбаев, а еще некоторые представители кафедр. Пришел еще из военкомата старший лейтенант, татарин.

Сумбаев нам сказал тогда, что мы советские медики, а медик в военное время фигура важная. Он говорил еще изречение (вот кого, не помню, кажется, Гиппократ): «Многих воителей стоит один врачеватель искусный». Еще он говорил о роли врача в борьбе с эпидемиями во время войны. Как, например, в гражданскую войну был злейший грипп, его тогда испанкой звали. Так вот, от него народу погибло больше, чем во время войны. Говорил еще Сумбаев, что работа будет успешной, если мы будем руководствоваться марксистско-ленинской теорией.

После него выступил представитель военкомата. Он сказал: «Товарищи вы очень грамотные», — ну и так далее. Выступили потом студенты, которые в общественной работе поактивнее. Тот старший лейтенант сказал, чтобы все мужчины шли в Сталинский военкомат. Тут возмутились некоторые девушки, дескать, почему только мужчинам идти в военкомат, мы тоже желаем участвовать в борьбе с проклятым врагом. Старший лейтенант им и ответил: «Товарищи, мы знаем, что вы очень патриотичны, для вас работы много будет в тылу. Пока все ваше дело заключается в том, чтобы закончить учебу».

Но не тут-то было. Некоторые девушки возмутились, дескать, ни в коем случае, мы желаем воевать сейчас же, а то война будет кратковременной, продлится она всего две-три недели, мы же на нее не успеем. Некоторые даже ногами топали. Кто же тогда знал, как все будет? Ну вот, после этого митинг закончился.

Вскоре изменили весь график экзаменов. У нас было где три, а где и четыре дня между экзаменами. Сделали экзамены, которые оставались, через день. Слаешь, день тебе,



чтобы очухаться, и славай следующий. У нас были некоторые товарищи, учились они не очень. На эти экзамены они шли как на лотерею. Но сдали все прекрасно, даже троек не помню.

Многие постарались винца выпить сразу после экзаменов. Некоторые товарищи диплом не успели получить, а уже потеряли. Вот Горбунов, был у нас такой. Но ведь новый тут же выписали, дубликат.

Ну, а как мы получили дипломы, нам тут и повесточку. Ну не сразу, а денька через два-три. В военкомате — медики, комиссия. Конечно, она была чисто формальная. Спрашивают каждого: «Какая вам специальность поближе будет?» Я им говорю: «Мне бы хирургией заняться». — «Хорошо, — говорят. — Мы вас отправим на курсы военно-полевой хирургии в Свердловск». Пока суд да дело — отправили в запасной лыжный полк. Попал я в этот полк, присмотрелся. Командиры призваны из запаса, пожилые все. Прослужил я в этом полку всего около месяца. Солдаты там были собраны на скорую руку, были даже с тяжелыми грыжами, многие с плоскостопием. Потом-то, конечно, разобрались. В основном пришлось почему-то изучать правила работы в поликлинике и пищеблоке. Полк этот назывался запасной лыжный. Я думал, лыжники будут знаменитые, — ничего там не было. За все время только одного там видел второразрядника.

Прошел этот месяц, и меня откомандировали в распоряжение Уральского военного округа, еще на одни курсы отправили. На этих курсах преподавали военно-полевую хирургию. Видел я там неоднократно Федора Трофимовича Богданова, знаменитого профессора. Ходил он все в белом кителе; аристократ такой. Преподавали нам военно-полевую хирургию очень примитивно, и в жизни все оказалось не так. Богданов-то Богданов, да он не снисходил; так, в облаках все. За тем как учились, никто не смотрел. Некоторые, бывало, «керосинили». До того уж иногда дойдут, что продадут костюм, купят себе фуфайку драную-предраную. Обмундирования-то у нас все равно еще не было. Кормили, правда, нормально.

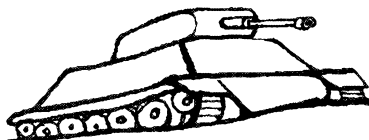
Ну вот курсы прошли; никаких тебе экзаменов, никаких зачетов, и после этого стали распределять. Были такие камышловские военные лагеря. Приехали в Камышлов. Там еще есть другие военные лагеря, как они назывались, дочерние, что ли. Это подчиненные камышловским еланские лагеря. Направили меня туда на формирование полка противотанковой обороны. С этими курсами уже наступила зима, поселили нас в землянках, а народу много, землянки длиннющие, метров по сто. Это оказалась еще одна формировка, но на этот раз выдали обмундирование. Мне дали, например, так все нормально, только заместо шапки буденновку дали.

Там я встретил своего учителя школьного. Был он в звании старшего политрука. Но вот как-то контакта у нас с ним не получилось. Он был сильно озабочен, чин-то у него довольно высокий, а сводки с фронта не очень. Как раз тогда битва за Москву шла. Про Ленинград вот как-то совсем не говорили, а постоянно про Москву.

Прослужил я там меньше месяца, отправили в Тюмень. Там формировалась 175-я стрелковая дивизия. А в этой Тюмени — мороз жуткий. Идешь ночью, звезды высвечали, а снег под ногами хруп-хруп-хруп. Ну и мороз, думаешь, градусов тридцать, а потом разумеешь, оказывается, было сорок пять. Тихо там, ветра нет, вот так и кажется.

При формировании я попал в 30-й артиллерийский полк. Командовал им генерал Кулешов. Говорили, начинал этот генерал в гражданскую с рядового. Никакой не злой, к солдатам несколько не вредный, но вот грамотешка не очень. Моим командиром был майор Павлушкин. Производил он впечатление человека тоже не вредного и не злого. Образование у него по тем временам было шесть классов. Что ты, по тем временам это была великая вещь! Начинал он тоже с рядового, а после этого уже перед войной где-то его направили в офицерское училище, учиться на артиллериста.

А вот комиссаром полка был Савиных, тоже вятский, откуда-то из-под Оричей. Ну, дивизия начала формироваться, потихоньку начали узнавать друг друга: командиры подчиненных, подчиненные командиров. Хотя кое-ка-



кой порядок появился, но вот с материальной частью было очень туго. Большинство народу у нас было непризывного возраста. Много было и из заключения с малыми сроками. Был у нас такой Камышов. Его спрашиваю: «Слушай, Камышов, вот мужик ты вроде хороший. А за что сидел?» — «А я, — говорит, — милиционеру в рожу плюнул, получил вот два года».

Были у нас и татары, ну те ни слова по-русски. А из заключенных формировались обычно штрафные роты, ну их потом — в самое пекло. Убьют его — пал смертью храбрых. Ранят — искупил свою вину кровью, а если не ранят до конца войны — потом снова на досидку.

Так вот, в Тюмени дивизия сформировалась, наконец поехали. А куда везут, никто ничего не знает. Уже в дороге сказали, что везут примерно между Белгородом и Харьковом. Ехали в теплушке; там так — или сорок человек, или восемь лошадей. Артиллерия-то у нас была на конной тяге. Станцию, на которую мы должны были прибыть, немцы разбомбили, и поэтому нас отвезли на другую станцию, Уразово называется. Приехали в Уразово, разгружаемся.

А ведь одну-то дивизию воевать не пошлешь, надо ее в армию определять. Вошла наша дивизия в состав 28-й армии Юго-Западного фронта. Командовал этой армией генерал-лейтенант Лучинский. Я после войны в военно-историческом журнале видел, что дожил он лет до востмидесяти, даже Героя ему дали. Ну вот, прибыли в Уразово мы где-то в конце марта, был это уже сорок второй год. Получили материальную часть, но очень скудную, особенно не хватало боеприпасов. Предстояли нам учебные стрельбы, ну а кто же на учебные стрельбы боеприпасов много даст? Но на этих учебных многие у нас даже хорошо стреляли. Главное там было — устроить артиллерийскую вилку: «недолет» — «перелет», после чего обычно попадали точно в цель. Так вот, у многих это получалось. В общем, стрелять научились довольно прилично. Продолжалось это примерно весь апрель. Линия фронта была рядом, так что партизаны ее постоянно переходили, приносили сведения о расположении немцев.

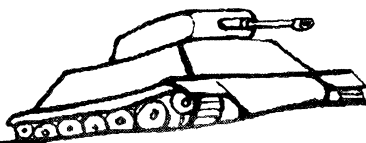
Теперь о моей роли в то время. В каждом артиллерийском полку положено два врача: старший и младший, меня определили в младшие — молод я был, да и впервые на фронте. Старшим был Шляхин Арсений Васильевич, он к тому времени уже года четыре в армии отслужил фельдшером, а перед самой войной попал учиться в Военно-медицинскую академию. Три курса он кончил, а как началась война, так скорей по ускоренной программе дальше — ну и выпустили. Кругозор у него был сестринский, не более того, как я сейчас-то оцениваю. Ну а тогда и то было хорошее дело.

Нашей главной задачей ставилось как можно быстрее развернуться на месте и быть готовым к приему раненых. Коней было у нас в полку очень много, так я уговорил Шляхина выбрать для нас самых крепких. Так и сделали. Самые крепкие кони, все как на подбор серые в яблоках. Да и санитаров мы себе сами выбрали. Какие богатыри! Как медведи!

Этим в основном я занимался. Старший-то по должности как-то должен больше руководить. Так что он все больше в штаб ходил. Подобрали старшину по фамилии Костицын. Ну прохиндей был, ворище! Сидел он года два, а как тяжело стало с кадрами — его и выпустили. Нашел его Шляхин, мужик-то он был хитрый, ну и смекнул, что именно такой подойдет. Старшина в основном снабжением занимался. Ничего не скажу: в смысле питания снабжение у нас было отрегулировано все — от и до.

С ним у нас один такой случай произошел. Посылаем его как-то в дивизионный аптечный склад за медикаментами. По должности я должен был с ним ехать, контролировать. В общем, получили все, что надо. Едем обратно, а он мне и говорит: «Товарищ начсан, так и так, нам по ошибке выдали 25 литров спирту». — «Где?» — спрашиваю. Показывает: здоровенная бутылка, ивняком оплетенная. Я ему говорю: «Ворище ты, прохиндей! Под трибунал пойдешь!» А сам соображаю как да что.

Вопрос серьезный. В полку у нас энкаведешник был один, из Смерша. Дело с ним иметь очень нежелательно. У него вся работа была следить, как бы кто-то не сделал что-нибудь против закона. Нечего делать, пошел я к комиссару, объяс-



нюю ситуацию. «Так, мол, и так, двадцать пять литров спирту мы тут спроворили. Что делать?» — «Молчи, — говорит, — никому не говори, все сами выпьем». Выхожу из управления, а тут уже Кострицын кружится. «Ну как?» — спрашивает. Я говорю ему: «Ругается страшно, чуть не расстрелял, смотри, в следующий раз за такое под трибунал пойдешь, вышку дадут». Ну, уладили дело, а комиссар вместе с командиром потом все к нам ходили, спирт спрашивали.

12 мая 1942 года началось наше наступление. Юго-Западным фронтом командовал Тимошенко, начальником штаба у него был Баграмян, а начальником политотдела Хрушев. В первое время наступали успешно. Дошли мы даже до предместья Харькова, но превосходство-то немцев все же было в любом роде войск, особенно в авиации. Наши самолетов мы неделями не видели, а немецкие бомбили нас непрерывно. В Барвенкове немцы прорвались с юга, а вторая ихняя группировка действовала на Воронеж. Тимошенко тут большую ошибку допустил, не понял, что немцы окружают.

Из Ставки ему был передан приказ отступить, а Тимошенко ответил, что раз мы наступаем по пятнадцать километров в день, то отступить нет смысла и мы не будем. Немцы наши армии окружили, тут только он спохватился. Стали пробиваться на Воронеж, но пробились немногие, большинство попало в плен. Меня тогда ранили и отправили по этапам эвакуации в тыл, когда еще сплошного кольца не было. Попал я тогда в госпиталь в Нижний Тагил. Что меня там поразило, так это камни, громадные, с несколько домов величиной. Промышленный город. Работали там здорово в то время. Танки они в основном выпускали.

Из госпиталя я уже выписался в январе сорок третьего года. Наши громили немцев под Сталинградом. Настроение у всех было приподнятое. Попал в Белоруссию под командование Рокоссовского, повоевал там месяц-два, и снова ранили. И ведь вот как жизнь-то идет по спирали: долечиваться мне пришлось снова в Тюмени. В знакомые, значит, места попал. В Тюмень шли здоровенные посылки с рыбой из Салехарда, с Оби. Ящики были больше стола. Рыба-то уж больно хороша, но ведь приедается она. А в госпитале

кормили постоянно этой рыбой и еще чечевицей — это вроде гороха, только плоская. Как наварят они этой чечевицы с рыбой, раненые скандалят, ну сколько можно одно и то же. Не выдержал я, пошел к доктору, говорю, выпишите меня, я ж совсем здоров. А он мне: «Ну што ты мэнэ спрашиваешь, як надо, так и будэ». Хохол был доктор. Но выписали все-таки. И тут же стали собирать маршевые роты в Новосибирске. Туда меня и направили. А формировались там войска для 1-го Белорусского фронта.

Воевали хорошо, продвигались успешно. Подошли к Варшаве. Разведчики наши добирались даже до предместья Варшавы. Но затем был отказ армии Андерса воевать на стороне наших, а еще польское восстание в Варшаве — и все. Варшаву немцы разрушили на 90%.

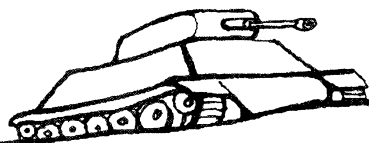
Последние месяцы я был под Кенигсбергом. Укреплен он был колоссально, очень тяжело было взять его. Там было столько подземных ходов и укреплений, что еще лет пять после войны, рассказывали, из них немцы вылезали подышать воздухом, подышат — да и обратно. Продуктов у них там было запасено на несколько лет. Но немцев вообще-то там половили много под Кенигсбергом. Их армия была деморализована.

В начале апреля сорок пятого года вызвали меня в штаб полка, я тогда был командиром медсанбата, имел чин капитана, и приказали сопровождать пленных немцев. Проводить их в Союз и вернуться. Эшелон шел до Кемерова, целый месяц ехали, где-то только в начале мая немцев сдали. Тут я услышал известие об окончании войны. На войну с Японией я не попал, а 6 мая 1952 года демобилизовался.

«Ведь надо было кому-то работать»

Утемова Анастасия Васильевна, 1916 год,
Дедовский починок, крестьянка

Семья у нас была большая: два брата, три сестры, отец и мать. Жили, середняками считались, средне, больно-то небогато жили, но и занимать не ходили. И вот сочли нас



кулаками. Тогда еще перед колхозом была у нас пара лошадей, хорошие лошади. Постройка была хорошая. Сено заготавливали, дрова рубили для печей. Работали на угольных печах, заготавливали древесный уголь для завода. Заготавливали лес, дрова, занимались хлебопашеством, был свой хлеб. Сами себе пекли, хлебозавода не было. Сами зерно молотили вручную, машин никаких не было, так что все вручную. Все работающие были, у всех руки — одна мозоль. Но трудом и достаток появился.

Дом наш был поставлен в 1939 году. Прожили мы две зимы в доме, тут и война началась. Всех мужиков у нас забрали на фронт. Остались в селе три старика, подростки да бабы. Помню, мы тогда дорогу на покосы делали. Землю на лошадях возили, насыпали — насыпь делали, по бокам канавки копали. Смотрим, идет мужик из Кирса Иван Осколков. Мы его «Ванька Пурга» звали. Он-то нам и сказал, что война объявлена. Сказал, да и сам заревел. «Опять, — говорит, — воевать, в окопах сидеть. Мало, что ли, я на Хасане сидел?»

Его, конечно, забрали на фронт. Жена-то у него, Анна, и сейчас жива, не так давно ее видела. Она еще тогда в войну к нам в село приходила, рассказывала, что от Ивана письмо получила, что он пишет о себе и денег просит выслать. Еще ошибку в письме сделал. Написал: «Вышли мне денег, Скал брал потерял». Торопился видно, когда писал, вот, наверное, и написалось вместо «сколь» «скал». Ну и не вернулся этот Иван с войны. Убили где-то его.

У нас всех мужиков из села на войну забрали. Провожали всем селом. Проводили и начали вместо них работать. Мужа моего забрали 18 августа. Он тогда на косилке докашивал поле, сено заготавливали. Жалко было отпускать, поревела же я тогда, расстроилась, да не у меня одной горе такое было. Много тогда мужиков уже забрали. Письма он мне нечасто писал, да и не сохранились они. Уж сколько времени прошло. Воевать ему недолго пришлось. Ранен был тяжело. А после госпиталя на работу был направлен в Нижний Тагил. Семь лет его дома не было.

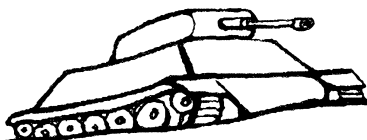
Как война началась, председатель у нас не старый был, звали Василий Степанович. Он все жалел, что мужиков

забирают, колхоз разваливается, но в первое лето все успели убрать, сено заготовили, а на второй год войны и председателя у нас забрали. Поставили со стороны мужика. Ему в ту пору уж шестьдесят лет было. Недолго он у нас был председателем, запил, а потом сняли его и поставили бабу. А там еще председатели менялись. Хозяйство-то трудно было вести. Ушло у нас за лето девятнадцать мужиков на войну. Село-то у нас и так небольшое было, всего двадцать домов, а тут еще меньше стало. Дома у всех хорошие были. Поселок на высоком месте стоял, на сухом. Недалеко река была Вятка, а кругом лес. До Кирса было семь верст. Да и Кирс тогда еще не такой большой поселок был, как сейчас город.

Дак вот, первое-то лето мы все сделали, а председатель и говорит: «Все мы сделали, сена накопили, дров наготовили, семена засыпали, а сеять-то кто будет? Из Кирса, что ли, стариков будем вызывать? Так они тоже не сеивали». Ну и выбрали меня тогда да еще одну сеять. Мы и засеяли поле. Хорошее зерно потом уродилось. А дядька мой тогда ругал меня, говорит, что сеять — это не руками махать. С толком надо ведь сеять-то. С той поры стали заставлять меня каждый год сеять.

Раз председатель сказал, что дров нет, что надо бы в лес за дровами. Бабы заругались, говорят: «Иди-ка сам попили тупой-то пилой. В прошлый раз вон как намаялись». А я видела, как пилы точат. Сколько раз видела, как еще отец точил, а потом муж. Взяла свою пилу, наточила да подправила, потом сказала председателю, а он говорит: «Ну-ка давай попробуем». Мы тут прямо у конторы чурку и отпилили. Он сказал, что острая пила. Я другим бабам пилы подправила. Так в один день одной семье дров напилем да вывезем, на другой день для других семей пилим. Так артелью и напилили дров и вывезли.

Летом турнепс и репу сеяли. Дядька Андрей опять меня заругал. Говорит: «Куды тебя понесло? Ведь уметь надо сеять-то. Не уродится потом, все грехи на нас. Думаешь, как зерно? Надо ведь землю-то сухую». А я пошла сеять. Иду по меже. Тогда лошадьми да на быках поля пахали, дак хорошо было видно борозду-то. Выберу, где земля посуше, да и поса-



жу семечко. Так ведь какой тогда турнепс вырос! И кирсинские-то идут подергают, и свои-то колхозники. Да и ребята все время на поле за турнепсом бегали. Идут — едят, да еще под мышкой несут по турнепсине. В первый год хороший турнепс уродился, а потом уж никогда такой не выростал, хоть и сеяли. Председатель все меня хвалил да в пример ставил: «Вон, — говорит, — Настасья Васильевна, куда ее ни пошли, все у нее спорится да делается». Вот мне грамоты да медали-то и дали. Вон их сколь.

Самим ести было нечего. Все требовали сдавать. В правлении все время требовали. Сдавали и мясо, и молоко, и шерсть. Молоко и мясо возили в госпиталь, в Кир. Я сама несколько раз туда ездила. Сдавали мы и госпоставки. Зерно больше всего с нас требовали. Свиней не велели на мясо забивать. Все сдавай да сдавай. Куделю — и то сдавали. Сначала лен сеяли, ухаживали. Потом снимали его, мяли, трепали, сушили. Сами все делали. Сдавать-то жалко было, а надо. Денег нам не платили, а все трудоднями рассчитывались. Хлеба в селе давали по пять килограммов на человека на десять дней. Выходит, что по полкило в день. А я одна жила, мне хлеба-то не хватало. С тем поделишься, другому краюшку дашь. Семейным хлеба больше давали, но ничего, жили потихоньку. Всем ведь тогда трудно было.

Как-то раз нас опять с Танькой Федорихой заставили горох сеять. Дак мы с ней мешки увезли в поле, в ручей опустили и сверху ветками прикрыли, чтоб не унес никто. Все потом говорили: «Как это вам столько гороху надо было вымочить, а вы его вымочили и посеяли?» А председатель опять нас похвалил. А дядька Андрей мой опять ругался. Он старый уже был, вот и ворчал все время.

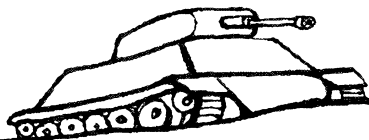
Осталось у нас в войну в деревне три старика. Вот один — мой дядька Андрей, он в кузне работал. Другой старик, Егор Михайлович, сторожем был, он уж еле волочился, а все ж пользу приносил. Ходил вокруг склада да магазина. В магазине-то тогда ничего не было: ни крупы, ни масла. А все равно как-то жили. Всем тогда тяжело жилось и ребятам-то тоже, хоть и немного их было. Помогали они нам на работе — сено подгребали, а кто постарше, дак как все работали.

Раз ребята за мной бегут: «Тетя Настасья, насыпи нам немного пшенички». А я, пока никто не видит, отсыпала им чуть-чуть, совсем немного. Да и рассказала, как сварить ее. Помыть сначала, покипятить, а потом уж и ести. Они сколь долго рады были. Потом зато и боронить помогали. Тоже то хлеба им унесешь краюху, то молока бутылку. Коровы тогда почти у всех были. Была и у меня корова, да убили ее потом.

Раз вечером корова домой не пришла. Гоняли их пасти на луга к реке. Я уж на ночь искать-то не пошла, а только на следующее утро ранехонько. Со мной еще девка пошла соседская, Катька ее звали. Ну и нашли от коровы убитой остатки. Я все расстраивалась, ревела. А ветеринар говорит: «Не убивайся так, даст тебе колхоз корову. Работница, как все говорят, ты хорошая, дадут, и все». А мне свою корову больно жалко было. Утром идут все своих коров в стадо провозать, а я иду реву, да и бабы-то со мной поревут. Тяжело было. А потом выделил мне колхоз коровенку, телочку маленькую, но и она молоко давала. Бабы-то все за меня просили в правлении, а потом всем миром и решили мне корову выделить.

Потом я все равно узнала, кто корову-то порешил. Это были мужики из Кирса. Тогда ведь у них тоже трудно с мясом-то было. Я и в суд никуда на них не подавала, не стала подавать. Люди мне говорили, что бесполезное это дело. А я все думала, что отольются им мои слезы, да так потом и стало. Развалились у них семьи.

Тяжело мне жилось. Хлеба тоже не хватало. В избе у нас тоже ничего особенного не было: стол, на котором ели, стол, на котором цветы стояли, скамейки, одна тоже с цветами, сундук с пожитками, зеркальце захудалое. Кровать еще стояла. Электричества не было. Лучины жгли, с керосином тогда трудно было. Редко очень керосиновую лампу жгли, когда кто-нибудь в гости приходил. Посуда была вся глиняная. Ведра у меня деревянные были, но и два железных ведра было. Это ценность. Было много лагунов, корчаг, кринок. Одежда была домотканая. У меня только одно хорошее плюшевое пальто было. Оно потом износилось, так я потом из



него жакет сделала. Полы у него подрезала и подшила. Жакет до сих пор цел. Я и сейчас его ношу.

Умела я тогда и с ружьем обращаться. Ходила уток стрелять. Раз даже несколько убила и иду по селу, а председатель увидел и засмеялся: «Вот, — говорит, — баба-то дичи настроеля, даже охотиться умеет». Я из ружья много раз стреляла. Тогда из Вятлага беглые часто сбегали. И у нас в село часто заходили. Я ночью сплю, слышу, кто-то во дворе копошится, двери стучали. Я встала, ружье взяла. Оно у меня всегда заряжено было. Вышла в сени и кричу: «Кто там?» Никто не отвечает. Я выставила ружье в маленькое окошечко над дверью, да и бахнула. Кто-то побежал. Да я и не метилась ни в кого, только так выстрелила, для испуга.

А еще раз ночью собака залаяла. У меня соседка Фролиха была, уж больно поспать-то она любила. К ней в окно лезли. Я тоже в окно из ружья стрельнула. Люди собрались. А утром увидели, что у нее в огороде все вытоптано было, морковка выдергана. Дело к осени шло, вот и выросло уже все в огороде. Ловили частенько этих беглых. Потом и этих в лесу поймали, они у кого-то барашка украли и мясо в лесу варили. А мамка моя еще по грибы ходила тогда. Увидела дымок да дядьку какого-то незнакомого. Сказала, пришла в село. У меня мамка-то еще в 70 лет через реку Вятку вброд ходила, крепкая была, всю жизнь работала. Сбегали тогда из села в Кирс за охранниками, они за беглыми охотились, ловили их. Так того и поймали, а потом и других. Побаивались же этих беглых, да они ничего плохого не делали. Воровали только, ведь надо было им чего-то есть. Много их переловили, да и сдали.

Чего только за эту войну не натерпелись. Мы ведь еще не знали ничего. Радио у нас не было, газеты никакие не ходили, даже электричества не было. А новости узнавали — кто в завод ходит, чего услышит, кому письмо придет, кто придет. Опять и узнаем, какой город сдали, какой взяли. Да я тогда и не больно грамотная была. Проучилась всего два класса, да и то второй не до конца. Я в Кирсе училась. На выходные все домой бегали. Мне, поди, тогда еще и десять лет не было. А за семь верст зимой по холоду. Так и просту-

дилась. На ногах нарывы пошли. По избе не могла ходить, с табуреткой еле передвигалась. А потом и в селе у нас школу сделали, да я потом не училась, некогда было, работать дома заставляли. Хоть и мала была, а помогала.

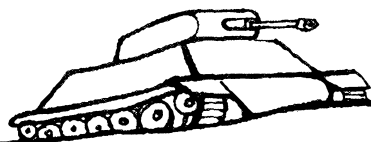
Потом и война наконец-то кончилась. С утра на заводе гудок гудел. Я в контору пришла, а там у всех слезы на глазах, ревут все. Бабы ревут, друг за дружку хватаются. Говорят: «Вот у людей мужики домой вернутся, а нам-то кого ждать? Убили ведь наших-то». Вернулись они с войны только пятеро человечков на все село. Остальных поубивали, а кто и без вести пропал. У меня мужик тоже вернулся. Я тогда навоз возила на огород. Увидела, что он идет по дороге, возню бросила, забегала, засуетилась. Бык у меня в вожжах запутался. Радуюсь, бегаю, а он говорит: «Ну чего забегала, не ждала, что ли?» Так и стали опять жить. Трех детей я воспитала, двух дочерей да сына. Жалею я теперь только, что столько лет работала, столько перенесла всего, а пенсию мне всего-ничего дали. Не хватает по нынешним-то временам, все набавляют по одному рублю. В горсовет меня вызвали. Дали медаль, пожали руку, говорят: «Спасибо, бабушка, живи еще десять лет, дак еще медаль дадут». Рассмешили меня. Я говорю, что не зря работала, заработала, значит. Ведь надо было кому-то работать.

Глава 2. Солдат в бою

«Яшка там и остался»

Тархов Василий Егорович, 1924 год,
дер. Большой Березняк, учитель

Когда война началась, я на дорогах работал, у села Кырчаны по Казанскому тракту. Ездил на лошади. Что делали? Дорогу строили. Это сейчас тракторы, машины всякие, а раньше все на лошадях. Поехал я раз за сеном для лоша-



дей, еду домой, отец встретился. Спрашиваю: «Что, в армию не забрали еще?» — «Да нет», — говорит. А год отца подошел под мобилизацию. И осенью 1941 года мобилизовали его. Я его провожал с Мишкой малоберезенским, другом моим. Он тоже своего провожал. Когда отец уезжал, сказал мне: «Вась, не на запад повезут, а на восток. Скажи матери, пусть не беспокоится». Потом отец из учебки писал. Не помню уж, сколько писем от него было. О чем писал — тоже не помню. Кончили учебу, и их — под Москву. Письма два из-под Москвы было, а потом все. Ничего нет. Он без вести пропал, батя-то мой, Егор Семенович. Пришло извещение, что без вести пропал. За отца выхлопотали пенсию.

Мне тоже скоро повестка пришла, год подошел служить. Но судьба иная случилась. Глаз, вишь, больной у меня был. На комиссии глазник сказал: «По зрению негоден». А почему не отправляли в другие мобилизации — не знаю. Работал в колхозе: куда посылали, то и делал: надо вилами чего подбросить — делал, куда на лошади пошлют — еду. Вот. Колхоз у нас хороший был, и во время войны не упал, а, наоборот, поднялся даже. Председатель у нас хороший был, дельный, сейчас бы таких, Емельян Степанович.

А потом Петя Шумнов, одноклассник мой (в шестидесятые годы был первым секретарем в Зуевке, сейчас в Кирове где-то), и говорит: «Возьмут нас, Вась, в училище». И уж осенью 1942 года отправили всех оставшихся с того призыва в Глазов. Там было второе Ленинградское военно-пехотное училище. Эвакуировали его. Восемнадцать лет мне тогда было. Должны были лейтенантами стать. По шесть месяцев тогда учили, некогда, видишь, было. Кончил я эти шестимесячные курсы, привезли нас под Смоленск. В состав Западного фронта. Звание у меня было старший сержант. Ведь экзамены не сдавали в училище, не успели. Немцев хоть и отогнали от Москвы, они все равно к Москве хотели добраться. Смоленское, Калининское направления — серьезно там было.

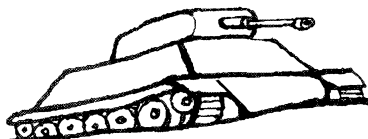
Командир у нас был лейтенант Лазарев. Он меня помкомвзводом поставил. Тут вскорости на фронт скомандовали. Долго шла наша часть. Мы в резерве были. Проходили мы

ту деревню, где Пушкина жена, Наталья Гончарова, жила. Запомнил я это. Деревушка небольшая такая. Мы ее стороной прошли. Догоняли фронт. Осенью 1943 года готовились к наступлению, копали рвы. Настроение было хорошее, боевое. Немцев гнали!

Наступление мы начали первыми, днем. Друг мой, Яша, перескочил вперед, я за ним. Бежали, стреляли из автоматов, «ура» кричали. Вдруг Яшку ранило, подстрелили его из леса, где немцы засели. Упал он, лежит на вышелочке, на виду, на бугорочке, значит. Я к нему подполз, перевязал. А он толстый был, у меня хватило на два с половиной оборота бинта. А его в живот ранило. Он прямо лежал на ране. Она сквозная была. Я его решил утащить с места с высокого, открытое оно было. Только попытался подняться, и меня ранило в спину. И уже не мог я его тащить. Он мне и говорит: «Вась, оставь меня здесь». Я ему говорю: «Машина по полю ходит. Санитары. Я поползу, направлю их к тебе. Я вернусь». Отполз я, попытался подняться, а тут снаряд! И меня осколком. Боль в ноге где-то. Перевязал ногу, кровь унял, пополз дальше, санитаров искать, в тыл. Полз, полз до картофелища дополз, а по нему ползти-то плохо как. Силы покинули меня. Решил отдохнуть, сел.

Вдруг около меня станковый пулемет застрочил метрах в десяти. Наш пулемет-то. Потом один из расчета встал зачем-то и упал. Подстрелили его. «Чего, — другие его спрашивают, — ранили?» Ну они уж подниматься не стали, поползли, перетащили и его и пулемет. Меня они не заметили, я сам их позвал. Вдруг вижу — командир роты наш, лейтенант Подлевских идет (он в Кирове раньше жил и сейчас, наверное, живет). Меня он увидел и говорит своим санитарам: «Тархова, Тархова заберите». Санитары забрали меня. А быстро все так, спешат, видно.

Я лейтенанту говорю: «Яшка там остался. Яшку забрать надо». Они вроде бы побежали к Яшке, но возвратились. А лейтенант Подлевских мне говорит: «Э! Немцы уже там, наверное. Немцы в контрнаступление пошли». Не удалась, видимо, наша атака. Ну, санитары на Яшку уж рукой махнули. Под меня винтовку подсуну-



ли и понесли меня на ней. А у меня голова на плечах еле держится. Вынесли они меня. Так я и закончил воевать под Ельней. Суровые тогда были бои. Освобождали мы ее уже, а немцы дрались остервенело. Яшка там и остался...

Потом я из деревни в деревню мотался. Сначала был в полевом госпитале под Вязьмой, в лесу. Потом в самой Вязьме. Там первая операция была: осколки вытащили. Вторую операцию делали уже в Москве. Гангрена началась. Ну, врачи отвезли меня на операцию. Когда проснулся — первым делом ногу посмотрел свою, а ее и нет! Оттяпали! Ох, как все это было ужасно! В девятнадцать лет без ноги остался! Плохое настроение. Да уж куда уж денешься. Стал я к костылям привыкать, выздоравливать начал.

А потом домой поехал. В 1944 году в Березняк. Меня Мария Емельяновна, дочь бывшего председателя Емельяна Степановича, сговорила. Я, говорит, в Богородск ухажу, а ты за меня поработай счетоводом. Ну я и согласился.

А день Победы встретил как? В колхозе работал. Леля Емельянов мне сказал: «Вась, война ведь кончилась». Я не поверил сначала, а потом обрадовался.

«В разведку боем»

Степанов Петр Степанович, 1917 год,
моряк

У меня ведь девять дядьев, десять теток, а всего, я считал, 174 родственника. Будьте любезны... Про войну я никогда и не рассказывал, не люблю. Ну уж если хотите... Еду от фронтового друга. Четыре дня за столом сидели, друг друга не видели, слезы мешали. Внук тут только меня заставил, ну рассказал я про один бой. Мы ж морская пехота были!

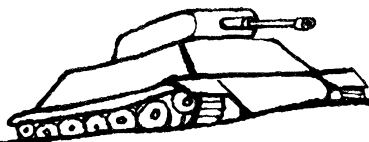
Наш батальон в разведку боем пошел. 1942 год, Осташково. Две деревни прошли — тихо. Никто ничего не заметил. А в третьей деревне часовой немецкий засек нас, ну и выстрелил. Немцы всполошились. Бой сильный был. А я гранаты ловко бросал. В домах не крыша — дранка. Бро-

саешь — она и ухает через крышу. Разрывные пули — пок-пок, ложатся. Пулеметчик у них один много наших посек. Обер-лейтенант ихний из дома выскочил в сапожках, рукава засучены, а я обернулся, командую: «По пять человек на горку, вперед!» Он из пистолета в меня — и так повезло мне, рот открытый был, пуля обе щеки прошила и вылетела, даже зубы не задела. Немца тут скосили. Выбили мы немцев из деревни — сами в их окопах укрепились. Несколько ящиков шнапса нашли. В двух машинах немки были в форме, ну — девушки. Бой же, они визжат. Но ничего, по нашим стрелять начали. Забросали обе машины гранатами, всех посекли.

Три дня отбивались мы в той деревне. Нам приказ — держаться до подхода подкреплений. На четвертый день нас человек 50 осталось. Разрешили отступить. А там поле с капустой. Вилки — во какие. Мы ж голодные. Набросились, на ходу ели. Вдали елочки, посадки. Начали мы по полю уходить к посадкам. А окружение же. Они с флангов пулеметы поставили, строчат. Десять человек нас к леску вышло. Подполковника убило и майора тоже. Девять человек вышло из 186, да еще один без ног, но живой остался. Трудно выходили. Голодные. Коров увидели, у них вымя раздутое, насосались молока, понос всех прошиб.

Бабы-беженки по дороге шли, одни женщины, с ними один дед старый, показали им, куда по дороге к нашим ехать. У нас же карта, а они не знают.

Из сил выбились, грязные, страшные, зашли в лесок. Иду впереди, деревья вот так спилены и уложены. Свежий спил. Ну, думаю, немцы. Но вот чего-то внутри говорит: «Еще маленько вперед пройди». Прошел, гляжу, у леса на полянке старшинка сидит, с буквой «Т» на погонах, борщ из котелка наяривает. Наши! Вот радости-то было. А ребята нас увидели, оружие похватали, мы же с немецкой стороны к ним вышли. Позвонили по начальству, доложили. Генерал приехал, нас накормили, в госпиталь всех. У меня же трех ребер нет, осколок снизу прошел, два осколка и сейчас сидят во мне. В аэропорту сперва звонило все, когда досмотр проходил. Говорят: «Дед, у тебя это, наверное, награды». Вот



один осколок можно пощупать, четыре с половиной на два с половиной сантиметра.

Да, сколько тысяч километров исходил я по земле вот этими куцыми ногами. У меня же в кость там штука такая вставлена, на двух шурупах. Тоже ранение. Ничего, все нормально. Повезли нас на санитарном поезде в Калинин. Ну я тебе скажу... Одни развалины кругом. Рельсы втрое изогнуты штопором, вагонные колеса так страшно выгнуты. Мороз по коже. Бомбили же сильно. В Калинин привезли, у вокзала милиция цепью стоит, никого к санитарному поезду не пускает. Женщины, дети, старики к поезду рвутся, плачут, родных ищут. Тяжело... Тяжело...

«Отчаяние тоже было»

Фищев Иван Николаевич, 1920 год,
учитель

Фронтальная радость — письмо из дома, от товарищей. Бывало удовольствие от удачной стрельбы по немцам. Как-то на заре, помню, переходили из деревни в деревню немцы. Большое подразделение. Одну-то деревню наши сожгли — они в другую. Мы заметили, начали пристреливаться. Пристрелялись — немцы стали падать. Получилось очень хорошо, были довольны. Об этом писала фронтальная газета.

Отчаяние тоже было. На Северо-Западном фронте надо было взять одну деревушку. Ползли-ползли по склону, а немец ведет обстрел минометный — ну, гвоздит, зараза. Не взяли деревушку, потери понесли большие. Обидно, больно за погибших товарищей. Откатились бесславно. Наша часть уже эту деревушку не брала. Некому... Другие подразделения взяли.

Была похоронка родителям на меня. Там же, на Северо-Западном, был ночной бой за деревню Антоновку. Немец хорошо укрепился. Надо перейти было поле. Ну, меня и ранило в спину. Медсестра оказала помощь, и я пошел

дальше, попал в другую часть, потом в госпиталь. Обстановка была сложная, большие потери, глубокий снег. Выбудет кто из строя — заметет снегом. Меня не нашли сразу и сочли погибшим. После госпиталя я уехал на фронт, а отцу сообщили, что так, мол, и так, и вручили похоронку. Отец не больно поверил, написал мне письмо, жив ли я. Я ответил: «Жив и здоров!»

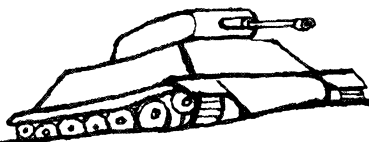
Тяжкий день был под Кривым Рогом. Снова ранило. Пошел в тыл с товарищами. Сержант один был с нами. Вынырнул из облаков немецкий самолет и начал бомбежку. Мы бросились в разные стороны, я упал, сержант погиб. Жалко, хороший человек был. А меня ранило, но удачно, что жив остался. Осколок с силой по животу проскочил, разбил рукоятку пистолета, офицерский ремень перерубил. Второй осколок задел правую бровь, третий попал мимо, промеж ног, четвертый угодил в коленную чашечку. Когда бомбят, очень страшно, особенно когда много пикирующих самолетов. После лечения стал негодным для войны. Сейчас вспоминаю чаще о войне, сразу после войны и думать не хотелось. Наградами играли ребятишки. Позже носить их стал.

«Мне порядком надоела эта война»

Мельников Мечислав Николаевич, 1918 год,
рабочий

Битва на Курской дуге была страшная. Много было убитых, раненых. Иногда на поле раненые лежали всего где-нибудь в 100–150 метрах от окопа. И помочь им было практически невозможно. Огонь стоял такой плотный, фактически не прекращался.

Однажды был случай. После крупного сражения, помню, стали мы преследовать убежавших немцев по пятам. Немцы пошли на хитрость. Они после отхода своих частей оставляли по дороге бочки со спиртом. И когда мы встречали на своем пути эти бочки, то солдаты, обрадованные, набира-



ли в котелки, каски спирт и пили. И после этого ни о каком дальнейшем преследовании немцев не могло идти и речи. Так немцы пытались оторваться от наших частей. Но потом командир посылал вперед дозорных, которые еще до прихода солдат уничтожали этот спирт.

За те четыре года, что я воевал, мне порядком надоела эта война. Убивать людей — это тоже не так-то просто, хотя и знаешь, что это твой враг. Поэтому мне, да и моим товарищам, побыстрее хотелось вернуться домой и взяться за свое ремесло. Мне хотелось побыстрее встать к станку, заняться столярными делами. Другим хотелось пахать землю, а потом засеять ее хлебом. Но для всего этого нужно было дойти до Берлина...

«Радость и горе шли рядом»

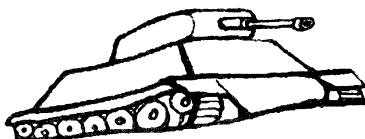
Коврижных Павел Григорьевич, 1922 год,
дер. Кленцы, инженер

Радость и горе во время войны шли рядом рука об руку. Вот тому подтверждение. При выписке из госпиталя, куда попал по ранению, комиссия, признав меня годным к строевой службе, определила мне семь дней отпуска для зарубцевания ран (об этом у меня хранится справка госпиталя). Я решил воспользоваться этим подарком судьбы и поехал к матери, проживавшей тогда в деревне Кленцы Тужинского района Кировской области. Благополучно добрался, пробыл у нее три дня. Помог ей привезти воз сена с лугов, наколот дров, помылся, попарился в бане, навестил могилу отца, умершего в феврале 1943 года, и, счастливый безмерно, побывав на родине, стал пробираться на фронт.

При пересадке с одного поезда на другой в городе Горьком по продовольственному аттестату получил продовольственный паек, о чем была сделана пометка продпункта. Она меня и подвела «под монастырь». На одном из контрольно-пропускных пунктов дорожный офицер при проверке моих документов, выданных в Москве, заподозрил

во мне, как он заявил, немецкого шпиона и диверсанта. Арестовал меня, допросил с пристрастием и держал в землянке под замком под охраной часового с неделю до подтверждения документами моего рассказа о поездке на родину. Все это подтверждалось справками из госпиталя, из колхоза, где работала мать, и я был выпущен из-под ареста. Но на моем командировочном предписании появилась его резолюция: «За дезертирство с фронта передать суду военного трибунала». Вот те раз! Да какой же я дезертир, если все по закону? Радость от поездки к матери сменилась горем: что-то будет, может быть, расстрел, в лучшем случае — штрафной батальон. Придется расстаться с партбилетом. С таким настроением позавтракал на пункте, а за столом оказался полковник. Расспросил, куда пробираюсь, почему грустный. Выявилось, что нам по пути в 306-ю стрелковую дивизию. Дорогой я поведал ему о своих приключениях, на что он ответил: «Не волнуйся, дальше фронта не пошлют». Оставшуюся часть пути до местечка Кресты, где базировался штаб дивизии, полковник расспрашивал меня о жизни в тылу, в госпитале, многом другом. А когда пришли к штабу, он пригласил меня внутрь, снял шинель, сел, взял мои документы, прочитал их и на резолюции о предании меня суду ревтрибунала красным карандашом поставил жирный крест и свою подпись. Возвращая мне документы, сказал: «Иди и служи». Откозыряв, я взялся уже за ручку двери, как услышал: «Постойте, старший лейтенант, для вас, кажется, у нас хранится орден». Приказал присесть. Дал указание подчиненным выяснить. У них я узнал, что полковник-то этот является заместителем командира нашей дивизии по политической части.

Ему доложили, что я действительно за бои под Смоленском награжден орденом Красной Звезды. Связался он по телефону с командиром дивизии, повез меня к генералу, Герою Советского Союза Черняку, который лично прикрепил к моей гимнастерке орден, поцеловал, угостил горькой водкой, расспросил о моей жизни после ранения и при прощании сказал: «От нас требуют офицеров на курсы усовершенствования. Одногодичного военного училища для офи-



цера мало. А воевать нам еще надо много. Пошлем вас на эти курсы». Вот так радость поездки домой, омраченная горем пойти под трибунал, вновь сменилась радостью награждения орденом и поездкой на учебу. Бывает же такое.

Глава 3. В обороне и наступлении

«Погибших клали рядом»

Чернышев Василий Яковлевич, 1908 год,
дер. Выселок Александровский, крестьянин

Деревня была на берегу озера Ольхового, рядом текла река Большая Кокшага. Места — ох и красивые! В довоенное время в деревне было тридцать пять домов, жило около двухсот человек. Хозяйства были крепкие, хорошие. Деревня утопала в зелени, особенно хороша была весной, когда цветет сирень, черемуха.

Из нашей деревни на войну ушли сорок человек. Остались подростки, старики, женщины, дети. Вернулись девять, из них два инвалида. Сейчас из тех, кто был на войне, остались живы всего трое.

3 июля 1941 года в сельсовете по радио слушали выступление Сталина. Запомнили одно: «Быть или не быть Советскому государству». В первую партию на фронт я не попал, попал во вторую. 25 июля 1941 года вызвали в военкомат и отправили на станцию Йошкар-Ола на лошадях. После отправили в Ленинград, одели всех в военную форму. Выпала доля участвовать в боях под Синявинскими высотами на Ленинградском фронте. О еде не думали: знали — в Ленинграде люди умирают от голода. Немец недалеко, бьет-гвоздит, ну спасу нет. Тишины, казалось, никогда и не было. Мины проходили иногда так близко, что обдавали голову горячим воздухом. Раз снаряд чуть в голову не попал, разорвался в стороне. Не зацепило, чудом остался жив.

Стояли в обороне. Хуже нет стоять в обороне. Держаться — всегда трудней. И потери больше. У нас заранее были выкопаны могилы. Погибших клали рядами. Ряд засыпали землей и снова ложили ряд. А немец ракеты пускает и освещает все наши позиции. Потом стояли в Ленинграде, откуда пошли в наступление на Пулковские высоты. Это было в январе 1994 года. Ехали по большаку. Машины в три ряда, не видать ни начала, ни конца. Проезжали мимо города Пушкина, поехали в Царское Село. Дали задание: сесть десантом на танки, прибыть в Царское Село, захватить там плацдарм, а потом выбить немца.

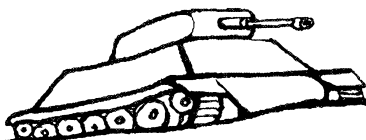
В наступление шли с криками: «За Родину! За Сталина!» Много немцев взяли в плен. Целую зиму 1943–1944 годов мы не бывали в помещении. Жили в машинах, на улице. Снег разгребем, расстелем палатку, положим соломы и ляжем спать. Один охраняет. Ели на улице, брились, отдыхали. Закались, не болели и воевали — бывало всякое. Однажды на Ленинградском фронте или на Рижском, не помню, случилось такое. Наша дальнобойная артиллерия била по немцу, прямой наводкой по немецкой пехоте шпарила. Выбила и пришла на их место. И вдруг снова бьют по нам. Это, оказывается, наши били, по ошибке, конечно. Жаль, но были убитые. Потом скомандовали отставить.

Единственное желание было во время войны — скорее домой, возвратиться к мирному труду, увидеть близких, родных.

«По трупам и наступали
друг на друга»

Дранишников Алексей Васильевич, 1908 год,
село Тохтино, учитель

В 1932 году я окончил Кировский педагогический институт, работал несколько лет директором Тохтинской семилетней школы. В 1939 году был взят в армию в Монголию. Находился на службе в монгольском городе Баян-Тю-



мени. Там же окончил курсы шоферов. В сентябре 1941 года вступил в партию. В 1942 году был назначен командиром взвода автомобильной роты (тридцать машин и тридцать пять человек) и наша 299-я бригада была направлена под Москву. Мы поехали до Тамбова, и тут немец стал бомбить наш эшелон. Однако обошлось. Все машины и пехота высадились в Тамбове, раненых никого не было. Командир бригады вызвал меня и приказал на 30 машин посадить пехоту и направляться на передовую. Указал, если пролетит самолет-разведчик, то с этого места немедленно уезжать в укрытие.

Когда мы заехали в одно село, над нами как раз пролетел этот самый самолет. Я приказал выехать обратно из села, укрыть машины и солдатам всем тоже укрыться. Сам же остался в селе у разбитого каменного здания. И минут через пятнадцать налетели немецкие самолеты и начали бомбить село. В нем находилось несколько наших танков и кавалерийские лошади, привязанные к ограде. Часа два бомбили. Два раза меня заваливало землей. Один осколок упал совсем рядом. А напротив меня укрывался мой шофер. Его так оглушило, что он выбежал и забегал вокруг воронки, закричал: «Не буду больше воевать!» Я подбежал к нему, свалил в воронку. А немцы — как сбросят бомбы, стараются лететь ниже и стреляют из пулеметов. Так прошло два часа. Когда бомбежка окончилась, я шофера из воронки вытащил и мы пошли обратно к своим машинам. Во всем селе сплошные воронки. Дошли до своих машин — они все целы, и солдаты все живые. Я приехал к комбригу и доложил, что все в порядке, все живые, машины целы, задание выполнено, только я и мой шофер немного оглохли.

Дальше, чтобы немецкие самолеты не налетали на нас, пришлось всей бригадой, шесть тысяч человек, идти пешком и только ночью. Машины оставили. Пришли на передовую, заняли окопы. Солдаты, которые там оставались, а их было очень мало, отправились в тыл. Наша бригада их заменила. Утром на нас стал наступать враг. Мы находились на одной стороне оврага, а немецкие окопы на другой. Глубина оврага — около пятнадцать метров. В нашей

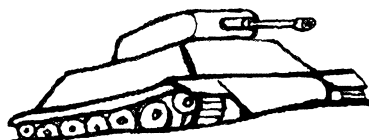
бригаде было шесть тысяч человек, и нас хватило всего на шесть дней боев. Этот овраг был завален трупами русских и немецких солдат. Хорошо запомнилось, что у некоторых уже черви да воронье глаза выели. Так по трупам и наступали друг на друга. После шести дней боев нас, не раненых, осталось двести человек. Нашу бригаду заменила новая часть, а нас отправили на формирование в город Сердобск Рязанской области.

Через месяц была сформирована новая бригада из моряков. С ней мы освободили Воронеж. Потом перешли на Юго-Западный фронт. Впереди шел танковый корпус, наша бригада за ним. Прорвали румынский фронт. Румыны сдавались целыми батальонами. Вояки они никудышные. И мы соединились с южными войсками, окружив немцев под Сталинградом.

При наступлении на шевченковские хутора танковый корпус шел впереди, а мы за ним. Немцы наши танки пропустили, а пехоту задержали. Их была целая армия — 60 тысяч человек, а нас всего шесть тысяч. Вызвал меня командир бригады, приказал ехать в тыл к немцам и помочь командиру танкового корпуса генералу Танастишину. На тридцать вездеходов, закрытых брезентом, нагрузили по бочке дизельного топлива для танков, по станковому пулемету и по два ящика патронов и по три пулеметчика.

Вскоре добрались до села, в нем и находился этот генерал. Я доложил ему, что привез для танков дизельное топливо, тридцать станковых пулеметов и патроны к ним. Вокруг вырыли окопы, поставили пулеметы.

К нам прибежали колхозницы и кричат: «Почему вы не стреляете? Посмотрите, сколько немцев на наше село идут, нас всех перевешают». Действительно, немцы шли в восемь рядов, с автоматами в руках, но не стреляли. Когда они подошли так близко, что стали видны их лица, генерал выстрелил ракетой и все тридцать пулеметов открыли огонь. Немцы повалились и стали отступать. Но в двенадцать часов дня с немецкой стороны пошли танки. Мы думаем — все. Не сравнить, какие силы у Танастишина были, и какие у фашистов. Но тут по радиации генерал запросил подмогу,



и двадцать пять танков пришли к нам на помощь. Немцы побросали оружие и стали сдаваться в плен. Мы выскочили из окопов и стали выстраивать немецких солдат, чтобы вести в плен. Их оказалось 1500 человек. Около 500 человек было убито.

Только успели немцев выстроить, как налетело огромное количество немецких самолетов, стали кружить вокруг села. Один наш танкист увидел у убитого немецкого офицера ракетницу, вынул ее и выстрелил ракетой. И самолеты вместо бомб стали сбрасывать ящики с патронами для немецких автоматов, с продуктами питания. Все сбросили и полетели обратно. Вот так фрицев обманули. У меня было тридцать машин, мы еле сумели погрузить все в них. Когда вернулись с грузом к своим, на «виллисе» приехал генерал Чуйков. Он выстроил нас всех, поздоровался со всеми за руку и сказал: «Спасибо вам! Вы будете награждены». Он еще сказал, что своей 3-й армией окружил всю немецкую армию и через три дня возьмет ее в плен. И действительно, вскорости было взято в плен 48 тысяч немецких солдат и офицеров.

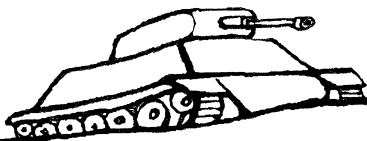
Дальше наша 229-я бригада пошла на юг. На Северном Донце остановились. По ту сторону реки стояли итальянские войска, командовали ими немецкие офицеры. Днем офицеры находились в окопах, а ночью уходили в деревню, стоящую за несколько километров от берега. Как только немцы уйдут, итальянцы выскакивают из окопов и кричат: «Рус солдат, выходи, мы стрелять не будем!» Мы могли свободно воду брать из реки, купаться. В одну ночь был сильный дождь, ветер. И в эту ночь 150 итальянских солдат переплыли через реку и ушли в лес на нашей территории. Наши солдаты, которые были в окопах, сообщили об этом командиру бригады. Командир этой же ночью посадил всех на машины и велел найти меня, чтобы я принял командование и взял итальянцев в плен.

Искать итальянцев долго не пришлось. Мы окружили лес и стали прочесывать его. Как только начали наши солдаты сходитьсь, видим, итальянцы стоят около деревьев, и автоматы рядом на земле. Они не сделали ни одного выстре-

ла. Нам объяснили, что сбежали не для того, чтобы воевать, а чтобы сдать в плен.

Дальше я командовал автовзводом Одесской автомобильной бригады. Машины были здесь уже американские. Америка дала 200 тысяч машин. «Шевроле», «студебеккеры», «джемси». Освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. Трудные были бои за Будапешт. Он был окружен 3-м и 2-м Украинскими фронтами, но 120 тысяч немцев в Будапеште не сдавались. Гитлер сообщил по радио им, что, мол, pošлю 1000 танков, когда на Дунае пойдет лед, и оба фронта утоплю в реке. Я около месяца перевозил снаряды для нашей артиллерии. И тут произошел один трагический случай. Командир роты решил сам своими силами возить снаряды для «катюш» на тот берег Дуная. Я хорошо знал дорогу, ездил все время на первой машине, за мной ехали остальные одиннадцать. Говорю — не ездите без меня. Но комроты не согласился — некогда, мол. Жди тебя, пока ты освободишься. Сам поеду.

Дорога была заминирована немцами, разминировали только проезжую часть. Машины шли друг от друга на расстоянии 100 м, чтобы в случае взрыва одной другие не пострадали. Командир роты ехал на первой машине. Снег лежал не толсто, но все-таки мешал движению. И первая машина застряла, наверное, немного съехала с проезжей части. Командир стал звать шоферов на помощь. Когда люди пришли и стали толкать машину, произошел страшной силы взрыв. Ахнула не только мина, но и все снаряды в машине. Шофер последнего грузовика, который не слышал, как всех созывали, один остался жив, хотя после этого оглох и даже плохо говорил. Я услышал взрыв, хотя машины ушли уж километров на пять, и прибежал к комбату; говорю, беда, мол. Когда рассвело, приехали на место происшествия. Перед нами предстала страшная картина: весь снег был в крови и в клочьях одежды, и никого в живых, кроме того шофера. Между прочим, мы и сами чуть не подорвались: между колес пропустили мину. Если бы наехали колесом, и мы бы взорвались. После этого война закончилась через три месяца, а тут погибло столько солдат-шоферов и командир роты.



У Будапешта на тот берег Дуная были переправлены наши «катюши». Когда Гитлер бросил танки против наших войск, меня вызвали в штаб 3-го Украинского фронта. Заместитель Толбухина генерал Шахматов мне дал приказ: ехать на первой «катюше», встречать гитлеровские танки и сжигать их термитными снарядами. Я сел на первую машину, и мы проехали километров пять; вся дорога была запружена бегущими солдатами и офицерами. Я доехал до городка, не помню названия, очень они, венгерские, трудные, в двадцати километрах от Будапешта, а танки уже подходят к нему. Приказал стрелять. В течение ночи мы сожгли много танков, остальные повернули обратно. «Тигры» и «пантеры» Гитлера не прошли, и немцы в Будапеште сдались в плен.

Демобилизовался я из армии как учитель с высшим образованием. И снова стал директором Тохтинской семилетней школы.

«Все было смешано в дым»

Машков Александр Иванович, 1924 год,
дер. Замосье Великолукской области, инженер

В семье было нас четверо детей. Я был средним, поэтому меня в три года отправили к дяде в Ленинград, у которого не было детей. Кончил там семь классов, поступил в ремесленную школу на краснодеревщика в 1939 году.

Жили очень вссло, постоянно посещали театр и кино, участвовали в антивоенных демонстрациях. В общем, были активными. Многие из нас уже посещали различные клубы: одни изучали морское дело, другие ходили в клубы связистов, парашютную школу, некоторые даже в летную.

В 1941 году кончил я ремеслуху. Началась война, и мы всем училищем ринулись на штурм военкомата. Мне было тогда семнадцать лет. Нас взяли, и мы были ужасно рады, что пойдем гада-немца бить, а через два дня были уже на Кировских островах. Здесь находился добровольческий 549-й стрелко-

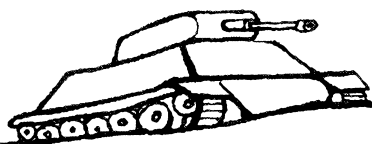
вый полк. Полк наш оборонял Гатчину, воевал на Пулковских высотах. Дрались беспощадно. Несколько раз немец ходил в атаку, брал эти высоты. А мы каждый раз назад отбивали, и все-таки они остались нашими. Именно здесь задержали немцев, которые шли на Ленинград с трех направлений. Был ранен два раза в ногу и еще пуля сквозная прошла через плечо. Потом меня лечили в военном госпитале, эвакуировали в город Асбест на Урал в 1942 году. Там я немного оклемался от ран, и меня направили в Камышловское пехотное командное училище, где проучился-то всего три месяца. Учились по ускоренной программе.

После окончания курса нас, 150 человек, присвоив звание старшин, бросили под Сталинград. Дали роту. Много крови пролилось там. Страшно было. Небо сливалось с землей. Немец постоянно атаковал, бомбил... Шибко страшно. Там я был неделю, потому что меня ранило в голову. Дальше, конечно, госпиталь. Пробыл там где-то с месяц, и меня перебросили под Москву. А еще через месяц на Воронежский фронт. В конце концов дошел до Полтавы. Трудно было, конечно, но мы привыкли, ничего уже не боялись. Как с едой было? Последнее время давали тушенку английскую и американскую. Своя кухня постоянно отставала.

Недалеко от Полтавы меня вызвали из дивизии доучиваться в военное училище. Двигались вместе с фронтом, дошли до Киева, увидели, что от него почти ничего не осталось. Одни стены от домов да рухлядь. Мы участвовали во взятии Киева.

Наконец кончил училище уже в городе Сумы, мне присвоили звание младшего лейтенанта, командира минометного взвода.

Направили в 127-ю дивизию. Это был резерв, который бросали на прорыв в Польше, на Карпаты. Брали Шинкендорф, Берлинскую автостраду. Немец бил жестоко, погибали сотнями. В одном городе, уже в Германии, мы остановились на пополнение. После этого нас перебросили к реке Нейсе. Наш минометный батальон распределили так, что артиллерийские стволы располагались друг от друга через пять метров. Три часа пятнадцать минут длилась артподго-



товка. Все было смешано в дым. Невдалеке стоял лесок, так его после артподготовки вообще не стало, только все горело, полыхало. А после этого было как на кладбище. Тихо, спокойно, страшно.

26 апреля 1945 года я был тяжело ранен, оторвана рука. Меня сразу же в госпиталь, сделали операцию, а потом отправили в Ворошиловград. Так вот, немного до Победы целым не остался.

«Дай хлеба!»

Шишова Татьяна Владимировна, 1922 год,
г. Ленинград, медсестра

Окончила краткосрочные курсы медсестер и добровольцем ушла в ополчение защищать свой город. Во время блокады в Ленинграде жили с мамой на кухне, топили «буржуйку» мебелью, спали не раздеваясь. Пережили страшный голод. От бомбежек сгорели огромные Бадаевские склады продовольствия. Горели и плавилась масло и сахар и другие продукты; и все текло рекой и впитывалось в землю. Эту землю потом продавали на рынке. Какие-то гады-диверсанты навели на склады немецкие самолеты. Получали по карточкам по 125 грамм блокадного хлеба. Хлеб пекли не из одной муки, а с добавлением жмыха, березовых опилок и пищевой целлюлозы. Этот крохотный кусочек хлеба мы с мамой еще делили на три части и прятали подальше, чтоб не съесть все сразу. Ели все, что можно было есть: цветочные семена, из луковых перьев варили щи, хлеб жарили на олифе. Лепешки пекли из горчицы, из кофейной гуши и из картофельной шелухи.

Не знали мы, как обернется жизнь, когда мы, веселые девчата, надев военную форму, пилотки, побежали в фотографию, а потом с песнями промаршировали по всему городу и отправились на фронт. Все думали, что война быстро кончится. Самым трудным тогда казалось правильно намотать портянки и обмотки. Жесткие кирзовые сапоги до крови натирали наши девичьи ноги.

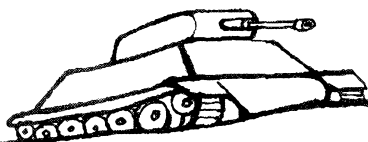
А потом пришлось такое страшное наблюдать. Страшно было видеть, как маленькие дети ходили, еле волоча ноги, к проруби за водой на Неву. С маленькими бидончиками, с ведерками, чайниками, уставшие, они садились на сугробы отдохнуть и шли снова и снова. А иные уже с сугроба не вставали. Их просто обходили стороной. Дети постарше тащили на санках трупы своих близких подальше от дома, складывать в Ботанический сад или на ближайший рынок, а матери возили малышей, сбрасывая в сугробы запеленутые в одеяла тельца. Сил не было довести до кладбища. Или везли покойника, а на нем сидел еще живой человек. В нашем доме этажом выше жила женщина с двумя детьми, которых пожалела эвакуировать. Лена четырех лет и Олег шести, как два сморщенных худеньких старичка, сидели целый день на кровати, слушали радио и ждали, когда дядя скажет о прибавке хлеба. Они не смеялись, не играли, они почти все время молчали. Иногда тонким скрипучим голоском пищали: «Мама, хочешь есть! Мама, дай хлеба!» А мама ничего не могла.

Самый памятный праздник для меня был Новый 1942 год. Встречали Новый год у моей подружки Любы. Была ее мама, моя мама и я. Сидели на кухне в пальто. На столе горела коптилка и стояло угощение. Выдали нам по карточке к празднику 200 грамм хлеба, 50 грамм хамсы соленой, 100 грамм красного вина. Со слезами радости на глазах мы слушали в двенадцать часов ночи поздравление Советского правительства, поздравляли друг друга и поверили, что нас освободят. Появилась первая надежда на спасение, на жизнь, на победу.

«Закончилась война»

Долгих Иван Михайлович, 1914 год,
дер. Терешичи, служащий

За время пребывания в Болгарии я не слышал ни одного выстрела. В нас никто не стрелял, так как болгары в битвах против русских не участвовали. Это же наши братья-сла-



вяне. Исключительно приветливо принимали. В городе по улицам стояли люди с цветами, приветствовали и болгарские солдаты.

Двинулись мы на Будапешт. Здесь со мной приключилась интересная история. Может, не надо об этом писать? В общем, мы ехали через лес, потом выехали на шоссе. Я был в машине вдвоем с шофером. Вдруг видим, по шоссе движется рота румынских солдат. Меня взяла оторопь. Я остановил машину и выскочил с пистолетом. Ко мне подходит офицер и спрашивает: «Куда нам в плен сдаваться?» А рота у него 160 человек. Я ему тогда сказал: «Проходите и бросайте в кузов машины оружие!» Страшно было мне. Ведь что же я один, а их сколько, и все вооружены. А заслуга в том, что румыны перешли на нашу сторону, была короля Михая. Он повернул румын против немцев. Королю было в то время двадцать четыре года. Его портреты везде висели, когда мы шли по Румынии.

Вышли мы к озеру Балатон. Это уже в Венгрии. Немцы к этому времени подтянули из Италии несколько бронетанковых дивизий, и Гитлер распорядился сбросить в Дунай весь наш 3-й Украинский фронт, которым командовал маршал Конев, наш земляк. Здесь у Балатона возникли многодневные тяжелые, с огромными потерями бои. В двух или трех местах немецкие танки прорвались к берегам Дуная и, повернув на север вдоль реки, прошли по нашим тылам, где располагались наши военные госпитали. Убивали раненых, издевались над мирным населением. Это были страшные вещи. И все же, получив подкрепление, мы отбросили немцев обратно к Балатону.

Двинулись с юга к городу Буда. Сам Пешт был тем временем взят немцами. А наши войска со всех сторон окружили Буда и дрались в самом городе. Мы около полутора месяцев сражались в окрестностях Буды, имели большие потери. Наш 80-й пехотный полк составлял всего пятьсот активных штыков.

После переформирования и пополнения дивизия и полк были двинуты в направлении Вены. В Вене немцы оказали очень жестокое сопротивление. Наш полк дрался в самом

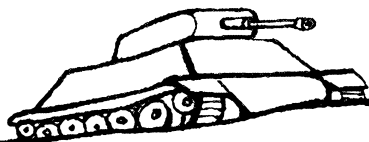
сердце города, около собора Святого Стефания. В Вене дома и церкви в основном готические. Бойницы узкие, окна узкие. Немцам хорошо было держать оборону. Из этих окон били все время немецкие снайперы. На площади около собора погиб любимец полка, командир 3-го батальона, Миша Хижняк. Как он прекрасно играл на аккордеоне! Его очень любили. Когда он получил приказ двинуться вперед, он с группой солдат выскочил на площадь и был убит немецким снайпером. Когда его пытались солдаты вытащить с площади, то немецкий солдат, гад какой-то, уже в мертвого него выпустил пулеметную очередь. Погибли и солдаты.

В четыре часа утра нас подняли по тревоге, и мы двинулись по шоссе на Санкт-Пельтон. На шоссе творилось что-то невероятное. Оно было запружено местными жителями, солдатами, военнопленными. Все время пробки. Я вышел из машины и посмотрел в реку. Вода была прозрачной, и на дне валялись сотни вражеских орудий, винтовок, пистолетов, никому теперь не нужных. Все было видно. Через несколько километров шоссе раздваивалось, и справа на джипах и «виллисах» показались американские солдаты и офицеры. Они были в форме цвета хаки, сидели как попало, небрежно развалясь. Некоторые ухитрились сидеть на капотах машин. На этом, по существу, и закончилась для меня война.

«И начался Парад Победы»

Невиницын Сергей Семенович, 1923 год,
пос. Вахруши, рабочий

Ну, до войны здесь и жил, работал слесарем. Все было хорошо. Трудились люди, и страна крепла. И вдруг это ужасное известие — война. Конечно, и страх, и ужас, и паника поначалу. Но надо ведь было не паниковать, а, как говорится, с мыслями собраться, да и за дело браться. Надо было Родину защищать. Ну и вот в 1942 году, в марте месяце призывали меня в армию, боевое крещение принял я в том же 1942 году — форсирование Дона у станицы Вешенской.



Во время освобождения станицы был ранен — легкое ранение в голову и ноги. Всю войну прошел командиром минометного отделения.

Трудно во время наступления на Украине было. Не было продовольствия, голодали, вши нас заедали. Мало боеприпасов, оружия не было. Иногда в бой без оружия некоторые шли. Не было. Нам говорили: «Идите, там найдете, возьмете, если кого убьют». И шли с пустыми руками. Тяжело было, когда освобождали Польшу. По трое суток не ели! Боеприпасов не хватало. Оружия или нет, или патроны кончились. Приходилось врукопашную сцепляться. Не боялись и стояли до последнего. Все было! Все! И голод, и холод. Зимой в окопах мерзнешь, конечно. А чего поделаешь? Перед боем иногда давали по 100 грамм спирта.

Однажды во время форсирования Северного Донца меня контузило и полностью засыпало землей. Товарищи откопали. Когда пришел в сознание, ощутил такую огромную радость, что я жив, живой! Меня просто переполняла эта радость, и я снова отключился.

Тяжко было на Украине. Шли как волки голодные. Желуди собирали и ели. Мирные жители рады бы с нами поделиться, да нечем. Потом снабжение стало лучше, почувствовали перевес на нашей стороне. Жили в основном в землянках, в окопах... Зимой — мороз, а ты застываешь среди поля. До 1943 года не очень хорошо было с одеждой. Снег кругом. Валенки или сапоги хотя бы одеть, а приходилось идти в ботинках, да еще и в рваных. Вербочкой перевяжешь, чтобы подошва держалась, и в бой идешь. Люди умирали от голода и холода, от ранений, от болезней. Как страшно видеть эту смерть! Было специальное похоронное бюро. Это несколько человек, которые по состоянию здоровья в бой идти не могут. Бой пройдет, похоронное бюро идет по полю боя и подбирает убитых и раненых. У убитых забирают документы и потом извещают родных. Отмечают в специальном списке погибших. Затем могилы рыли. Времени ведь не было. Маленько выкопают, спихнут туда мертвых, землей забросают наскоро, и все! У похоронного бюро даже музыка была.

Страшно на войне. Страшно! И не верьте, если говорят, что нет. Страшно всем. Дело в том, когда страшно. Страшно бывает перед боем. Представьте, в окопах тишина. Ни выстрела. А знаешь, например, что в четыре часа наступление. Аж мурашки по коже бегут. Много и долго переживаешь: а вдруг убьют? вдруг танк задавит и кишки вылезут? А вдруг... — и родных-то больше не увидишь. Ну а когда в бой пошел — уже не страшно. Никакого страха. Одна мысль — как победить. Да и вообще бояться во время боя просто нельзя. Если во время боя страх, уже паника будет. А паникер не вояка. После боя опять радостно становится. Смех начинается. Друг над другом подтруниваем.

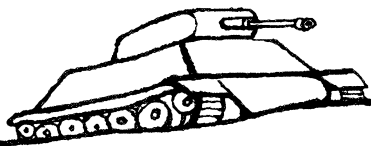
— А ты-то бежал, как руками махал, ровно ворон крыльями!

— А ты, когда «Ура!» кричал, такую рожу скривил, чуть рот не порвал!

— А ты бежал как заяц и все оглядывался!

Вот так шутили, не со зла, конечно, для веселья. Смех после боя снимал и напряжение, и усталость. А радость после победы безгранична. Редко, но бывало и не только после боя смеялись. Однажды в Будапеште брели мы голодные и вдруг наткнулись на пасеку. Конечно, не надо бы мед брать, да так уж есть-то хотелось... А медку особенно. Ну и товарищ у нас один был — Васька Фурсов. Взял он ведро воды и облил улей-то водой. Пчелы сырые уже не полетят. Стали мы соты доставать и руками соты с медом в котелки совать, потом есть стали. Ну и Васька Фурсов соту одну — хап — в рот! А там одна пчела, как назло, застряла. Он медок-то в рот, а пчела его и ужалила в верхнюю губу. К вечеру губа вспухла, а мы посмеивались над ним: «Вась! А Вась! Брыла-то у тебя как у верблюда». А я смеюсь и говорю: «Ну как, сладок ли медок-то? Уж не надо было брать». А он хоть и не обижается, а отбрыкивается от нас. Вот насмеялись тогда мы все.

Так и тянулись эти суровые годы. Цель и мысль у меня, да и у всех, была одна — как победить, остаться живому, вернуться. На войне люди изменяются. Они становятся взрослее, серьезнее, даже суровее. Но доброта и взаимопомощь не пропадают. Товарищ на войне как брат, медсестра — как



мать. Дружбу и товарищество мы очень ценили. На Родине нас ждали и любовно, горячо встречали. А за границей все по-другому. Все жители прятались. Фашисты им внушили: «Вот придут большевики с рогами, страшные; всех убьют и ограбят». Когда, осмелев, кто-нибудь из жителей выходил, то откровенно удивлялся: «Все такие хорошие. А мы думали, что вы страшные...» И затем уж только начинали нас привечать. У нас никогда не поднималась рука на ребенка, женщину или старика. Никто не хулиганил, а если грабишь или насилуешь — то к ревтрибуналу или к расстрелу. Такого у нас никто не совершал. У фашистов-то ведь за все эти деяния поощряли или приказывали — грабьте, убивайте, насилуйте, сжигайте, издевайтесь. У нас от этого сердце сжималось.

Помнится почти все. Разве что про Парад Победы расскажу. Его я никогда не забуду. Это были и слезы, и радость. В штабе дивизии мне сказали: «Вы будете представителем от дивизии на Параде Победы». Привезли нас в Москву. Жили мы в каком-то институте, где-то в расположении площади Сокольники. К параду готовились дней пятнадцать. Первый день вышли мы с восьми часов утра на тренировку, чтобы отработать строевой шаг. И заниматься нам не дали. Жители увидели — плачут: «Вот молодцы, выжили; а мой-то погиб... А наши-то не дожили». И все в голос ревет. Пацаны бегают, мешают. Поэтому пришлось нам заниматься с четырех до восьми часов утра. Стало спокойнее. В другое время, свободное, нас возили по театрам.

Настал день 24 июня 1945 года, и начался Парад Победы. Это было всенародное историческое событие. Я прошел по Красной площади в составе сводного полка Украинского фронта. Красная площадь выглядела празднично. Прогрели выстрелы по фронтам. Потом внезапно смолк оркестр. Застучали барабаны. И двести советских воинов внесли вражеские знамена, опущенные вниз. Потом у центральной трибуны победители остановились и бросали фашистские знамена к подножию Мавзолея. После Парада Победы — праздник по частям. После всего вернулся домой в отпуск на десять дней. Потом дослужил положенный срок.

И в 1947 году демобилизовался я домой. Дома жители встречали тепло и с гордостью, как победителя, все уважали.

В годы войны ушла молодость. Вся она прошла в войне, в трудной жизни. Сейчас этого не вернешь. Да и незачем.

Глава 4. Страх и ненависть

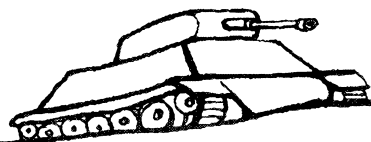
«На войне каждый день страшный»

Шкляев Вениамин Михайлович, 1923 год,
пос. Чепецкий, учитель

Поселок до войны представлял маленькую деревеньку из трех небольших улиц, магазина, столовой, конторы лес-промхоза, клуба. Дома были деревянные одноэтажные — или обыкновенные избы, или бараки. Жили в основном приезжие, даже из других областей, республик: русские, татары, удмурты. Жили дружно, весело, несмотря на бедность. Ведь лишь у одного человека был велосипед на весь поселок и близлежащие деревни. Только у одного человека был патефон с пластинками. В быту только самое необходимое. В лучшем случае праздничный костюм и рабочая одежда. Койка редко у кого на каждого члена семьи была. Обычно спали на деревянных полатах.

Тарелки тоже редко у кого на всю семью были, больше одна чашка, большая — чаруша, которая ставилась на середину стола. Электричеством пользовались только вечером и утром. Радио, правда, работало от местного радиоузла. Молодежь вечерами собиралась у клуба, в котором раз в неделю крутили кино. Играли каждый вечер в волейбол, танцевали кадрили, краковяк, вальс и русского под частушки. Гармонист был самый уважаемый человек. Часто ходили в соседние деревни на пятачки, где собиралась колхозная молодежь. Пожилые увлекались рыбалкой, охотой, летом сбором ягод, грибов, держали коров, овец, свиней. Со снабжением было плохо.

Меня призвали в январе 1942 года, и попал я в Казанское пулеметно-минометное училище, а затем перевели в Под-



московье. В октябре 1942 года закончил училище со званием лейтенанта и направлен был на Западный фронт. В феврале 1943 года был тяжело ранен. До октября 1943 года лежал в московском госпитале, после излечения был дан отпуск на три месяца. Прошел комиссию в Свердловске и был признан инвалидом III группы. Уволили в запас с последующим назначением военруком средней школы.

Дни на войне все и для всех были тяжелые. Их нельзя отличить от менее тяжелых. Самое большое желание было досыта поесть. Во время больших переходов, когда кончались запасы, варили и ели мясо убитых лошадей, приходилось и не есть ничего по три дня. От голода и усталости спали на ходу. Самое страшное, жуткое для меня до сих пор воспоминание о раненых лошадях. Они выбегали из леса, ржали, а за ними волоклись их кишки. Они бежали, беспомощные, а мы ничем не могли им помочь. Жутко от такого до сих пор.

Часто вспоминаются и бомбежки. Оказывается, страшный звук от них просто нельзя никак описать. Очень жуткий вой, и очень от него хотелось зарыться в землю, поглубже зарыться, только бы не видеть, что летит с неба, и не слышать этот звук.

На войне каждый день страшный. Нельзя сказать, что кому-то было не страшно. Если кто-то так скажет, это он врет. Просто одни могли победить этот страх, а другие нет. Поэтому многие дезертировали. Но страшно было всем. С каждым годом все тяжелее и тяжелее вспоминать те военные годы. Хочется все это забыть, а не получается.

«Страха не было»

Тутубалин Кирилл Степанович, 1915 год,
служащий

Страха особого я сначала не ощущал. Страха как такового не было. Впервые почувствовал, когда подбили мой танк, и танк горел, и надо было спастись всему экипажу, а кругом немцы. Было страшно попасть в плен к немцам, и мы с большим трудом выбрались из танка и отбивались

личным оружием и гранатами. У каждого солдата в кармане была отдельная граната, которой можно было бы подорваться, чтобы не попасть в плен. Но до этого не дошло. Мы пробились до своих войск.

Было и такое во время войны. По бокам танка, кто знает, есть бочки, в которые подается газ. Это, по существу, большие дымовые шашки. В этот бак попал осколок, а командиром танка был молоденький лейтенант. Он не разобрался, подумал, что танк горит, а сгореть в танке ничего не стоит, и отдал приказ экипажу покинуть танк. Они вышли к своим. А технику ведь проверяют после боя. Смотрят, стоит танк, без царапины. Завели — поехал. Лейтенанта — к расстрелу, экипаж — в штрафбат за трусость! Никто и разбираться не стал, что ошибка нечаянно произошла.

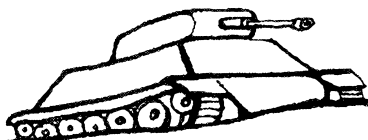
«Плакали друг о друге»

Трушков Михаил Дмитриевич, 1921 год,
г. Иркутск, в годы войны командир отдельной
штрафной роты, служащий

Быта не было, отдыха не было. Все жили в землянках. Бывало, до 18 суток сидели в снегу. В землянке сидели с коптилкой: в гильзу наливали керосин и клали тряпочки как фитиль. Домов нигде не было. Руками, саперными лопатками откапывали землю и делали шалаш.

Очень плохо везде и всюду было. Дети и старики голодали. Их в основном эвакуировали от линии фронта на шестьдесят километров. Все были тогда друзьями и товарищами в армии. Плакали друг о друге. Была огромная сплоченность. Почти везде висели лозунги: «Наше дело правое! Победа будет за нами!» Я никогда этот лозунг не забуду.

Очень большая была ненависть людей к захватчикам. Помню, вот после освобождения города Могилева было много пленных немцев. Люди, увидевшие их, побежали к ним и стали бить, особенно женщины. А у самих большие горькие слезы на глазах.



Однажды связистка привела двух пленных. И командир дивизии не выдержал, самолично зарубил их. А сделал он это потому, что у него гитлеровцы убили всю семью — жену и двоих сынишек.

Был у меня в роте шестилетний Сережка. Деревню его всю сожгли, а он убежал. Взяли его в часть, и он у нас был как сын полка. Звал он меня папка-капитан. Дисциплина вот за счет его была очень хорошая. Спал он всегда со мной. Когда мы его отправили в суворовское училище, никак не соглашался, плакал — повесился на шею и не отпускает. Учился в суворовском училище в Москве. Письма писал. А однажды прислал мне нож и написал на нем: «Зарежь немца!»

Помню еще, как на реке Проне я попал будто в плен, а еще и сам пленного взял. Это было как раз в Рождество. Мы наступали. По команде ворвались в немецкие траншеи, а немцы там все пьяные. Недалеко был блиндаж. Зашел я туда с товарищем, а там немец сидит у радиоаппаратуры. Мы его убили, а рацию расстреляли. Иду, значит, по траншее, и вдруг на меня сразу четверо фрицев напали. Не совладал я с четверыми. Они меня топтали ногами. Потом подняли и повели как пленного. Вели-вели, а потом я оглянулся — а их оставалось только двое. Не знаю, куда двое делись. Я тогда перепрыгнул через приступки и выстрелил в одного немца (у меня оставался не замеченный ими пистолет). Другого под пистолетом я привел к своим, и шли мы через минное поле. А в роте меня уже искали. Когда допрашивали немца, я видел Рокоссовского. И когда переводчик переводил рассказ немца о том, как он взял меня в плен, а в результате сам в плену оказался, Рокоссовский очень смеялся. После этого случая я отдыхал восемнадцать суток.

«Авиация работала нахально»

Сметанин Кирилл Николаевич, 1910 год,
дер. Скородумка, шофер

Работать начал с тринадцати лет. Жил сначала в личном хозяйстве. До 1929 года занимался смолокурением. Когда организовались колхозы, пошел туда. Я рабо-

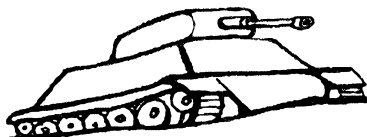
гал на нефтяном двигателе, давали свет на завод и качали воду в холодильники.

В июле 1939 года меня мобилизовали на Халхин-Гол в Монголию. Там развивались военные события. Потом нас перебросили оттуда в Финляндию. В мае 1940 года пришел домой и снова стал работать в колхозе. 7 июля 1941 года ушел на Великую Отечественную войну, был в отдельном зенитном артиллерийском дивизионе шофером. Сначала мы стояли под Великими Луками. Около года ездили так, без оружия. Однажды мы отступали, и под одной станцией нам сказали, что пойдут танки. Дали бутылки с горючей смесью. Мы просидели в окопах три дня, все ждали. На наше счастье, танки не пошли.

Когда пошли в наступление, мы наконец получили оружие, и нас причислили к штабу фронта. И штаб фронта отправлял нас на прикрытие тех дивизий, которые шли в наступление. Так мы шли вместе со всей армией из Калининской области через Смоленскую, потом Белоруссию на Варшаву и Штеттин. Дальше мы в Германию не ходили. Домой пришел в ноябре 1945 года. Снова стал работать в колхозе, теперь уже кузнецом. Ну и всяко делал, что приходилось. На пенсию вышел в семьдесят один год, но работал и после пенсии до 1984 года.

На фронте было и голодно, было и хорошо. По-всякому приходилось. А отдых был, когда дивизию сильно потрепят. Тогда нас отводили в тыл, где мы ремонтировали технику, приходило пополнение. За один налет наша батарея расстреливала по две машины снарядов. А у нас на батарее было три машины.

В 1941 — начале 1942 года немецкая авиация работала нахально, потому что зениток было мало, их мало отпускали. А когда зенитных средств стало больше, они стали летать выше, и не было такой точности, и опасаться они стали больше. Наши орудия таскали трактора, и поэтому мы передвигались очень медленно. Когда Минск брали окружением, мы отстали от армии и никак не могли ее догнать. В этих местах одиночные машины не пускали, немцы ловили их, им нужны были продукты. А потом, когда немцы-окруженцы поняли, что им ничего не сделать, они сами выхо-



дили на посты: «Рус, плен» — и сдавались. Мы не ждали от немцев мира, а только думали, когда же мы их до Берлина догоним и разобьем.

Все дни войны тяжелые. В любое время могли ранить, убить, и кто его знает, как меня пронесло. Людей ведь и в тылу много убивало. Был такой случай. Отправили нас со старшиной Пацюком на продовольственный склад, это совсем почти в тылу. Старшине надо было в деревню, где был склад. Все машины и повозки замаскировали в ивняке, а я решил завезти старшину в деревню и выехал на бугор. Зачем, думаю, маскироваться, это же тыл. Вдруг видим два самолета. И откуда они взялись, непонятно. Идут эти два бомбардировщика немецких над железной дорогой, над эшелонем с нашими солдатами. Поезд остановился напротив того места, где машины замаскировались. Солдаты бросились в кусты, а старшина Пацюк остался. Я, говорит, буду по немцам стрелять. Вижу я, самолет прямо над моей машиной бомбу сбросил, но ее в овраг утянуло. Пробило кабину и кузов, хорошо хоть мотору ничего не сделалось. Когда самолеты улетели, я вышел из кустов, и мы поехали. Поезд и железная дорога остались целы. Зато в кустах повозки, машины — все было разбито вдребезги. По деревьям клочья шинелей, куски мяса. Это было очень страшно. Я сам по сей день удивляюсь, зачем мне тогда понадобилось лезть на ту гору, буксовать, чтобы подвезти старшину в деревню. Ведь он меня об этом не просил. Но вот — случай спас. Конечно, если бы тогда в поезде была обстрелянная часть, все было бы по-другому. С поездом ехали два пулеметчика, и, если бы они не растерялись, а самолеты шли очень низко, они вполне могли бы их сбить. Самолеты стреляли даже не по поезду, а по кустам. Но это была необстрелянная часть, они впервые ехали на фронт, и погибло много людей.

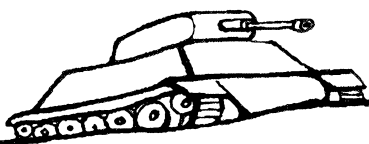
Был у нас на батарее тракторист Семен Волков. Он таскал орудия на своем «ЧТЗ». Звал он свой трактор дружкой. Он говорил всегда: «Меня дружок спасет». Когда начиналась бомбежка, он сразу нырял под колеса своего трактора и там переживал ее. Гусеницы не давали пролететь осколкам. Однажды трактор сильно разбило осколками, но Семен его

восстановил. Когда кончилась война и мы поехали домой, Семен очень сожалел, что нельзя взять с собой трактор и пахать на нем.

Детей в войну мы видели очень редко. Только когда отступали, видели много беженцев. А вот женщин в землянках встречали часто. Они жили там, вещи кое-какие с сожженной деревни приносили и жили. Мы помогали им чем могли. Часто приходилось видеть, как эти женщины на себе пашут. Вот было в Польше. Всем частям уже после войны дали задание убирать хлеб. На уборку ставили немцев. А мы немецкий знали очень плохо. И была в одной польской деревне девочка лет девяти. Она прекрасно говорила по-русски, по-польски и по-немецки. Командование возило ее с собой, и она работала как переводчик.

Все было как в тумане. Все четыре года получаешь какое-нибудь задание и выполняешь его. А когда бывает свободное время, нужно и за машиной посмотреть. Конечно же, мы все были большими друзьями. Попробуй-ка пожить с одними людьми столько, переносить все тяготы и неудачи. Все старались как-то поддержать один другого, помочь, особенно когда приходило пополнение. Новые солдаты, они необстрелянные и не знают всего. По восемнадцать лет парням. Если его не поддержать, он погибнет в первом же бою.

Был у нас и такой случай. Отступали мы от Ржева. Машин тогда было мало. Выходили из окружения. Были у нас в дивизионе три местных парня. И вот двое из них сбежали домой. А третий, ихний сосед, из той же деревни, остался. На вопросы он отвечал, что про побег ничего не знал. Потом, когда мы пошли по этому же месту, но уже с наступлением, этот парень, его фамилия была Косарев, стал проситься у командования сходить домой, узнать, как живут родные. Ведь недалеко, рядом, считай. Взял автомат, так как это была прифронтовая полоса, и пошел. Жена его вне себя была, что он жив. Эти два парня, что тогда сбежали, сказали ей, что Косарев убит. Сами же они сразу поступили в полицию, а ее выгнали из дома, отобрали корову. Жила она в землянке. И тогда этот парень, Косарев, поклялся их убить, когда вернется. И клятву выполнил.



Глава 5. Женщины на фронте

«Я танцевать очень любила»

Плавинская Алевтина Геннадьевна, 1914 год,
село Вятские Поляны, фельдшер

А иной раз притащат «языка» немца или японца раненого — это уже на Дальнем Востоке, он лежит связанный, солдаты его охраняют, а он как зверь готов вырваться и даже кусается — а помощь оказываешь. Куда денешься? Бывало, что при разминировании подрывались наши солдатики. Приходилось тогда собирать куски...

Жить приходилось и в окопах, и в землянках, и в палатках. Но чаще в землянках. Там в лучшем случае был топчан, наскоро сколоченный, ставился столик из досок, где размещали все медикаменты. Были приспособлены ящики, чурбаны — все, что было можно достать. И все это в зависимости от обстановки.

Был, помню, такой страшный случай. Однажды после боя, на поле, где лежали убитые, мне показалось, что один солдат пошевелился, вроде как живой — а это ветер трепал его шинель. Но я-то не знала! Я бросилась бежать к нему, чтобы оказать ему помощь, но, добежав, поняла, что он мертв. И в это время вдруг крик: «Мины! Мины!» Только через несколько секунд до меня дошло, что я стою на минном поле. Удивилась, как это я не подорвалась, пока бежала до солдата. Но что было теперь делать? Я зажмурила глаза и бросилась бежать наугад. И очнулась только тогда, когда запнулась за деревянный мостик, упала, коленку ушибла, открыла глаза и поняла, что я жива. Генерал ужасно ругался: «Почему не поставили указатель “Мины“?» Капитан нашей роты думал, что тропка, по которой я шла, не является особо опасной. И когда пошел по моим следам, подорвался на первой же mine. Он потерял обе ноги.

Самое радостное событие — день Победы. Это было истинное ликование всех родов войск. Как давно это было, пятьде-

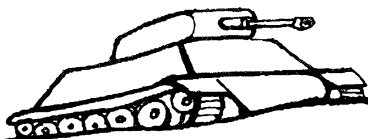
сят лет назад, а помню как будто вчера все случилось. Вот как ждали Победу! Солдаты салютовали из личного оружия без команды. Все кричали, целовались. Кто-то спирту приташил...

После 2 мая, как произошла капитуляция в Берлине, у нас на Курляндских высотах еще продолжались бои. Но уже чувствовали, что все. Утром 9 мая в четыре часа утра, когда все спали, раздался крик радости «Победа! Победа! Капитулировали!» Мы не поверили, а он, наш радист, со слезами на глазах тормозил нас и продолжал кричать. Мы поехали навстречу нашему штабу. Здесь встретили командира бригады.

С радости нарушаем все законы армии и кричим «Победа!» Тогда призвали нас к порядку, сделав замечание. Доложили командиру: «Перехвачена радиограмма о капитуляции». И был получен приказ поехать в немецкий штаб на приемку минных полей. Поехали две машины офицеров и охраны. Видели капитулирующих немцев. Они сидели в лесу по обочинам дороги без оружия, улыбались, бросали оружие. Но один немецкий офицер выстрелил в упор в грудь нашему капитану и только тогда бросил пистолет и пошел в лес. Далеко не ушел, конечно.

Много всего было. Или вот смешной случай. Когда с боями шли по Маньчжурии, мы особенно боялись подземных гарнизонов Квантунской армии. В одну из ночей остановились в сопках на ночлег. Вдруг в полной тишине раздался душераздирающий крик: «Помогите, помогите!» Охранение начало стрельбу в окрестные заросли. Так, в белый свет, как в копеечку. После установили, что крик раздавался из машины, где спал шофер командующего. Когда к нему подбежали, он все еще продолжал кричать. Оказалось, он увидел во сне нападение японцев.

Отдыхали в период формирования воинских частей. Любили тогда с солдатами петь русские и советские песни. Иногда удавалось и поплясать. На длительном отдыхе участвовали в самодеятельности: играли в драмкружке, читали стихи. Удалось услышать и увидеть ансамбль Александрова. И сама пела, даже пришлось побывать в Москве в 1942 году на смотре художественной самодеятельности как участнице. Премирована была за выступление там отрезом материала на костюм.



Самое большое мое желание в годы войны было, конечно, победа. Ну и вернуться домой и попасть на балет «Лебединое озеро». Я танцевать очень любила.

«Девчата все были крепкие»

Березина Лидия Ивановна, 1922 год,
дер. Гребенки, радист, бухгалтер

В 1941 году закончила десять классов Верхошижемской Средней школы. Только сдали экзамены, и каждый мечтал о своей будущей жизни. Меньше чем неделю до войны жила дома. Только прошел выпускной. 22 июня сидела учила физику, готовилась к поступлению в медицинский институт. Отец пришел домой белый как бумага с газетой в руках. Все люди в этот день были как на похоронах.

Я первое время работала продавцом; жила-то ведь с неродной матерью, и отец тяжело болел. Ушла бы в армию сразу, кабы не заболела сыпным тифом. Болела долго и тяжело, а как немного поокрепла, подала заявление в армию. Ну и пошла. Это было в ноябре 1942 года. На сборном пункте построили нас в колонну и пешим ходом направили в Оричи. Вещи везли на четырех подводах. Уже в Оричах увидели первых раненых. К нам в Кировскую область эвакуировали за годы войны очень много раненых. Одни кричали: «Сестрица! Сестрица!», другие молчали, третьи были в бессознательном состоянии. Все это было для нас необычно и страшно.

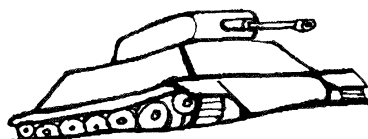
Нам в вокзале выдали по куску черного хлеба, посадили на товарный состав, на уголь — и так везли до Котельнича. Привезли ночью на сборный пункт, а утром нас отправили в сторону Москвы. Когда подъехали к Москве, увидели первые разрушения, на окнах были наклеены крест-накрест бумажки. Потом нас направили дальше в сторону Серпухова. Тогда мы и узнали, что в Серпухове немцы. Видели здесь большую немецкую пушку, которая стреляла по Москве. Через несколько дней нас обмундировали, потом дали молотки, гвозди, и, мы, девчонки, колотили себе нары.

Начали готовить нас к боевым действиям: учили ползать по-пластунски, выполнять четко приказы командиров. Летом 1943 года был сформирован женский полк, правда, его что-то быстро потом расформировали. Меня послали учиться в школу радистов на радиотелеграфиста-слухача, и уже в январе 1944 года отправили на 3-й Белорусский фронт в составе отдельного радиодивизиона спецназначения. Один лишь командир мужчина, а все остальные были девчонки. Вот потеха! Мы над ним подсмеивались, а он только краснел.

Перед отправлением выдали нам сапоги самого большого размера и такие же ботинки и валенки. Это, может, и было смешно, но мы не знали, куда их пристроить. Тут же и обмундировали нас. Мне не пришлось долго себе подбирать юбку. После тифа я совсем стала худая и была похожа на мальчишку. А вот девчонки из моего взвода были крепкие и никак не могли подобрать себе одежду. Кто-то назвал меня «мальчишка», и эта кличка была при мне до конца войны.

Посадили нас в вагон и повезли. Довезли до Смоленска, и мы не увидели нигде целого дома, а на многих полуразрушенных стенах стояли надписи: «Умрем, но не сдадимся! За Родину!» и другие. Нам ночевать было негде, и вот мы всю ночь ходили вокруг одной полуразрушенной стены, чтобы не застыть. Потом пешим ходом в направлении белорусской деревни Кузьминки.

А относились к нам настороженно. В первой деревне не пустили ночевать. Мы очень устали, так как все несли на себе. Командир спросил нас: «Сможете еще пять километров пройти?» Куда денешься? Знали, что нужен ночлег. В следующей деревне нас тоже не пускали. Тогда командир приказал «занять» деревню силой и распределил нас по четыре-пять человек по избам. Мы попали вчетвером в дом, где жили старик и две старухи. Они относились к нам даже враждебно, так как наши войска отступали. Бросили мы в изголовье сумки противогазные, укрылись шинелями и под ругань хозяев уснули. Правда, так было не во всех домах. Некоторых девчат даже накормили как и чем могли, дали немного картошки; а нас даже к столу не позвали.



Много всего было во время войны. Например, когда стояли в Серпухове, один командир взвода все выслуживался перед начальством и все заставлял нас выполнять команды бегом. Идол чертов! Придумал как-то, чтобы мы пели на строевой, а мы отказались, а кто-то даже сказал: «Сам пой!» А он закричал на нас и приказал лечь, команду такую подал, но мы это не сделали. Да тут еще время к обеду подошло и надо было идти в столовую. Пригрозив, он сказал, что если бы не обед, то он все равно заставил бы нас лечь. Но все-таки наша взяла. Очень мы невзлюбили этого командира за его заносчивость.

Тяжело было в войну, много было погибших, много разрушений, много слез. Вот помню еще. У одной женщины ушел на фронт муж, и она осталась на руках с маленьким мальчиком. Мальчик однажды заболел и умер. А потом получила похоронку на мужа. Тогда она пошла в армию и попала к нам во взвод. Никто не знал, что она получила похоронку, она скрывала это почему-то. Тогда и случилась беда. В один из дней, когда мы занимались на стрельбище, она вызвалась идти в окоп, где нужно было шевелить мишенью, двигать ее. Мы же пошли стрелять. Командир знаком показывал ей, когда надо двигать мишень. И вот вдруг по знаку мишень не двинулась с места. Что случилось? Мы побежали туда, а она была уже мертва. Пуля попала точно в середину лба. Уже потом, позднее нашли похоронку и поняли смерть этой женщины. Не захотела она жить.

Страшно было во время войны. Когда мы попали под первую бомбежку, помню, сбились в кучу, закричали. Наша взводная хотя и успокаивала нас, но мы все равно ничего не понимали в этом гвалте, да она и сама была напугана не меньше. Всю войну я прослужила радисткой. Перехватывала немецкие передачи, подавала команды на пеленгаторы и «забойные» рации.

Но на войне нужно было быть еще и осторожным. Когда шли мы к Литве, то к нам часто стал приходиться какой-то человек и все интересно рассказывал о тех местах; а потом случайно выяснилось, что это был шпион, который следил за нашей частью. Выяснилось также, что в эфир стала выходить какая-то рация и в одно и то же время. Тогда командир

приказал запеленговать рацию, и когда это было сказано, то оказалось, что сигналы идут из одного дома, из-под разрушенной печи. И когда мы пришли туда, то нашли плиту под печью, подняли ее и увидели радиста. Он был задержан.

Так вот всю войну передвигались. И это было ежедневно. Нигде мы не задерживались дольше, чем на три дня. И кончила я воевать в Кенигсберге, и тогда нашей части присвоили еще орден, какой — уже и не вспомню.

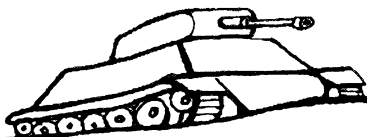
Как-то стояла я на посту ночью весной 1945 года. А сапоги дырявые, и вода хлюпает под ногами. Стоять холодно. Вот я и ходила, ходила, и попал мне какой-то бугорок под ноги, и я встала на него и стояла почти досветла. А потом вдруг увидела, что стою не на каком-то бугорке, а на трупе. Видимо, занесло его снегом и не захоронили его. И ведь целую ночь стояла и не знала, что стою на человеке, хотя уже не живом.

«Мне было 19 лет»

Скорнякова Валентина Прокопьевна, 1922 год,
село Суна, крестьянка

Мне было девятнадцать лет в 1942 году. Пошла добровольцем на фронт. Отец увез меня до Кирова на лошади. Поездку вернули, потому что она была маленькая ростом. Везли нас на поезде в Мурманск, который мы должны были защищать. Однажды поезд остановился, подали команду выстраиваться возле вагонов на платформе. Только выстроились, поезд пошел, запрыгнули обратно немногие. В вагонах остались вещевые мешки. Четверо суток были все голодные, хотели уже вернуться назад, но на станцию привезли обед. Лейтенант за нас очень переживал, он сказал: «Не ешьте досыта!»

Затем нас посадили в эшелон, груженный трубами, натолкали до того, что негде пошевелиться. Привезли, начали садить на катер, переезжали течение Гольфстрим, и вдруг налетели немецкие бомбардировщики. Закричали: «В убежище!» Конечно, было очень страшно, многие плакали. Кончилась бомбежка, и нас перевезли на другой берег. Кругом сопки, горы. Мы были в шестидесяти километрах от



передовой. Я служила в зенитной артиллерии. Приходилось нам жить в землянке. Когда день, два, три сидели голодные, потому что не доставляли продуктов. Картошку в основном привозили сушеную. Ели не досыта, все впроголодь.

По четыре-пять месяцев не ходили в баню. Однажды, когда наконец-то устроили баню и стали мыться, начали нас бомбить немецкие самолеты. Спасались кто как смог. Одни уже вымылись, а другие только голову намыливали. Было очень шумно. После бомбежки капитан дал бумагу, все писали письма родным. Он спросил: «Нужна ли гармошка?» Конечно, было не до гармошки, когда увидели воронки величиной с дом. Наши снаряды весом по пятнадцать килограммов от зениток летели за десять километров. Во время боя от шума уши затыкали ватой. Мы не спали несколько суток. Прямо глаза покраснели. Только немного присунешься, задремлешь, опять бомбят. Снова к оружию. Все перенесла: голод и холод. Последнее время дома меня уже не считали живой. Пришла я домой 2 августа. Моя мать сидела у соседей, ела ягоды, говорят ей: «Валя приехала в военной форме!» От радости мать не смогла встать; шарит руками по стене. Отец был на дворе, за ним послали ребят.

«Бой под Смоленском»

Шубина Агафья Васильевна, 1913 год,
шофер

В 1942 году взяли меня в армию, вместе с автомашиной, которую довела через всю войну обратно до Кирова. В начале воевала на Западном фронте, 1943–1944 годы, потом на Ленинградском фронте, с 15 мая 1944 года по 5 августа 1944 года, а с 5 августа 1944 года по 9 июня 1945 года на 2-м Украинском фронте.

Прошла с боями Выборг, Смоленск, Вязьму, Витебск, Молдавию, Бухарест, Брно, Мадьяровар, Корнейбург, Будапешт, Вену. За освобождение всех этих городов имею семнадцать благодарностей, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

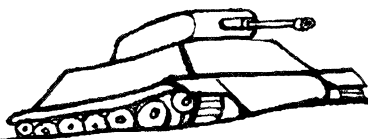
Подвозила горючее и мины к передовой линии. Мой первый бой был под Вязьмой. Наши части прорвали оборону противника. Я все время сновала в тыл — на передовую. Трое суток была без сна и отдыха, не до этого было. Шли очень страшные бои. Когда немного приутихло, легла отдохнуть в палатку под березой. А совсем рядом находилась армейская кухня. Ее-то дым и заметил пролетающий мимо гитлеровский самолет. Он снизился и стал обстреливать. Очередью срезало вершину дерева, под которым стояла моя палатка. А я чудом осталась жива тогда. Много было тяжелых, кровопролитных боев. Но война есть война.

Моим самым памятным боем был бой под Смоленском. Дело было так. Наши автомашины находились на отдыхе: двадцать два «студебеккера», санитарная машина и моя ГАЗ-АА. Я поставила грузовик в сторонку, к кузнице. А остальные были вместе, у скирд с хлебом. Все шоферы спали в сарае, а я в кабине машины. Все было хорошо, спокойно. Но вдруг неожиданно налетели два немецких самолета и начали бомбежку. Я проснулась от взрыва бомб. Земля тряслась. Еще не успев ничего сообразить, я машинально нажала на стартер и без памяти спустилась с горы к переправе. Потом выскочила из кабины и залегла в яме. Все двадцать три машины сгорели, сорок два бойца погибли. Остались в живых я и шофер с санитарной машины. Мы собрали кости наших товарищей и похоронили в двух могилах. Эта жуткая картина после бомбежки постоянно стоит у меня перед глазами. До сих пор не могу ее забыть!

«Всем хотелось жить, любить»

Ичетовкина Наталья Ильинична, 1922 год,
пос. Афанасьево, учительница

Весь сорок первый год проработала в школе, а в сорок втором году по зову комсомола подала заявление, чтобы меня отправили на фронт. Родителям ничего не сказала,



так как очень они меня не хотели отпускать. Но дело сделано, и пришла повестка собираться. Два месяца мы учились в Нагорске, а потом нас отправили в Москву. Служила я в противовоздушной обороне. Вначале было очень трудно. В группе у нас был один мужчина и семь девочек. Главная наша задача была — вовремя заметить противника, передать по радию, определить его ориентиры, высоту полета. Все время практически было занято, ни одной свободной минуты не было. Сначала стояли на посту, а потом еще у телефона. У каждого самолета была своя кодировка.

В удавшуюся свободную минутку читали книги, писали письма домой, но больше всего хотелось спать. Намаешься на посту, так ничего больше и не надо. Дисциплина у нас была очень строгая, нас учили быть бдительными. С местными жителями тесной связи не имели, так как мало ли среди них какие люди есть. Были у нас частые проверки и очень сильные. Однажды медсестра задремала на посту, так ее после этого полгода «трясли». Строго, очень строго было и тяжело, конечно, мы же все были очень молоды, а первое время еще и неопытны. На посту приходилось стоять в любую погоду: в холод и в зной. На семь человек была одна пара валенок, и вот в сорокаградусный мороз приходилось в сапогах стоять. Намотаешь побольше портянок — и стоишь, а придешь с поста — портянки невозможно отодрать от сапог.

Были, конечно, и жертвы. Много девочек погибло от шальных снарядов. Их, конечно, очень жаль. Ведь все были молодые, все хотели жить, любить.

«Наши были крепче»

Зрюмова Дарья Владимировна, 1916 год,
дер. Швариха, крестьянка

В 1942 году был вновь призыв. А кто пойдет? Мужиков-то нет. Тогда пошли мы, девчата. Две мы были с нашего-то колхоза. Мне уже тогда стукнуло двадцать шесть. Обе

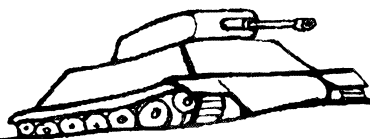
мы попали на один бронепоезд-разведчик. Тогда я вообще впервые попала на железную дорогу. Воевали на юге, потом в Латвии, в Литве. Ну, воевали, как все. Никаких особых подвигов не совершали. Наш бронепоезд бросали либо вперед, либо на подмогу нашим. Перед каждым броском, походом прощались с девушками, как навсегда. Много друг я потеряла. Мне же ничего не делалось. Праздников мы на фронте не отмечали. Не было ни выходных, ни отпусков. Об отдыхе даже и не думали, хотя спать хотелось ежеминутно.

Было, правда, у нас однажды что-то навроде отдыха. Восемь месяцев стояли мы в Шауляе, ни разу не выстрелили, ни одного немца не видели. Зачем стояли, почему наш бронепоезд оказался ненужным? Не знаю. Я ведь была лишь рядовым солдатом.

Вспоминаю часто День Победы. Пятьдесят лет уж прошло... В тот день я дежурила на вышке. Не могла никак связаться с телефоном в дежурке. Звоню, звоню, никто не отвечает. А позднее оказалось, что радист и телефонистка оба уснули. Ну, я спустилась в дежурку, связи-то нет, разбудила спящих. И в тот момент как раз вышел дежурный лейтенант. Здорово мне попало за то, что сбежала с поста.

Ну, я опять на вышку. Смотрю, через некоторое время там внизу наши все выбежали, «ура» кричат, «победа!». Потом пели, плясали, плакали. Вернулась в колхоз. Беднота, разорение. До пятьдесят третьего года мы ели одну траву. А в пятьдесят третьем году впервые за военные и послевоенные годы стали есть хлеб, настоящий. Стали выращивать картошку. Клубней для посадки, конечно, не было. Но мы брали ростки от колхозной, садили их. А потом была уже и своя.

Хочу рассказать о людях. Раньше люди были намного лучше нынешних. В больницу мы не ходили. Поля были с маком. Но никто и не думал о каком-то наркоманстве. Сейчас молодежь просто не знает, куда деть себя. А слабы-то нынешние! Наши были крепче, хоть и необразованные совсем. Вот так и жили после войны. Неплохо, я считаю!



Глава 6. Госпиталь

«Русские не отступали»

Зыков Алексей Константинович, 1903 год,
дер. Безводное, плотник

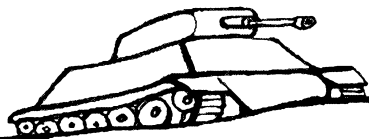
Помню голодный 1921 год. Старший брат мой работал с отцом в поле, а я подался в соседнюю слободу Кукарку, лишь бы прокормиться. Ух и хреново было! Дошел до первых домов и стал спрашивать, не надо ли кому работника. Тут показали, где живут два старика, работать не могут. Пришел я к ним, спрашиваю, не надо ли работника. Старики даже обрадовались, надо, говорят, надо. И стал я у них работать, что заставят. Кормили меня досыта, я и рад был тому. Ну ладно. На Троицу отпросился домой. Они меня отпустили и дали на дорогу хлеба. Шел я пешком по малым дорогам, чтобы скоротать путь. Прошел мимо Обуховской коммуну, зашел в село Липово. Там была мельница. Зашел отдохнуть. Начальник спросил: «Откуда ты, парень, и куда идешь?» Я все рассказал о себе. Начальник и говорит: «Иди к нам работать! Здесь хоть немного, но платят». Побыл я дома и снова пошел в Кукарку. Надо же было хозяевам-старикам сказать, что буду работать в другом месте. Пришел в Липово и стал работать. Работа была тяжелая: надо было таскать мешки с зерном наверх, вешать на весах, чтобы было ровно четыре пуда. А потом их в амбар тащить. На мельнице были выходные дни по воскресеньям. В первое воскресенье начальник дал большой каравай хлеба. Вот было радости! Такой каравай большущий принес домой. В следующие выходные давали немного муки. Была сила, и я работал со старанием. Но только боком вышло старание. Пришло время идти в армию, и меня не взяли. Ах ты, едрить твою! Ноги так надсадил, что солдата из меня не вышло.

Пошли с отцом плотничать по деревням. Где ремонт сделаем, кому баню поставим, кому дом. Потом подался в город Яранск и устроился плотником в промкомбинат. Там до вой-

ны и работал. Семью перевез, купили маленький дом. Обрабатывали огород, жена работала, дети подрастали. Все вроде ничего. Но тут началась война. Меня призвали на фронт, на ноги не больно поглядели. Попал я на Ленинградский фронт. Наша часть стояла около Медвежьей горы. Так называлась гора там, покрытая лесом.

Бои шли день и ночь. Самолеты сверху бомбили, били снаряды спереди и слева. Осколком меня ранило в ногу и в грудь. Меня оттащили в санчасть неподалеку. Положили с краю. А там раненых лежало человек 200. А может, больше. Кто стонет, кто плачет, а кто уж умер. Вскоре подошла крытая машина, стали грузить раненых. Меня тоже положили в машину. Шофер сказал, чтобы все лежали и терпели, дорога будет трудная, немцы бомбят дорогу. Только выехали на большак, появился самолет. Шофер то в сторону свернет, то остановится, то на скорости рванет. Кругом снаряды, а нас пронесло. Ну елки-палки! Доехали до какой-то санчасти на железной дороге, там какая-то станция. Погрузили нас в вагоны и повезли в Петрозаводск. Там в госпитале мне делали операции, вынимали осколки. Помню боль дикую, аж спирт не помогал. На ногу положили какую-то резиновую штуку, чтобы кость не шевелилась.

Так пролежал месяц. Спать было невозможно — так сильно болела нога. А когда эту резину сняли, врач сказал, что все равно дело никуда, придется ногу отрезать. Я заплакал, что ж, думаю, за жизнь такая. Не замогу ведь работать на одной-то ноге. Рядом сосед ходил на перевязку. Пришел и спрашивает: «О чем, Алексей, плачешь?» Я рассказал о своем горе. Сосед говорит: «Погоди, я тебя полечу по-своему». Сходил на кухню, принес большую печеную луковицу и стал ее слоями разделять и накладывать на больное место. А потом туго забинтовал так, что сок через марлю выступил. Часа через полтора боль прекратилась, и я уснул. Проспал тринадцать часов. И веришь ли, на поправку пошло. Я на мужика молиться готов. Вскоре меня выписали из госпиталя. Рад был, что возвращаюсь домой. В госпитале встретился с парнем, который тоже был в санчасти у Медвежьей горы, где и я. Разговорились. Этот парень сказал, что



вскоре после ухода машины к полевому госпиталю подошли немцы. Кто мог, убежал, а кто не мог убежать — немцы всех прирезали.

Поехал я домой, а нога раненая зябнет — терпенья нет. Ну деньги у меня были. Тут же, в вагоне, купил у одного солдата шинель, тому недалеко было ехать, да двое отдали худые фуфайки. Закутали меня, и так я доехал до дому. Первое время был на группе. Потом с группы сняли, и я снова пошел работать в промкомбинат и работал там до пенсии.

«Они боялись своих увечий»

Шаклеина Антонина Павловна, 1925 год,
село Суна, медсестра

Зимой 1942 года пришла похоронка на отца. Она изменила мою жизнь. Мне хотелось отомстить за отца, за всех своих земляков, и я подала заявление в военкомат. Тогда мне было шестнадцать лет, и такую маленькую, хрупкую меня сначала не хотели брать на фронт. Но вот все-таки пришла повестка. Было 22 августа 1942 года. Мне хорошо запомнился день отправки на фронт. Лил дождь, на нашем маленьком вокзальчике собралось много провожающих. Мама рыдала, прижимаясь к моему плечу. А я была отчаянной молоденькой девчонкой, и мне хотелось быть там, где рвутся бомбы, где сражаются люди, чтобы быть хоть чуточку полезной им. Ехали долго. И везде видели разрушенные дома, полураздетых, голодных людей.

Привезли нас на Карельский фронт и там распределили кого куда. Меня отправили в госпиталь, в лес, в прифронтовую зону. Условий, конечно, не было никаких. Часть раненых лежали в деревянном полуразрушенном домике, часть в специально вырытых землянках.

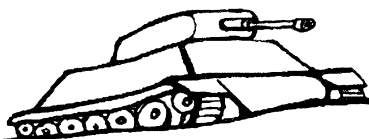
Всю войну моя фронтовая судьба была связана с этим госпиталем. Образования у меня специального не было, как и у многих других медсестер, работавших со мной. Учились всему прямо здесь, на месте. Многое сразу не получалось.

Страшно было делать уколы, перевязывать обнаженное до костей тело. Но навыки пришли очень быстро, ведь все это было нашей повседневной работой. Страшно вспомнить, сколько бессонных ночей пришлось провести у постели раненых, которые кричали, плакали, корчились от боли. Чем могли мы им помочь, шестнадцатилетние, восемнадцатилетние девчонки? Заботой, лаской, теплом, вниманием... Мужчины и молодые парни, здесь они, как и все больные, становились детьми, которым так нужно все это.

Иногда выдается свободная минута, вроде бы хочется вздремнуть, но я шла к раненым, у кого просто посижу, кого-то успокою, кому напишу письмо. Было действительно тяжело. Часто приходилось переносить, переключивать раненых, которые весили много больше меня, перевязывать что-то обгоревшее, уже не похожее на человеческое тело, подносить судна, подмывать обессилевших парней, обрабатывать пролежни, дежурить ночью у кого-нибудь из тяжелых. Тяжелее всего было смотреть на мучения людей. За каждого раненого я переживала как за родного, близкого мне человека. И как ныло сердце, когда совсем еще молодые парни умирали...

В 1945 году наш госпиталь переехал под Вену. Помню, как мы подъезжали к станции: у полотна железной дороги валялись опухшие от голода, умирающие люди. Наш госпиталь разместился в одноэтажном здании школы. Мест на всех не хватало, и часть раненых разместили на полу. И пациенты и медперсонал голодали. Пайки, которые выдавали, еще больше обостряли чувство голода. Были случаи, когда раненые, находя продукты, объедались и умирали от этого. Мы лечили также пленных немцев. Трудно это было делать. В душе была ненависть, чувство мести за погибшего отца. Как знать, может быть, передо мной именно тот фашист, который убил его. Но я боролась с этим чувством. Внушала себе, что передо мной прежде всего человек, которому плохо и нужна моя помощь.

Потом переехали в Румынию. Были всякие провокации, даже нападение на наш госпиталь. Но у нас был военный патруль, и мы сумели отбиться. После мая 1946 года наш



госпиталь стал кожно-венерической больницей и работал в Румынии до 1952 года. В 1952 году я была демобилизована и выехала на родину.

«Страшно быть на войне»

Степанова Маргарита Семеновна, 1922 год,
г. Нолинск, медсестра

Окончила я курсы военно-полевых хирургических сестер и попала на фронт. Мы, молодые медсестры, многого еще не знали, не умели, но на фронте были очень хорошие товарищи. Нам помогали и сами бойцы. Я не умела делать внутривенные вливания, так раненые давали свои руки мне, неопытной молодой девчонке, и говорили: «Сестра, учись, потом нам поможешь». Переливание крови очень помогало заживлению ран. И я научилась. А когда научилась, послали меня в самую заразную палату — гангренозную, столбнячную. Там надо было брать из позвоночника спинномозговую жидкость, вводить сыворотку, делать иссечение ран, обкалывание, а я мечтала еще после десятого класса стать врачом. И всему научилась.

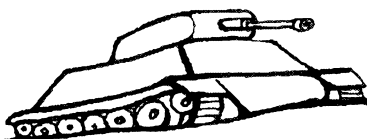
Помню, под Ленинградом я служила в сортировочном эвакуационном пункте (СЭП). Бои были страшные, бомбили и день и ночь. Раненые бойцы поступали ежеминутно. Позвали меня перевязывать. Не могу, и сейчас не могу вспомнить! С замиранием сердца подошла впервые я к раненому. У него завязана вся нижняя половина лица, а все повязки ссохлись, скоробились. Мне дали ножницы и сказали: «Снимите повязку». Разбинтовать было нельзя, и я разрешила ножницами. Раненый, мальчишка еще, наверное, ровесник мой, так умоляюще смотрел на меня, а я ему говорю: «Не бойся, милый, я буду тихонечко, больно тебе не сделаю», — он и глазами заулыбался. А я только стала отворачивать, ну там была как корка ссохшаяся марля. И испугалась: верхняя губа, и нос, и язык есть, а нет зубов, и нижней челюсти нет, и ползают, ой, как много червей, белые такие, толстые. Больше

я ничего не помню. Видимо, мне стало плохо, так как я очнулась на стуле. А потом все прошло, я уже ничего не боялась после этого случая.

А еще я помню, как я плакала первый раз; я медсестра — и плакала. Послали меня с фельдшером на сорока машинах под Старую Руссу. На фронт мы везли лошадей, прессованное сено и еще что-то, чего сами не знали. Приказ есть приказ. Подъехали к фанерному заводу, там нас разгрузили. Мой начальник, фельдшер, куда-то ушел, а нам надо было принимать раненых, грузить их в машины. Вот я ищу своего фельдшера, а тут на волокуше привезли как раз раненого дядечку, плачет. Я подхожу, а он и говорит: «Доченька, у меня ноги озябли, прикрой их». Я открываю шинель и, ужас, вижу — у него нет обеих ног; одной до колена, другой чуть ниже колена, а он плачет: «Доченька, прикрой, а то пальцы замерзли». Я укутала ему обрубки ног, а сама за угол дома спряталась и там заревела. Как же так, ног нет, а у него пальцы замерзли!

Но война есть война. Санитары погрузили наши сорок машин раненых, а моего фельдшера нет. Ну нет и нет, куда делся? Бомбят, раненые стонут. Я думаю: чего ждать? Сколько людей потерять можем. И тогда я одна на сорок машин — поехали обратно в тыл. Хорошо, что были и легко раненые, они помогали. Всю ночь мы ехали, нас бомбили, но все же через воронки, через все препятствия наша колонна благополучно добралась до города. Господи, добралась-то добралась, а там все госпитали переполнены, нигде нет мест. Что делать? Уже не помню сейчас как, остановились у одной школы. Говорю: «Разгружайтесь!» Кто мог, сам сползал, кто не мог, товарищи помогали. В общем, машины мы освободили, так как нам их дали только для эвакуации, а я по долгу службы опять явилась во фронтовой эвакуационный пункт доложить, что задание выполнено.

Что я видела, что испытала? Сколько всего — кровь, страдания. Но я не падала духом, знала, что мы все равно победим. А однажды мы были замаскированы в поезде, который перевозил раненых. Поезд стоял в тупике, дальше железнодорожной линии не было. Мы погрузили раненых, и вдруг



начинается налет, тридцать — сорок немецких самолетов начинают нас бомбить.

Конечно, бомбили они не наш эшелон, а склады, которые находились поблизости. Но раненые боялись, что попадет и в поезд. Все выползали из вагонов и кто как мог прятались, спасались. Я была дежурной по санслужбе. Сейчас как-то странно вспоминать, но я материлась, орала на всех: да куда же вы, куда? А они в рваных кальсонах, белых рубахах лезли из вагонов и ползли в кусты. Видно было эти рубахи за километр. Самолеты делали один заход за другим. Стреляли по людям. Правда, неподалеку были блиндажи. Тяжелораненых после отбоя тревоги мы перенесли в блиндажи, а потом ходили вокруг, собирали тех, кто сами вылезали из вагонов. Ужасно вспоминать!

Один боец был ранен в руку, а ему осколком отсекло еще и ногу. Орет в кустах: «Сестра, помоги!» Конечно, я первым делом наложила жгут. Он кричит: «Ой, я умру!» А я ему: «Не умрешь!» А сама, вот не вру, пою ему, чтобы отвлечь: «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его!» Это из кинофильма довоенного, там Любовь Орлова играла.

«Контуженные по-страшному кричали»

Касаткина Анна Матвеевна, 1912 год,
г. Вятка, рабочая

Работала в войну санитаркой в эвакогоспитале. Ведь у меня чистого трудового стажа сорок шесть лет, да, смотри, ведь шесть детей. В войну-то голодали больно. На рынке булочка — сто грамм хлеба да пятнадцать грамм жира стоили десять рублей. А зарплата была 225 рублей. Кровь сдавала за карточку, давали за 300 грамм крови по госценам 800 грамм хлеба, 300 грамм сахара да 300 грамм колбасы. А госцены были такие: масло — около 2 рублей, сахар 45 копеек, колбаса 2 рубля 85 копеек за один килограмм. Так ведь семья-то была... Не хватало. Еще подрабатывала, по ночам шила тапочки, продавала их на рынке, покупала продукты.

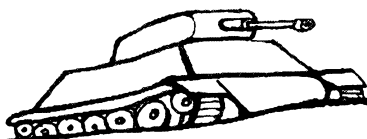
Все равно не хватало, жили впроголодь. А работала день и ночь. Часто ночью вызывали разгружать эшелоны с ранеными. Носили их на ремнях. Почему-то всегда эшелоны эти приходили ночью. Помню одного раненого, он подорвался на mine, нога была сильно изуродована, и половые органы висели на одних жилках. Так он все до операции спрашивал доктора Жилина: «Как же мне быть? У меня семья, жена». Доктор отвечал: «Ничего, парень, все пришью». И пришел. И еще один раненый был, Алексеев, сильно контуженный, так два с половиной года пролежал на койке. Не мог шевелить ни рукой, ни ногой. Многие тяжелораненые лежали на вытяжках месяцами. На первом этаже были тяжелораненые типа Алексеева, нетранспортабельные. Выживали мало. На втором этаже перевязочная, процедурная. На третьем и четвертом этаже раненые с легкими и средними ранениями. Это был первый корпус.

Второй корпус был специально предназначен для контуженых. У некоторых контуженых случались припадки, и тогда поваров и диетсестер звали на помощь. Медсестер было мало, а контуженые кричали и бились с огромной силой. Иногда это хорошо кончалось, немые начинали говорить, правда, сначала заикаясь.

Горюшка много хлебнула. В 1943 году умерла 21-летняя сестра Аня от болезни сердца. Не было лекарств. Знакомая медсестра из морга сказала мне, что сердце Ани патологоанатомы взяли в музей. Оно было удивительной формы, как ссохшийся с кулачок кочан капусты. В 1944 году умер от голода отец мой, Матвей Иванович Бердников, на пятьдесят восьмом году жизни. Потерял он свои продовольственные карточки, а родным ничего не сказал. Утром пришел в котельную сменщик его, а он лежит без сознания на полу. Отправили его в больницу, положили там в коридоре на пол. Там и умер он, помощи-то ему не оказали.

Холод еще донимал. Дрова-то на рынке покупали пучочком. На ночь пучочка не хватало. А цена ему десять рублей. Спала на одной кровати с детьми, чтоб теплее было.

Боялась я очень мертвых. А раненые все умирали. А я сразу, как первый раненый у меня в палате умер, отказалась вез-



ти его в морг, сказала, что лучше дрова в лес пойду заготавливать. В столовой потом работала при госпитале. В четыре часа утром туда не шла — бежала. На улицах, бывало, умирающие лежали. Ну, человек шел вечером со смены (работали-то по двенадцати — шестнадцати часов), падал, а встать не мог. Подстывало ведь ночью-то, скользко — весной, осенью. Только поэтому много людей и ночевали у станков. До дому-то дойти сил не было. Помню, как молодая женщина кричала: «Ой, мамочка, миленькая! Помоги, умираю!» Вот утром и ехали повозки и отдирали окоченевшие трупы ото льда.

Да разные люди были. С Юрой моим (сыном) такой случай был зимой 1943 года. Получила я на него новые пальто, варежки и ботинки, одела все и отправила в детский сад. Вечером шел он домой, пять лет ему было. Недалеко у нас там. И остановила его молодая женщина лет тридцати и спросила: «Хочешь полные варежки, ботинки, шапку конфет?» Тот, ясное дело, ответил, что хочет. Она его посадила на пустую бочку из-под бензина, раздела и, пообещав скоро вернуться, ушла. Сидел он на бочке часа два, а зима. Шла какая-то пожилая женщина и спросила, чего он тут делает. Тот и сказал, что конфет в шапке ждет. Та выматерилась замысловато (вообще, так много в войну матерились все) и сказала: «Если б я ее встретила, задушила бы своими руками».

Привела она его в штанах и рубашке, босого и ушла. Юра от страха спрятался еще под крыльцо дома, домой не идет, боится. Просидел еще часа два под крыльцом, пока соседи не заметили. Привела я его домой, успокоила, дала ему рюмку водки и посадила на печку. И не заболел ведь после этого как-то.

А вообще народ в войну был дружнее. И врачи и сестры у нас все очень хорошие были. Хирург Жилин был веселый, жизнерадостный, частушки сам сочинял и пел. Вот например:

Если хочешь познакомиться,
Приходи на бугорок,
Приноси буханку хлеба
И картошки котелок.

Я на дежурство часто голодной приходила и кусок хлеба с собой приносила, а есть его стеснялась при раненых и врачах, вдруг подумают, что я из кухни стащила. Особенно боялась хирурга Басова, строгий такой мужчина был, высокий, черный. Однажды застал он меня. Я крошки хлеба ела. Испугалась я, давай их убирать. Он сначала подумал что плохое, но увидел, что хлеб-то с карточек моих, и выругал меня, зря, мол, стесняюсь есть хлеб на работе.

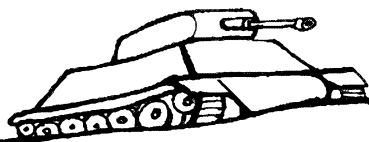
«Полевой госпиталь»

Лукина Вера Николаевна, 1923 год,
фельдшер

Все боялась, что не возьмут меня на войну, ростом не подойду. А пришла повестка, и сердце оборвалось: ну, Верка, и твой час пробил. Хозяйка, у которой я жила, испекла мне хлеба на дорогу, посадила в сани, повезла. В военкомате даже и не поняли сначала, зачем я тут. «Чего, — говорят, — тебе, девочка?» Потом военком спрашивает: «Хочешь на войну?» Я отвечаю: «Очень хочу, возьмите!» И началась моя военная молодость. Вот что бы сто раз подчеркнула: все время, пока была на фронте, поражалась мужеству наших солдат и офицеров. Никто ни разу, за исключением одного случая, не попросился в тыл на излечение. Наоборот, отказывались: «Еще, — говорят, — от части своей отстану».

Полевой госпиталь... Это почти все время рядом с передовой. Слышно даже, как строчит пулемет, земля вздрагивает от взрывов. А у меня шесть палаток, где мечутся в жару, стонут или лежат, умирая, 120 раненых. Когда шло наступление, о себе никто из нас не думал. Раненые поступали беспрерывно. Операционная в палатке как мастерская — шесть столов. За каждым — хирург. Еще двадцать лет после войны снились мне ампутированные руки, ноги.

За своими ранеными смотрела зорко. Делала уколы, перебинтовывала, успокаивала, дежурила у особо тяжелых, писа-



ла за них письма родным, плакала, когда они умирали, и снова находила силы, чтобы работать; облегчить боли, спасти. Бомбили нас жестоко. Для фашистов красный крест ничего не значил, расстреливали в упор. На Северо-Западном фронте, где-то рядом с нашим госпиталем, воевал мой отец Николай Ильич. Очень уж быстро письма шли. В короткую передышку между боями хотела отца разыскать, но не удалось.

«Счастье, что я жив»

Корзоватых Иван Григорьевич, 1922 год,
крестьянин

Выходили мы на окраину Сталинграда. Утром меня контузило. Отлежался я и снова пошел в атаку. Взяли передний край и пошли дальше. Тут-то снайпер меня и ранил в ногу, раздробив кость. Я потерял сознание. На эшелоне увезли, свалили меня в Саратове в госпиталь. В госпитале было очень плохо. Лежать пришлось на полу, и по двое на кровати лежали. Раненых поступало много, каждый день везли, а класть было некуда. Хотели меня самолетом перевезти после первой операции, так как я был тяжелым. Уложили в самолет многих, но для нас четверых не хватило места, и лететь нам не пришлось. И всего через каких-нибудь полчаса объявили, что самолет этот разбился... Этот день я никогда не забуду! Это счастье для меня, просто повезло, что я остался жив.

Самый тяжелый день в моей жизни — это, пожалуй, операция и после нее. После операции у меня было заражение крови, и профессор Иванов возился со мной три дня и три ночи. Разрезали мне на ноге двадцать сантиметров без всякого обезболивания. Толкали марлю в эту рану, чтобы оттекали выделения. Предложили отнять ногу, после чего через две-три недели — домой, но я не согласился. Как я домой без ноги поеду?

Что странного было в войну? В войну были тайные агенты. Сидишь с ними, разговариваешь... Если что-нибудь не

так скажешь, придут за тобой и увезут в машине «черный ворон». И все. Многих так увозили, и о них потом никто ничего не знал. В первые годы после войны, до пятидесятих годов, было еще хуже, чем в войну. Голодно. Нечего обуть, надеть: карточек не было. В усадьбах люди собирали пестики, сушили, мололи, перемешивали с хлебом и пекли. Чистый хлеб ели в колхозе две-три семьи. Многие умирали от голода.

«Запах от раненых — ужас»

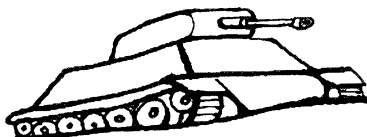
Окулова Елена Петровна, 1923 год,
дер. Лаптевы, медсестра

Сначала я была санитаркой в военно-санитарном поезде № 146, потом кончила годичные курсы медсестер прямо в поезде, работала медсестрой. А потом отстал у нас главный повар, поставили меня главным поваром, а я никогда не готовила, кроме как дома немного, думала, не справлюсь. А готовить надо было на 600 человек. Если бы только общий стол, а нужно было и челюстникам, и желудочникам, диеты все соблюдать. Котлы были на двадцать ведер, четыре котла, огромная плита, мясо тушами, масло ящиками. Людей, говорят, сколько надо, дадим, а что люди, они ведь раненые.

А потом меня перевели в перевязочную, делала перевязки со старшей медсестрой. Все давалось, на все ума хватало. Грузили паровоз дровами, мешки таскали, все делали. А потом после войны и воспитателем в детском садике работала, и кладовщиком, и завскладом отдела снабжения. Сейчас нигде не работаю.

Отдыха было мало. Но все же была хорошая самодеятельность. Концерты ставили, пели, стихи читали. Неделями ведь в поезде ехали, вот и приходилось.

А запах какой от раненых шел, ужас. Но все равно надо было всех приласкать. Отпускали нас на танцы, если приедем куда-нибудь, а там воинская часть стоит. Спать мало



приходилось, кое-как ноги таскали, а попробуй, усни на посту, всех строго проверяли.

Первый год было голодно, это Карельский фронт был, давали 360 граммов сухарей, картошка в сухом виде, размочишь, так две столовые ложки получалось, в суп крупы немного. Когда к фронту подъезжали, паек усиливался. А раненых хорошо кормили, тогда и мы были сыты. Какие консервы колбасные, всякая рыба, мясо, масло. Продукты получали сами все в ящиках и мешках, таскали на себе. Помню, под Архангельском стояли на разъезде, попросились хоть сходить грибов пособирать и ягоды. Кочки в лесу прямо бардовые стояли, все ягоды переспели. Мы вырвались на свободу, как в кинофильме «Зори здесь тихие», по лесу бегали, кричали, кричали, хорошо так.

Были и в Германии, поезд стоял, вышли, все разбито, вишня стоит, что черемуха, ягод под ней, бардовые до земли ветки. Поезд стоял мало, похватали ягоды, все давятся. Прибежали, друг на друга взглянули, мы все перемазались, руки все в вишне, мы все, как в крови.

А с ранеными ездили семь суток от фронта в тыл. Пока их везешь, ведь не всех разгружали сразу, в основном частями, какие-то госпитали берут только желудочников, какие-то челюстников, семь суток едешь — редкие сутки спать удавалось. У меня был вагон тяжелораненых — это 30 человек, ни один не вставал, не ходил, всем надо подать, накормить, перевернуть, утку дать, повязку поправить. К одному подойдешь, а там уже другой кричит.

Выручает тебя другой раненый, говорит: «Ты что кричишь, посмотри, сестра с ног валится, дай ей хоть поесть». Вот так семь суток. После разгрузки вагон мыли очень тщательно, с хлоркой. Иногда не хватало бинтов. Мы их замачивали в хлорке, страшные были, стирали, сушили, стерилизовали, снова бинтовали ими. За неделю так вымотаешься, света белого не видишь. Дадут сутки отоспаться. Потом уборка, а иногда не успевали, скорей белье заменяли и снова едем грузиться. Конечно, за четыре года очень усталось. Здоровья унесло много.

А нервы-то какие нужны были. Кровати были в три яруса, на верхней полке легкораненые, иной раз сестру-то

и костылемогреют, а что скажешь, ничего не скажешь. Только — миленький, дорогой, иду сейчас, как бы он не наругал, придешь, каждого лаской, каждого приласкать, поговорить с ним, ему вроде бы и легче. Там опять кричат. «Иду, иду, дорогой, иду, сейчас помогу, что тебе надо?» — «Поверни меня» или «У меня тут больно». Поправишь, погладишь. «Спасибо, сестра. Хорошо».

«Дети — маленькие старички»

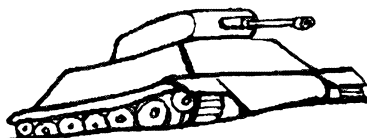
Кропанева Ефимия Васильевна, 1919 год,
врач

Работала врачом на эвакуационном пункте на берегу Ладожского озера, где проходила «Дорога жизни». Никогда не исчезнут в моей памяти ежедневные воздушные налеты фашистских самолетов и обстрелы. Особенно бомбежки! Это страшно вспомнить, когда огромная черная глыба металла летит в воздухе и вот-вот упадет на голову. Ох! Какой это ужас! А еще взрывная волна от падения бомбы...

Особенно запомнились мне дети, эвакуированные из Ленинграда. Их отправляли много в Кировскую область, Узбекистан.

Их можно так охарактеризовать — это маленькие старички с бледной, сухой сморщенной кожей, со стеклянными безжизненными глазками. При виде хлеба они жадно хватили его, но не могли раскрыть рта и откусить кусок хлеба, так как даже их жевательные мышцы были атрофированы.

Затем мне пришлось работать в военном нейрохирургическом госпитале. Работали сутками, не выходя из палаты. Особенно когда приходили эшелоны с фронта. Очень жалею молодых, красивых ребят, у которых были ампутированы конечности. Бывали без обеих рук, без обеих ног. Пациенты с такими тяжелыми ранениями поступали после берлинских боев. Работать с ними было очень трудно. Они не желали разговаривать, отказывались от приема пищи, лечения.



Глава 7. Фронтной быт

«Отчаяния не было»

Вотинцев Александр Иванович, 1923 год,
дер. Козлы, служащий

Деревня моя, деревенька... Ушел я из нее в шестнадцать лет в 1939 году по семейным обстоятельствам. В общем, нечем было питаться. Было в ней девять домов, к 1939 году жилое — оно казалось неплохо, а в тридцать третьем году многие из-за голода (тридцать третий год был голодный, неурожайный, он был похож на 1921 год) многие порезали скотину. Дома обносились, обветшали.

А у меня в то время еще умерла мать, а нас четверо мал мала меньше. Мне шестнадцать лет, а младшей два года. День и ночь в поле, света белого не видел. Ну а потом меня в армию взяли, это уж как война пошла.

Те военные годы я вспоминаю часто. Вспоминаю отдельными эпизодами. Их много. Ну хотя бы такой. Это было в декабре 1941 года. Нас, солдат-телеграфистов, после окончания свердловских радиотелеграфистских курсов в декабре привезли на фронт. Выгрузились мы из вагонов на станции Бологое. Переночевали, прожили день в помещении школы, а вечером приехал за нами офицер из штаба артиллерии дивизии. Он верхом на лошади, а мы пешие сзади топаем. Нас трое. Всем по восемнадцать лет. Идем, путь неблизкий. Мороз — 40 градусов. Мы одеты так: на голове шлем, на себе шинель, под ей гимнастерка, на ногах сапоги с одной байковой портянкой, на руках полусуконные рукавицы.

Приводит нас в овраг, до фронта километр-полтора. Очень хорошо слышно: стреляют из пулеметов, пули красивые, разноцветные, трассирующие, много их летит по небосводу. Тут-то и почувствовали, куда попали. Заводят нас к начальнику штаба майору Комарову в землянку. Он в шубе, в шапке, стеганые брюки, валенки. В землянке холодно. Топчан из земли, на нем ветки — это его постель. Майор здорова-

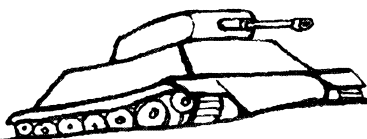
ется с нами за руку, спрашивает: «Откуда вы такие, ребята?» Рассказываем — вятские. «Знаю, — говорит, — гармошки у вас хорошие». И говорит тут же, чтобы нас отвели в блиндаж к связистам, пока тихо.

Приходим к блиндажу, он выкопан в горе, вместо дверей — плащ-палатка. Внутри холодно, храпят шесть человек, лежат в полушубках, валенках. Мы по сравнению с ними — в чем мать родила. Сгрудились мы в угол. Кто-то нащупал ящик с продуктами, в нем две буханки хлеба. Мороженный, зубы еле берут. Ну, черт с ним, только пискнул, взять-то взяли, но ведь как украли, с этим чувством и уснули. Утром хозяева раздеваются, снегом обтираются. Мы же дрожим от холода и от того, что хлеб украли.

Утром приносят нам завтрак. Целый котелок каши, каша густая, мяса много. Смотрим, соседи хлеб не трогают. Чего такое, думаем. Признаемся, а они смеются. Оказывается, хлеба дают столько, сколько надо. Валенки мне дали через неделю. Винтовки дали, правда, две штуки на троих. Больше нет.

Опишу немного наш быт. Овощи бывали редко и то сушеные. Зато всегда давали масло, сахар. Супы варили с мясом или с мясными консервами. Последние полтора-два года войны преобладали мясные консервы из США. Причем очень вкусные. Я таких до фронта и не пробовал. Ихний же был яичный порошок. В зимнее время всем выдавались утром с завтраком 100 грамм водки, в сильные морозы 250 грамм. Если в обороне стояли долго, то были вырыты землянки, и отдыхали поочередно. Ну, а если наступление — то какой там отдых...

Кстати, при демобилизации отпуска были оплачены за все годы войны. Солдаты-рядовые получали по 900 рублей в год. Особенно трудно на фронте было с мылом, с мытьем, с баней. Летом хорошо — речка. А зимой? Иногда за всю зиму вымоешься один раз. Баню устраивали в палатке. Натянем большую палатку, уберем снег, а на голую мерзлую землю настелем соломы. Внутри палатки топится железная печка. Ну и мойся. Но воды давали — одно ведро на брата. Воду грели в бочках около палатки. Когда на дворе (улице,



поле) мороз — 20—30 градусов — плохое удовольствие мыться. Ничего для тебя после такой бани никто не приготовит, кровати нет, а в снег не ляжешь отдохнуть. Мылись, лишь бы белье сменить да оставить старое со вшами.

Вот уже пятьдесят лет после Победы. Теперешняя жизнь, если сравнить с довоенной, то можно сказать, живешь в роскоши. Ну и чего? Все больше потребляют и все меньше работают. Трудолюбия не стало. Общее горе в войну было у всех, да. Но оно и сплачивало. Тот, кто ушел на фронт, — жил в горе, тот, кто остался в тылу, — работал на горе. Там свои трудности, здесь свои. Там огонь, неудобства, смерть; здесь в тылу — голод, непосильный труд. Но отчаяния не было ни на фронте, ни в тылу. При отчаянии не победишь, не переживешь горе.

Радовались, когда получали письма из дому, радовались приходу весны. Какие могут быть особые радости, когда сегодня жив, а завтра? Самые тяжелые дни на фронте — это когда находишься в окружении. Думаешь, выберемся или нет. Да еще голодный. Одно было самое тяжелое для дивизии время. Это апрель сорок второго года. Дивизия была отрезана, отрезана от своих, от тыла. И это продолжалось пятнадцать дней. Было это под Старой Руссой. Жили в землянках. Выйдешь — снег, грязь. Уже вторую неделю не дают продуктов. Как жить, ё-моё? Немец днем бомбит, ночью обстреливает из орудий, минометов.

Командование решило было сбрасывать нам продукты с самолетов, с кукурузников. Решили в определенных местах разжигать костры, как ориентиры, и на них сбрасывать продукты. На следующую ночь этих костров появилось великое множество. Сбрасывали, но продукты доставались немногим. А что сделаешь? Фронт дивизия занимала большой, вместе с артиллерийскими частями, отстоявшими от передовой на два-три километра. Территория большая, людей много.

И вот 1 мая блокада кончилась, и нам дают горячую пищу, масло, чай и водку. Но дают понемногу, так как после голодухи много есть нельзя, иначе будет заворот кишок. А вообще, чего только не ели, когда тылы отставим. Например,

конину. Ел и я. Ее искали в лесу, у дорог. Искали битых коней. В апреле уже тепло, один бок оттаял, по нему ползают черви, вот и отдираешь другой, замерзший. Снимешь шкуру и варишь с утра до вечера. Соли не было, так перебивались, без соли.

На фронте в тяжелое время относились друг к другу как брат к брату. Даже офицеры относились к солдатам как старшие братья. Офицеры на фронте не ели отдельно от солдат, хотя у них был дополнительный офицерский паек. Этот паек съедали вместе с солдатами. На фронте раненого солдата никто не бросит, сколько бы ни была тяжела обстановка. Об ушедшем времени, военном времени, ничего не жалею. Часто вспоминаю, но ничего не жалею.

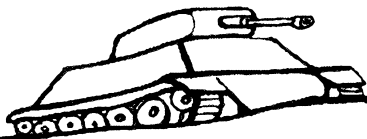
«Опасная была работа»

Синцов Петр Павлович, 1918 год,
пос. Суна, сапер, рабочий

Ели на войне из котелков, варила кухня — когда богато, когда голодно. Собирали грибы, ягоды, мясо подбитых коней употребляли, копали картошку. Никакого отдыха не было. Три часа в сутки отдыхали. Спали в лесу, ляжешь — сухо, проснешься — сыро, до половины в воде. Шли и на ходу спали. Чего делали? Восстанавливали мосты: заготавливали бревна, делали настил, ставили опоры, чтобы пропустить скорей машины, восстанавливали железнодорожные пути.

Где нет леса близко, разбирали дома, делали переправы. Много народу гибло, так как работали на виду у немцев и, конечно, они стреляли. Опасная была работа. Уничтожали десанты вражеские. В войну ничего хорошего не видели. В бане даже четыре года не бывали, в речке только покупаться, и все.

Сразу после войны я остался в Германии работать, там пленные немцы восстанавливали мосты, а мы их охраняли. Помню, как встречали Новый 1942 год под Москвой. Подар-



ки привезли из тыла. Мне кисет да носовой платок. Пива бочку достали. Выпили всю. Ровно в двенадцать часов немец начал нас колотить; и начал, и начал — час колотил. Ну, у нас обошлось, а вот наш майор ушел в медсанчасть. Там было две медсестры да врач. Туда как раз снаряд попал. Вот мы вместо праздника-то и хоронили всех четверых. Я в войну холостой был, поэтому больше всего хотел жену найти после войны хорошую.

Во сне мне потом десять лет снилась война каждую ночь, и сейчас иногда бывает. Снится, как бомбят, друзья снятся, с которыми воевал и которые погибли.

«Сохранить жизнь своих товарищей»

Сметанин Николай Прокопьевич, 1912 год,
г. Вятка, электрик

Во время войны был помощником командира взвода связи, старшина, механик телефона-телеграфа (1941—1945 годы). На войне как на войне, кормили нас, солдат, конечно, лучше, чем в тылу, но все равно практически было постоянно чувство голода. Порой самая вкусная еда была крапива. Суп из крапивы, выдавали также 400 грамм сухарей на сутки. Часто сбрасывали туда нам продовольствие с самолетов, но в большинстве случаев оно доставалось врагу. Наверно, самая большая радость была в день Победы, который мы встретили в Болгарии в городе Сливен. Все вышли на улицу: и стар, и млад; поздравляем друг друга, советских солдат. Со всех сторон раздавалось: «Братушка, братушка!» Болгары встречали нас очень хорошо. Настолько искренни были, справедливы и чистосердечны. Ни на одной двери во всех домах не было замка. Делились последним куском с русским солдатом.

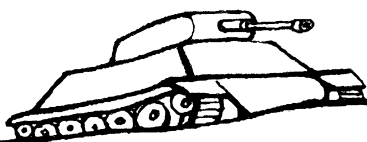
Все дни были тяжелы, никаких послаблений. Страх, голод, холод. Были моменты, когда друзья рядом погибают, а ты остаешься цел и невредим. Самое мучительное и страшное, что запомнилось, — это артобстрел. Необычай-

но страшно и дико было видеть зверства фашистов в оставленных ими деревнях и городах. Как они детей, изверги, уничтожали! Живыми сбрасывали в реку. Высасывали кровь из детей для переливания своим офицерам и солдатам. Буквально все сжигали на своем пути при отступлении, даже спиливали под корень деревья, лишь бы ничего не досталось русским.

Издевались, насиловали женщин, измывались над их телами. Очень тяжело было видеть нелегкий труд женщин, оставшихся без мужей в опустошенных деревнях. Помню, вошли мы в деревню Краснуха, решили передохнуть, обсушиться немного. Были с нами и лошади. Зашли в одну избу. Вижу маленького паренька и трех женщин, они слезно стали нас просить, чтобы мы выкопали им картошку, ведь лошадей у них не было. Как было отказать?! Вспахали, конечно. Провожали меня потом как бога, картошка в те годы была нашей жизнью.

Вот еще один случай. В 1941 году в начале ноября под Москвой был сильный мороз, за 40 градусов. Была такая деревня Невельцево на Волоколамском шоссе. Не знаю, есть она сейчас или нет. Нам с Мишей Лукьяновым, москвичом, надо было где-то перекантоваться ночь. Пришли мы в местную баню, топленную по-черному, но народу там уже было достаточно, не протолкнуться. Хозяин бани, старик, нас не пустил. Пришлось идти в соседнюю усадьбу в ста шагах от этой. Увидели мы там желтые пятна на снегу, разгребли, оказалась гнилая солома. Теплая была. Зарылись в нее и проспали всю ночь. Наутро узнали, что ночью два «юнкерса» пролетали над соседней усадьбой и бомбили ее. Одна бомба попала прямо рядом с баней. Но и этого хватило. Видели все оставшееся от бани: горелые доски, куски шинелей, человеческих тел.

Вот так мне везло в войну не раз. Всякое было во время войны. Один из местных жителей как-то угощал нас вином, оказалось отравленным. Многие отравились. Того мужика к стенке. Не раз случались и таинственные на первый взгляд вещи. Так, вызвали один раз моего земляка Ивана Лаптева в штаб. День нет, два нет. Позвонили в корпус, где он? Там



мне сказали: «Не ищите его, не интересуйтесь, это в ваших интересах». Оказывается, он, Лаптев, собирал немецкие листовки. Ведь в те годы за малейшее подозрение забирали человека — и ни слуху ни духу.

Произошло это в начале 1942 года, после битвы под Москвой. В первый год-два часто были случаи самоуправства командиров, начиная от офицеров вплоть до генералов. Ведь в то время перед генералом стояли как перед богом. Часто собственноручно расстреливали солдата за одну взятую им бесхозную курицу в какой-то заброшенной деревеньке, называя это мародерством. Были, конечно, здесь перегибы, ведь голод был страшный. Затем уже вышел указ Сталина, чтобы никаких самоуправств со стороны офицеров не было по отношению к солдатам, чтобы судили человека только военным трибуналом.

Совсем другие люди были в боевой обстановке. Друг за друга горой. Офицеры с солдатами как братья. Никто не думает что-то урвать у другого, пища в рот не идет, все время думаешь — проживешь день или не проживешь. Вот это и сближало нас. Самое большое желание у меня было сохранить жизнь своих товарищей, а потом уже свою. Натопить баню, попариться, чуть-чуть расслабиться, обогреться, обсушиться, выспаться — и хорошо.

«Обвинили в воровстве»

Коврижных Павел Григорьевич, 1922 год,
капитан, служащий

Самым горестным днем в моей жизни военной я считаю Слетний день 1944 года, когда меня начальство курсов и сослуживцы несправедливо обвинили в воровстве. Дело было так. Из Витебска меня командировали в Калинин за учебными пособиями. Некоторые преподаватели снабдили меня адресами и письмами для своих родных, близких, подруг. Я все исполнил. Те мне нанесли подарков для своих мужей, братьев, приятелей. Я повез этот груз в часть. И эти

подарки ночью у меня украли в вагоне. В кармане гимнастерки остались лишь письма. Я их роздал. «А где подарки?» — спросили получатели писем.

Моим словам, что меня обокрали, вытащили ночью из-под головы вешевой мешок, многие не поверили. Обвинили в воровстве. Пришлось мне продавать на Витебском рынке свое имущество и расплачиваться с долгами. От отчаяния долго стоял на мосту через реку витьбу с думой, не прыгнуть ли с высоты — и «концы в воду». Но пересилил себя. Кроме зарплаты и выручки от продажи вещей расплачивался дежурствами по части или кухне за других. Не ходил в кино, город — лишь учился.

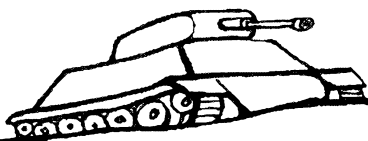
Страшного в войну было много, на каждом, шагу. Не так страшило погибнуть или стать калекой, как оказаться в плену врага, подвергнуться пыткам и издевательствам. На зверства врага мы насмотрелись. Он не щадил никого: ни живых, ни мертвых, ни детей, ни стариков. Видели мы заполненные трупами дома, даже церкви, а также колодцы. Поэтому я, оказавшись однажды один во фронтовой полосе, почувствовал себя неуютно. Случилось так, что схватил малярию. Отвезли в медсанчасть, подлечили, а возвращаться пришлось на батарею одному, к вечеру. Сбился с тропинки в темноте, заблудился.

Сплошного фронта ведь не было. Бывало, что люди, заблудившись, попадали в расположение немцев. Что с ними бывало, не надо объяснять. Чтобы такого не случилось, пришлось мне в ту ночь под дождем отсиживаться до утра и потом искать дорогу. Было и холодно и страшновато. Тех, с кем я воевал, остались единицы.

«Покойников не страшился»

Кузнецов Василий Федорович, 1922 год,
дер. Зайчики, зоотехник

В 1941 году в сентябре призвали. Направили на учебу в Вишкиль, где был до Нового года. Кормили плохо, голодно было. Одно имя торчало из ворота. Пятьдесят три



килограмма весил. Отец приехал, привез хлеба, мяса. Меня увидел — заплакал...

Взяли меня в полковую разведку. 14 мая 1942 года меня тяжело ранило. Госпиталь — и подчистую... Жаль, мало довоевать пришлось, но и это короткое время хлебнул войны сполна.

Всю зиму без продыха, не выходя из боев. Да... Ко всему человек привыкает. Оружие какое было? Автомат, гранаты сколько унесешь. А то где и у убитого заберешь. Покойников не страшился. Какое страшенье — как начнут бить, гарь, снег столбом — еще и укроешься за него, за мертвого-то. Морозы стояли. У нас валенки, шубы, шапки, рукавицы. Фашисты в хромовых сапожках, все тряпье на себя навертят. Часовой или чучело, не поймешь сразу. Всяко было. Пошли как-то за «языком». Связь перерезали, ждем. Идет немец, на палке почему-то котелок с картошкой держит. Не могли к нему подобраться, пришлось подстрелить. Документы забрали.

Сейчас народ разрозненный, а тогда встретишь парня из соседней области — уже земляк. Душу готов ему выложить! Мы ведь никуда до войны не ездили, жили оседло. Очень скучали по дому, родным. А у кого не было куда ехать — совсем тяжело было. В госпитале у нас был один такой. Лежит, отвернувшись к стене, весь в себя ушел. И как его утетишь? Пока не перегорит все в душе...

Глава 8. Фашистский лагерь

«Видел все зверства фашизма»

Халтурин Степан Степанович, 1918 год,
пос. Омутнинск, рабочий

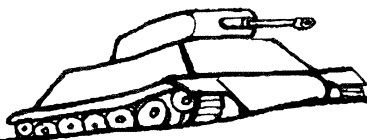
22 июня 1941 года пошли в бой под Львовом. Бой-то неудачным был, что ты! Отступали-отступали, и тут меня ранило в обе ноги. Две недели провалялся в полевом

госпитале. Там познакомился с медицинской сестрой Леной. Сразу влюбился. Она была такая скромная, улыбалась красиво. Никогда не забуду ее. После войны искал, но, видимо, не судьба.

После госпиталя снова пришел в роту, и в отступлении мы дошли до Киева. 30 декабря под Киевом я попал в плен. Находился в лагере «Хом» в Польше. В 1942 году мне удалось бежать. Со мной было еще четверо моих товарищей. Подробно рассказывать о том, как бежали из плена, не буду, очень тяжело вспоминать, да и забыл многое. Я ведь тогда болел здорово, постоянно терял сознание. Шел не сам, товарищи помогали. Для меня эти дни были мучительными, но мечта дойти была сильнее. Но мы не дошли. Нас поймали, избили и привезли снова в плен. Немного подержали и отправили в концлагерь Бухенвальд. В 1944 году снова бежали, прошли 240 километров, дошли до Одера и снова были пойманы. После этого были отправлены на сахарный завод в город Любау. Пробыл я там до апреля 1945 года. Работа была тяжелой. Сейчас бы, может, она показалась мне под силу, но в то время — сущий ад. Болезни, холод, голод буквально валили меня с ног. Сам стою еле-еле, а на меня мешок с сахаром положат — и несешь его до склада. Помогали товарищи. Чувствовал за собой их поддержку. Падал, вставал и опять нес. Иногда казалось, что день длится месяц, а ночь как один час. Ели плохо. Спали на голом полу. Постоянно бессонница, лихорадка, кошмары. Ночи для меня были тоже мучительными. А утром все сначала. Ей-богу, умереть хотелось.

Пробыл, как я говорил, там до апреля 1945 года. Затем мы были освобождены нашими войсками. О, как мы долго ждали этот час! Мы сразу пошли в бой. Мы хотели отомстить за наших товарищей, матерей, жен, дочерей, за весь наш народ.

Во взятии Берлина не участвовал, так как воевал на другом направлении. Берлин находился слева от нас. Так что главные мои впечатления от лагерей немецких. Очень тяжело вспоминать минуты жизни в лагерях. Видел все зверства фашизма. Очень трудно, очень трудно! До сих пор вспоминаю это как ужасный ад.



Фашисты не жалели ни женщин, ни стариков, ни детей. Мне очень больно было смотреть на детей. Худые, грязные, голодные.

«Мы не знали, что такое
фашистская душегубка»

Козырев Василий Фомич, 1923 год,
Подмосковье, инструментальщик

Героем себя не считаю, но кое-что сделал для Родины во время войны. В 18 лет ушел на фронт и всю войну провоевал в подразделении Смерша. Во время войны вся семья погибла.

В поисках диверсантов проводили многие бессонные ночи. Находя группу, расстреливали на месте. Это в начале войны. Потом действовали умнее, совершенствовали работу. Через найденных агентов распутывали шпионско-диверсантскую сеть немцев. Агенты были и среди нашего населения, но мало, в основном из числа бывших богачей. Такие были озверелые, но скрывались под маской добродетели.

Были и люди, которые агитировали народ за немцев. Одним из таких я был ранен, и все же мне удалось задержать его. С ранением долго провалялся в госпитале. В 1944 году принимал участие в обезвреживании диверсионных групп на Украине. Здесь врагов было побольше, да и территория огромная. Трудность заключалась в том, что врага мы не видели. На фронте легче. Группа наша состояла из ста человек. Были разделены на боевые пятерки, которые отвечали за определенную территорию. Гибли многие, и не только от пуль или мин-ловушек, но и от рук гитлеровских шпионов и их прихвостней. За два месяца осталось нас из ста всего 45 человек.

Диверсанты немецкие шли как волки, не оставляя свидетелей, убивая всех, даже детей. В лесу мы однажды нашли трупы пятерых детей, видимо, наткнулись ребята на одну из таких групп. На счету нашей пятерки было четыре банды.

В 1945 году наша группа попала в Прибалтику. Здесь я впервые увидел концлагерь. Это не забудется никогда.

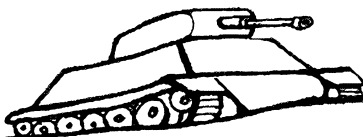
Лагерь был рядом с маленькой деревенькой. Мы сначала не знали о нем, сообщили местные жители. Прибыв к лагерю, мы обнаружили его в целостности и сохранности. Фашисты не успели уничтожить. Ворота были открыты. Пришли на территорию. Глядим: забор в два ряда обнесен колючей проволокой. По ней пропускали ток. По углам — вышки. Бараки один против другого, выкрашены в коричневый цвет. Всюду чистота. Я имею в виду на территории, а не в бараках. Привлекло внимание странное сооружение в самом конце лагеря. Низкое, тоже выкрашенное краской. Внутри что-то вроде душевой. По стенам несколько душей, но в потолке странное отверстие. Две двери. Закрываются герметично. Один из наших солдат залез на крышу и сообщил о толстом шланге, уходящем как раз в дыру в потолке душевой. Никто ничего не понял. Мы еще не знали, что такое фашистская душегубка.

Вышли на улицу, ветер сменился, и странный тошнотворный запах пришел откуда-то. Жители сказали, что время от времени запах достигает деревни. «За лагерем, — говорили они, — есть контейнеры, врытые в землю. Вот оттуда и запах». Нашли мы два контейнера. Сантиметров на пятьдесят они выступали из земли. Бетонные, метров тридцать в длину, они покрыты сверху досками и землей. Подойти было близко невозможно из-за запаха. Десять человек в противогазах подобралось к ним. Обнаружили сначала доски, толстые, сосновые. А потом... То, что было под досками, ужасно. Контейнеры были сплошь заполнены трупами. Сложенные аккуратно один к другому, друг на друга и пересыпанные (каждый ряд) землей. Это самый горький и страшный день в моей жизни.

* * *

Примечание: Василий Васильевич, 1917 год,
председатель колхоза

В 1943 году мы освободили деревню Заозерную. В ней был немецкий лагерь. В деревянных сараях содержали наших военнопленных. Рядом выкопана большая яма. В ней — раз-



дети доната, убитые пленные, положенные вдоль и поперек. Полный ров! Мы ворвались в сарай — стали проверять, есть ли кто живой. Люди лежали в лохмотьях, ни один не мог встать или хотя бы подняться — до того обессилели. Не различишь, кто живой лежит, а кто мертвый. Стали окликать. Живых уносили к машинам. Собрали кой-какое белье для них. Потом покормили как могли и отправили в тыл. Страшный день, тяжелый день!

Глава 9. В оккупации

«Люди перестали улыбаться»

Кожевникова Зоя Ивановна, 1937 год,
село Судка Курской области, рабочая

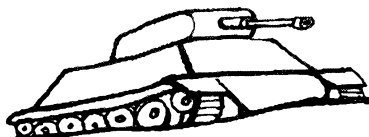
Семья была большая, пять человек. Занимали комнату при школе. Отец был директором. Как началась война, все в нашей жизни изменилось. Отца на фронт не взяли, оставили на работе. Фронт с каждым днем приближался все ближе. Не дожидаясь прихода немцев, отец ушел в лес к партизанам. Когда уходил, матери наказал, чтобы она обязательно спрятала или уничтожила школьную и личную библиотеку и все остальное, что не должно попасть к немцам. Запомнила я, что люди перестали улыбаться, ходили молчаливые и хмурые. Мать пыталась прятать книги, но все не успела. Не знала, куда их укрыть, и решила все сжечь. Жгла четыре дня. Такая большая библиотека стала пеплом, до чего жалко теперь, это ведь были хорошие книги, не то что сейчас макулатура на прилавках.

Вскоре к нам пришли немцы. Из школьной квартиры нас выгнали, в школе сделали лазарет. Немцы пока не знали, что отец мой ушел в партизаны, поэтому мать решила сразу уехать. Вещи все остались у немцев. Удалось забрать небольшой сундучок с одеждой и раскладушку. Мама нас, своих

детей, посадила на корову, и поехали мы к нашему деду, он жил за двадцать километров в деревне. Когда мы уехали, немцы установили свою власть. Всю землю раздали людям, которые остались, велели им обрабатывать, чтобы весь урожай отдать затем им. Потом они стали искать след к партизанам, потому что те не бездействовали: поджигали склады с боеприпасами, сделали налет на склад с оружием, а при случае расправлялись и с немцами. Тогда фашисты собрали все население в здании сельсовета, начали допрашивать их, чтобы им сказали, где партизаны. Тут были в основном женщины с детьми и старики. Женщины не отвечали на вопросы, да они и не знали, где партизаны. Тогда у них немцы отбирали маленьких детей, на глазах матерей прокалывали их штыками и бросали в колодез. Взрослых потом заперли в этом же здании сельского совета и подожгли. Сами немцы стояли вокруг дома и никого из него не выпускали. Это я все помню со слов матери.

В доме деда мы прожили недолго. У него и так была большая семья: жили вместе две дочери с детьми, жена и дети второго сына, да еще нас приехало четыре человека. Поэтому мама с нами ушла на квартиру. Вскоре и сюда пришли немцы. Корову у нас забрали. Есть стало совсем нечего. Мать стали вызывать на допросы. Спрашивали, не знает ли она что о партизанах, нет ли у нее связи с отцом. Для нас это были самые страшные дни. Когда маму уводили к немцам на допрос, мы сидели на своем старом сундуке и плакали — ждали маму. Мы понимали, что ее могут убить. Радостно было, когда мама приходила домой. Как-то все-таки отнекивалась. Мы ее обнимали, нам было с ней очень хорошо. А мама была печальная. Все это время от отца не было никаких вестей.

Для нас, детей, в войну все было страшно. Прямо по огородам проходили окопы, шли бои. Часто были воздушные налеты, много было воронок от снарядов. А жили дружно. Люди делились друг с другом пищей. Если у кого не было дома, то жили вместе несколько семей. Особенно дружно жили вдовы, они во всем выручали друг друга. Людей сближало общее горе.



«Хоронить никого не давали»

Зайцева Евгения Зиновьевна, 1928 год,
село Старый Город Белгородской области, рабочая

В войну нигде не работала, была несовершеннолетняя. Может, в этом и было мое счастье, а то бы немцы, будь я старше, угнали бы меня в Германию. Отец сразу ушел на фронт, а на нас с мамой осталось еще двое моих братьев: Юра, четырех с половиной лет, и маленький Петя, шести месяцев. А мне было двенадцать с половиной. До войны окончила пять классов, а в шестой не начинала ходить, потому что сидела дома с братишками. В октябре 1941 года нас захватили немцы. Помню, был дождь и холодно. Мы включили плитку, сварили картошки и сидели ели. Братишки были на лежанке, а мы с мамой около них. Заходят три немца и без всякого разговора начинают шарить по дому. Мама была в отчаянии, когда они ушли, — ведь они забрали из шкафчика деньги, варенье, сахар для маленького братика. Мама побежала за ними из-за сахара, ведь взять-то его было негде. Немцы уже ушли через четыре дома дальше. Там жила старушка, у которой пять сыновей ушли на фронт. У нее в доме и находились немцы. Конечно, ничего они ей не отдали, как не застрелили еще.

В декабре немцы нас выселили из нашей хаты в соседнюю. У нас хата была приличная; полы крашеные, стены штукатуреные. Такие дома немцы себе забирали, а жильцов сгоняли по несколько семей в плохие хаты.

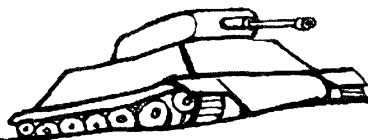
Если где-то немцам навредит кто-то, то были предатели, доносили, указывали на комсомольцев и старых партийцев. Сгорел однажды у нас дом (до войны была школа), жили там немцы, и вот его подожгли. За это расстреляли несколько мужчин. Рассказывали, что в Белгороде на базарной площади была поставлена виселица. В то время, когда вешали людей, тем, кто был на базаре, не давали расходиться, чтобы они смотрели, как казнят.

В одно утро всему селу велели собраться на площади у церкви. Мы поняли, что это не к добру, и решили уходить. Мороз был свыше 30 градусов. Мы с мамой собрали детей,

посадили в большие санки, кое-что положили еще и пошли по реке Северный Донец. И не мы одни. Шли кто как мог, кто приспособил лыжи, кто санки. Так и уходили из своих домов. Что дома у нас осталось, сложили соседям в погреб. Прошли мы в тот день километров десять. Остановились в селе Беломестное у стариков, которые очень хорошо приняли нас. Была у них корова. Для маленького брата давали молочка, да и нас всех кормили. Мама на второй день сходила назад, взять хотя бы еще что-нибудь. Потом вернулась, и мы уж дальше не поехали.

Маме было трудно с нами. У кого дети были постарше, те уехали километров за 200—300, им было лучше. Ну вот, остановились мы, а мамина родственница тетя Люба, у которой было тоже двое детей, стала маму уговаривать вернуться, поехать к ней и у нее всем вместе жить. У меня, говорит, картошка, свекла в погребе есть, топить камыша много (у нас лесов нет, и топили камышом). Ее дом стоял на окраине Старого города. Решили мы вернуться, жить в доме моей тетки. Приехали, поместились в двух комнатах, чтобы было теплее, и стали жить очень дружно, несмотря на то что нас было тринадцать человек.

Через несколько дней к нам стал приходиться староста, по-моему, его звали Миша Уткин, говорил, чтобы мы уезжали, пока не поздно. Приходил несколько раз, но мама думала, что все обойдется. Прожили 18 дней. И вот был субботний день, мама с тетей Любой наделали шелока (настаивали кипятком на золе и этим настоем стирали белье и мыли головы), выкупали детей и хотели мыться сами. Но тут как раз приходит староста и два немца с ним и говорят нам, чтобы через три минуты были готовы ехать, а куда — они знают. Пригнали нас в село Черная Поляна за рекой. Там были еще сельские эвакуированные. Тут и стали жить. А немцы лютовали. В один день на Донце встретили они с десятком наших знакомых и всех расстреляли, в том числе и нашу соседку Улечку Пичерикову. Девочка Валя, моя ровесница, с ней была расстреляна. Немцы хоронить никого не давали. Так они лежали до весны. Весной всех их погрузили и похоронили в братской могиле под бугром.



Мой маленький братишка простыл и стал болеть. Потом выгнали нас в село Беломестное. У мамы стали очень сильно болеть ноги, совсем перестала ходить. Я ходила тогда сама за восемнадцать — двадцать километров за зерном и картошкой. Ели мы очень помалу, делили все до капельки. Когда стало тепло, я ходила копать людям огороды, чтобы они меня хотя бы накормили. Выкапывала неубранную картошку. Из нее пекли пышки и ели. Но нас, голодающих, было много, а поле маленькое.

Домой нам разрешили вернуться в августе 1942 года. Пришли — есть нечего, все растащено. Но мы были рады, очень рады и тому, что хоть сохранилась хата! И нам немного повезло. В начале войны хлебные поля по осени неубранными остались. Вот мы с ребятами и ходили, собирали колоски. Зерна варили, иногда мололи на самодельных железных мельницах.

Поздней осенью—зимой 1942—1943 годов было особенно трудно. Есть было абсолютно нечего. Приходилось ходить в дальние села, которые не были эвакуированы, и просить милостыню. Давали картошку или свеклу, хлеб давали очень редко.

В феврале 1943 года наше село освободили от немцев. С этого времени мы оказались на передовой. А за Донцом, в Белгороде, еще оставались немцы. Все это время невозможно было выходить из подвалов, погребов. Обстреливали из орудий, минометов. Самолеты налетали, бомбили. Очень много хат было разрушено, сожжено. Людей столько побито и ранено, что помощь оказывать было некому. У меня подружка пряталась с мамой у соседей в погребе (старались сидеть в погребе вместе по несколько семей, чтобы не так страшно было). Подружку мою ранило, и она умерла. Похоронить ее даже во дворе не было возможности — все стреляли. Мама ее мертвую оставила в доме, а сама опять спряталась в погребе у соседей. Их дом загорелся, и моя подружка Маруся мертвая сгорела в нем.

Дома кушать не готовили. Если немцы заметят где-то дымок из трубы, обязательно обстреляют этот дом. Воду набирали из колодцев только по вечерам, когда стемнеет и по улицам не свистят шальные пули. В это время люди

начали болеть сыпным тифом. Мама у нас совсем не ходила на ногах — осложнение после тифа. Нас, детей, хотели вывезти одних в тыл, но мы решили все же остаться с мамой. Прожили мы до мая, а в мае мама стала понемножку ходить, тогда мы в штабе у наших стали проситься, чтобы нас вывезли ночью на подводах. И в конце мая мы уехали. По дороге немцы нас все освещали ракетами и обстреливали.

Приехали за сорок километров от Белгорода в село Воронское. Там был наш райком, нам даже немного помогали в питании. А через некоторое время нас перевезли подальше в тыл.

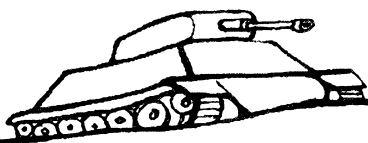
И вот в августе слышим, что якобы освободили Белгород. Нам, конечно, уже и не верилось. Собралось нас несколько человек, и пошли узнать, правда ли это.

Шли мы два дня, в конце концов пришли в город, видим — людей почти никого нигде нет, солдат тоже. Ни наших, ни немцев. Мы очень обрадовались освобождению. Дом у кого разбит снарядами, у кого сгорел, у кого разобран. Если у кого и уцелел, то стоял без дверей и окон. Ну, я вернулась за мамой и братишками. Хата наша была без дверей, окон, полы выдраны. Окна заложили мы кирпичом. Где найдешь осколок стекла, его вложишь. Ламп не было, да и керосина негде было взять. Если каплю керосина раздобудешь, в пузырек сольешь. Сделаешь из жестянки трубочку, в нее вытянешь тряпочку, приспособишь на пузырек — вот и лампа. И то старались поменьше жечь, жалели керосин.

«Один раз чуть мамку не повесили»

Масюк Марфа Александровна, 1923 год,
хутор Архангельский Воронежской области,
доярка

До войны я закончила семилетнюю школу и работала телятницей на ферме. А когда началась война, мужчин стали забирать на фронт, работы стало больше. И все бабы, все бабы. Всю мужскую работу делали сами.



Летом те, кто покрепче, косили, кто послабее — сгребали сено, ставили стога. На поле ходили жать рожь, пшеницу. Урожай тогда хороший был. Жали вручную, серпами, вязали снопы, потом возили их на телегах на колхозный двор, на ток. Там уже молотили. Это была, наверное, самая тяжелая забота. Молотили цепами. Сейчас цепов уже не увидишь. А после молотьбы болели руки, ломило спину. Попробуй-ка, помолоти целый день, да еще солнце пригревает, пыль летит. Завяжешься платком, чтоб одни глаза открыты были, и колотишь. Да что там говорить, трудно было. Но тогда хоть работать хотелось, знали, для чего стараемся. Вот когда немцы пришли, хуже стало. Нам еще, можно сказать, повезло. У нас не сами немцы, а итальянцы были. Они не так зверствовали.

Угоняли людей в Германию. Гонят с автоматами, грузят на машину. Бабы воют, причитают. А они свое дело делают.

Много перевешали народу. Как кто чуть не угодил — так и вешают. Один раз чуть мамку не повесили. Это было уже перед тем, как наши наступать стали. Тут у нас местами партизаны появились. Никто и не знал, где они есть и много ли их. Только, бывало, появлялись они в Батовке (так тогда наш хутор назывался). Наша хата на краю хутора, за оврагом стояла. Приходили, иногда хлеба просили или еще чего-нибудь поесть. Мы сами всю войну и долго еще после войны голодные жили, но для партизан всегда хоть что-нибудь да находили. Я сама только раз их видела, все мамка выносила им. Может, что и рассказывала им про итальянцев — не знаю, врать не буду. Но только учуяли итальянцы что-то, выследили. Дело зимой было. Приходят раз утром, схватили мамку и повели на улицу.

Там несколько человек собрали, руки посвязывали, уже вешать собрались. И виселицы готовы были. Страшно так стало. И вдруг откуда ни возьмись — наши самолеты летят. Итальянцы врассыпную, кто куда бросились. А мамку уже к столбу подвели и петлю на шею надели. Народу тогда много рядом стояло. Сгоняли они всех смотреть, чтоб знали, что будет, если не подчинятся им. Самолеты налетели, итальянцы разбежались, а люди тут подхватили мамку. Она уже ни

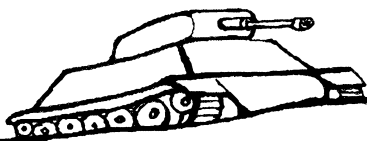
живая ни мертвая стояла. Увели ее, привели в себя. А потом итальянцам не до нее стало. Погнали их наши.

Жива осталась мамка. Благодарили мы судьбу тогда очень. Нас пять сестер в семье было. Я самая старшая. А младшая Нина — с сорокового года рождения. Она даже отца не помнит, не знает. Где-то за полгода до ее рождения папку на службу призвали. Было ей месяца два, когда он вернулся. Зарегистрировали ее в сельсовете. Думали, что теперь уже все хорошо будет, а тут война началась. Снова пришла повестка. Приглашали отца в ансамбль песни и пляски. Он очень хорошо пел, на гармошке играл, лучшим гармонистом на селе был, а плясал так, что про него говорили: «Он и на животе плясать сможет». Если бы он согласился, так, может, живой остался бы. А он взял и отказался. Попросился на фронт воевать.

Провожали тогда с музыкой, с песнями. Только по-разному жены мужей провожали. Одни почти спокойны, сдержанны были, а другие голосили, как по покойнику. Мамка сильно плакала, будто сердцем чувствовала, что не вернется он. Сначала приходили письма часто, потом писать стал отец реже, и в конце концов письма перестали приходить совсем. Было тревожно, но мы как-то ждали, надеялись на новое известие. Каждый день встречали почтальонку с надеждой и со стихом.

А потом, помню, приходит почтальонка. Вроде зашла, как обычно. В селе-то все друг друга знают. Поздоровалась, начала о чем-то говорить. Говорит, но как-то не так, будто чего-то недоговаривает. Мамка уже беспокоиться начала. «Что случилось? — спрашивает. — Ты что-то хочешь сказать». Несколько раз переспросила, после чего почтальонка решилась отдать ей конверт. Мы все знали эти конверты со штампами и очень боялись их. Вот пришел он и к нам. Я не помню уже дословно, но было там написано, что отец погиб в боях под Москвой.

Нет у меня сейчас этого извещения. И ни одного письма не сохранилось. Времени-то много уже прошло, да и не во времени дело. Я уже говорила, что стояла наша хата на краю хутора, а была она довольно хорошая, добротная. Когда



итальянцы пришли в Батовку, начали тут хозяйничать. Стали по домам ходить. Какой дом получше, в тот и заселялись. А у нас что-то вроде госпиталя своего оборудовали. Раненых у них тоже немало было. Все, что было на дворе, все подобрали, присвоили. Да еще мамку заставляли есть им готовить. Тут только и могла она иногда кусочек хлеба унести, да и то не себе.

Нас выгнали в погреб. Сыро там было, темно, холодно. Спали на досках. Постелешь какую-нибудь старую одежду, укроешься, чем попадет, и спишь. Нине, Марусе, Наташе — самым маленьким — на ночь лицо тряпочками накрывали, чтоб мыши или жабы не лазили. Их тогда что-то много развелось. Все письма, что были у нас, отсырели в погребе, погнили от влаги. Ничего не сохранилось. Была у нас одна довоенная фотография отца. Долго она стояла в погребе. Но потом пожелтела, ничего уже разобрать нельзя было. Мы, четверо, отца живого знали, помнили. А Нина пока что-то понимать начала, уже даже фотографии не стало.

Когда война к концу подходила, стали мужики домой возвращаться. Возвращаются с медалями, с орденами. Встречали каждого как героя. Плакали каждый раз от счастья. Вечеринки в честь возвратившихся устраивали. Каждый раз выходила мамка встречать машину, все ждала. Слез пролила больше, наверно, чем за всю войну. И особенно ее Нина расстраивала. Ведь не знала она, что не вернется отец. Не раз, бывало, набегается она, сядет, смотрит в окно. Мамка в другой комнате что-нибудь делает. А Нина смотрит-смотрит, увидит, дядька незнакомый идет, да и кричит: «Мамка! Мамка! Батька идет». — «А какой он?» — отзовется мама. «Рыжий-рыжий и с бородой», — ответит малышка. И непонятно ей было, почему у мамки из глаз слезы покатятся. Не знала Нина, что отец ее с самого рождения черный, как цыган.

После войны в 1946—1947 годах особенно голодно было. Опухали с голоду, от плохой еды вечно у маленьких детей животы болели. Детвора вообще не видела многих продуктов, обычных сейчас для нас. Например, что такое конфеты, дети узнали через несколько лет после войны. В эти годы

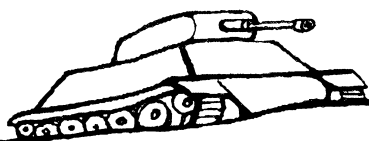
много налогов с населения собирали. Мы сдавали молоко, масло. Масло приходилось взбивать самым маленьким. Это было для них большим испытанием. Сидит ребенок голодный у посуды со сливками и не может взять себе ни ложки. Знает, что мама ругать будет. А мать ругается сквозь слезы. Жалко ведь свое дитя. Порой уходит, дает возможность полакомиться.

Дети и голодные ходили, и раздетые. Донашивали одежду братьев, сестер. Все одевались очень плохо. Я всю войну в одном проходила. Юбка, телогрейка, блузка да платок. Вот и все. Пока была возможность, до последнего босиком ходили. Обувались только по снегу. Ноги до такой степени огрубели, что ни стерни, ни камней не чувствовали. Запросто по сжатому полю бегали, по лесу ходили, заноз не замечали даже. А после войны, когда, бывало, на танцы собираемся, хочется туфлями покрасоваться, а обуться не во что. Вот и разрисовывали себе ноги кто во что горазд. Нарисуем себе туфли мелом, угольком, красной глиной. Или из рельев «тапочки» слепим.

Самой большой наградой за труд, за учебу был кусок материи на платье. Колхоз самых лучших премировал.

До войны Батовка была большим селом. Крупная ферма была в ней, школа начальная стояла, даже клуб был. А немцы все разрушили. Скот еще до их прихода угнали. Когда линия фронта здесь проходила, мы на рытье окопов ходили. Рыли по любой погоде. Окопов много накопили. Они и сейчас еще видны. Одно место у нас возле хутора так и называется: «окопы», «окопчики». Много домов сгорело в войну. Опустела Батовка. На улице только итальянцы и ходили. Установили комендантский час. После семи часов вечера вообще никто не мог носа на улицу показать. Поставые по дороге прохаживаются с автоматами, стерегут. Начальство на машинах приезжало.

Как нагрянет кто-то «сверху», засуетятся, забегают. Начальство-то все у них немецкое. Они с итальянцев здорово порядки требовали. Во время таких проверок и нам доставалось сильнее. Больше в это время били, больше вешали. По селу постоянно иностранная речь слышалась. Русского слова не



услышишь. Поговорить не с кем. Даже когда на работу выгоняли, приходилось молчать. Бывало, заговоришь с кем-нибудь, тут же подскочит охранник, разгонит. Все они автоматами грозились.

Анисимова Анна Алексеевна, 1926 год,
дер. Черневици, Белоруссия, рабочая

Когда началась война, я была девчонкой малолетней, жила с мачехой. Бегала по лесу босиком, пряталась от фашистов. После войны работала в домработницах, на стройке, в госпитале посылной, затем вышла замуж и приехала в Киров. Но это я вперед забежала.

Дом наш в войну немцы сожгли, жили мы в землянках в огороде, но в основном в лесах обитали. В деревню прибегали лишь погреться.

Поначалу была корова, ребят на ней возили маленьких, потом зарезали корову и съели вместе с партизанами. В первый год войны, когда немцы пришли, все еще было посажено, приходили из леса ночью ползком и украдкой выкапывали картошку. Война-то долгая была, пищевых запасов не было, вот и варили траву бессолую, да боялись еще костры-то жечь, так как бомбил нас немец часто.

С первых дней фашисты устанавливали свою власть. Страшным был первый день, когда рано утром мы проснулись от грохота фашистских танков, проезжавших по деревне. И стал немец издеваться: избивали, убивали, насиловали, сжигали. Сжигать у них были свои карательные отряды, правда, некоторые хорошие были — отпускали в лес. Не убивали.

Однажды мы пришли в деревню в сумерках и такое увидели, что страшно вспоминать. Девочка маленькая — офицерская дочка лежала в яме мертвая, у нее вырезана на груди звезда, рядом мать сгоревшая. Отец после войны вернулся, так долго не мог опомниться от горя. Родственников у меня расстреляли как коммунистов. Все, кто не ушел с нами в лес, были или расстреляны или сожжены.

Счастливым был день, когда фашисты гнали нас в Германию на работу, а мы сумели сбежать в лес. Там наших нашли. Сколько радости было, что мы к своим попали! Это было уже при отступлении фашистов. Зимой в лесу совсем есть нечего было, приходили в деревню. Однажды я не успела уйти, и как раз немцы пришли на работу людей сгонять, сестра меня в сарай заперла. И вот меня нашли и чуть не расстреляли, гады, ладно, переводчик заступился. С тех пор каждый день на работу гоняли да проверяли, здесь ли я. В основном мы окопы рыли.

Дети вместе с нами холодали и голодали, отдадим им травку, сами сидим и виду не показываем, что голодны. А для немцев что старый, что малый — все равно. Коты и собаки — все у них партизанами были. Зайдут, расстреляют или в дом загонят и сожгут, сколько народу загубили, ироды.

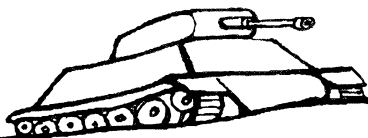
Никаких праздников у нас не было. Через нашу деревню фронт шел, когда в деревню наша разведка зашла, это была великая радость. Одна мысль крутилась: «Нас освободили!»

Одежда была вся на себе, остальная в яме закопана. Деревня вся была сожжена. Все вышли из леса, жили в одной избе по пятнадцать—двадцать семей, потом мы оборудовали землянку. В ней были только нары и печка, мы в ней только переспать приходили.

«Нас как-то не сожгли»

Коваленко Нина Филипповна, 1928 год,
дер. Артюшки Витебской области, крестьянка

Там я в Белоруссии-то жила у дедушки с бабушкой, в школу ходила. Лапти носили, так в лаптях ходила. Ести тоже — плохая еда была. Помню, намелют на мельнице рожь с пелёвой, не то чтоб чистая, а с пелёвой, чтобы побольше было. Вот напекут такого хлеба, лепешек. Ну, корова, правда, была. С молоком ели. До школы коров пасла. Дед плел корзинки, все такое. А мы свяжем из лучины зыбку, в каких рань-



ше ребенков качали; из тряпок куклу сделаешь себе, ваты натолкаешь туда, сошьешь ей платье и из тряпок же повяжешь косынку, нарисуешь ей брови углем (карандашей не было тогда, так угольком), сажей намажешь ей глаза, крахмалом голову намажешь ей. Волосы изо льна делали, косы плели изо льна же. Заплетем большущие косы по обе стороны. Самодельные куклы были. Ой, беда...

Потом в школу стала ходить. Книжек мало было и тетрадок, ходили друг ко дружке — переписывали у кого чего есть. До войны четыре класса успела кончить. Как началась война, так нас чего-то больно скоро захватили, оккупировали. В начале 42-го года начали организовываться у нас партизанские отряды. Война началась, так не успели забрать-то всех наших мужиков на фронт. Так вот, стали организовываться партизанские отряды, все добровольно шли.

А мы вот, подростки, двенадцати-тринадцати лет помогали им тоже, считались, как партизаны. Ести им готовили, одежду шили, окопы копали, ходили вместе с ними на задание. Посылали нас телеграфные столбы спиливать. Потом возле дорог насаждения спиливали, дороги заваливали, чтобы потом немцам пройти нельзя. Ходили, узнавали в деревни, есть ли немцы-то. Малолетками, чтобы подозрения не было, ходили из деревни в деревню. Ну, еще хлеб пекли партизанам, по ночам на часах стояли, охраняли их, чтобы немцы не подкрались.

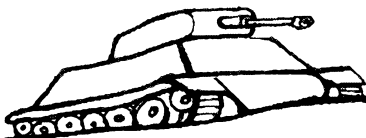
Самый вот страшный мне запомнился день в той деревне, где я жила. В лесу проходила дорога недалеко от деревни. И вот приехало какое-то немецкое начальство. Партизаны сделали засаду, несколько ихних командиров убили. Ну, и ночью немцы окружили нашу деревню. Всех, кто в чем спал, из домов выгнали, посреди деревни на дорогу в аккурат поставили всех и перед каждым человеком — немецкий солдат с автоматом и с собакой. Так вот целую ночь и день нас держали. Приезжало начальство, все разбиралось. Потом двух стариков к стенке поставили, пытались у них узнать, где партизаны. Конечно, наши деревенские старики не выдали никого, хоть и знали, где они находятся в лесу, в каком месте.

До вечера мы так простояли, а вечером нас загнали в колхозный сад и закрыли под замок. А немцы, что осталось в домах, какие тряпки там, еда — все это собрали в один дом, закрыли и подожгли. И вот ночь темная, мы под замком закрытые. А вокруг этого сарая охрана стоит, чтобы партизаны не подошли и нас не освободили. Мы сидим и ждем, что сейчас и нас подожгут. Вот такое было тяжелое переживание. Ну, нас как-то не сожгли. Отпустили, наутро отпустили. Пришли мы домой, ни одеть, ни обуть нечего, ни поесть.

Ну а потом немцы куда-то уехали, партизаны опять заняли нашу деревню. Партизаны привезли нам зерна. Потом немцы снова деревню заняли. Согнали всех опять вместе, но уже сортировку произвели: стариков раздельно, а подростков отдельно. Стариков угнали в одну сторону, куда-то в другую деревню. А подростков забрали и погнали километров за двадцать в лагерь. Меня тоже. И вот в этом лагере мы три месяца жили. Давали нам литровую баночку, баланда называлась, это на день, и 200 грамм хлеба. И на допросы гоняли.

Выстраивали на улице, а жили мы в свинарнике. Сделали нам там нары, на нары соломы ложили. Вот три месяца нас так держали. Иногда увозили куда-то. Подойдет машина, полную машину насадят и повезли. А куда увозят, мы сами не знали. Или расстреливали, или что. В общем, мы уж их не видели.

Сколько раз партизаны пытались освободить нас, но никак у них сил не хватало. Ну и потом пришла и моя очередь — посадили в машину крытую вместе с другими. И вот повезли нас до границы с Восточной Пруссией, город, не помню как называется. Там посадили в товарняк и повезли в Германию. Там я была полтора года. Заставляли много работать. Кормить-то — плохо кормили. Били, если сделаешь что не так. С палкой немцы-то ходили. В городе Кельне была. Ести тоже не давали, ходили по помойкам. Все это воровски. Если увидят, то палкой налупят. На фабрике работали у хозяев ихних.



Освобождали нас американцы. Потом привезли уже домой, на свою родину. В деревню я приехала в декабре месяце 1945 года. Дедушка умер, бабушка одна была. Ести нечего было, холод, голод, ни скота, ни коровы, ничего нет. Всю зиму ездила я на салазках на скотомогильник. Не одна я, а все мы... Вот поедем на скотомогильник, день стоишь там, мерзнешь, поглядываешь, привезут ли лошадь, которая пала от чесотки. Был специальный мужик, который кожу снимал. Снимет он кожу, а мы давай рубить, сколько кто схватит. А другой день простоишь, и ничего не достанется. Так вот и жили. Ходили работали в колхозе. Весна пришла, переключились на траву. Суп из нее варили, лепешки пекли.

В 1949 году я замуж вышла. Трудно жили, но дружно. Ходили на танцы в лаптях. Дотемна танцевали! Керосину не было. Потом перешли жить в баню, семья-то большая была. Всяко пришлось пожить-то. Потом муж дом стал ставить, дочка родилась. Работали за трудодни. Ничего не давали нам, одни палочки только бригадир запишет — и все. Сейчас ни одного часа не заставишь лишнего проработать, а я двадцать лет проработала бесплатно. Только вот обидно, что двадцать лет проработала в колхозе, а переезжала в совхоз — и весь стаж пропал. Обидели нас, колхозников. В 1965 году переехали сюда жить, в Пасегово. Хоть сначала и небольшие деньги платили, но все же. Сколько радости-то было! Деньги, живи!

Помню, получку получила 150 рублей, так домой письмо написала, надо же, за месяц 150 рублей заработала. Купили дом, перевезли сюда. Только под крышу поставили, мой муж заболел. Шесть месяцев в больнице пролежал и умер. Пришлось мне самой достраивать дом. Ссуду брала. Ревела, да достраивала! Потом год на двух работах работала. Днем на ферме, а вечером прибиралась в сельсовете, печи топилла. Где-то в час-два ночи возвращалась домой. 18 лет в совхозе проработала, имею шестнадцать грамот, первые места по району, совхозу занимала. Все есть, жить можно, пенсию дали, жизнь только подходит к концу, вот чего. Здоровья нет, годы ушли, хотелось бы пожить маленько еще.

Глава 10. Деревня военной поры

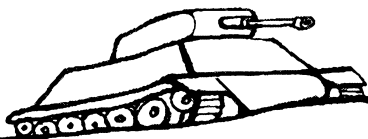
«Живой — и не надо ничего больше»

Бучнева Мария Яковлевна, 1924 год,
дер. Хлябово, учитель

Работала я в Ананьинской начальной школе. Была заведующей и военруком, вела два класса. Семнадцать лет мне тогда было, как школу приняла. Школа в двух зданиях была — километр друг от друга. Одно-то специально под школу строили, так оно очень худое было, а второй — дом раскулаченного крестьянина, тот, конечно, крепче был. Обстановка в классе — парты черные, деревянные, доска такая же. Пол был некрашенный, мыли его с дресвой, кирпичом толченым, а стены побелкой мазали. Шкаф был, а в нем библиотека. Карта полушарий еще висела — и все. Пособия учебные сами с ребятами делали. Ремонтировали школу сами. Гвоздей, досок не было, а ребята бог знает где и добудут, да и ташат кто гвоздь, кто штырь какой. Парту изломают — сами поправят, так у нас всегда заведено было. Печка стояла «голландка», как выпадет кирпич — булыжник вставим да глиной примажем.

На учителя у нас по два класса приходилось. Первый и третий в одном классе занимались, второй и четвертый в другом. По четыре-пять уроков сидели. Военное дело вели тогда с первого класса. За школой полосу, препятствий сделали — бревно, яму вырыли — окоп. Меж двух берез высоко доска, а на ней лестница и шест приколочен. И в перемену, и после школы ребята все тут занимались. Маршировать учились, по-пластунски ползать. А сама сколько раз на сборы военруков ездила. На два-три дня нас собирали, когда в Подосиновце, когда в Пинюге. Тренировал нас старший лейтенант Хомяков, старый уже, а такой строгий. Половина-то военруков были фронтовиками, калеки — кто без чего, так он уж им только теорию давал обучения.

Жили трудно, не сытно ели, не шикарно одевались, но дружно жили. Все в первую очередь на фронт отправляли: полушубки, носки, рукавицы с двумя пальцами, чтобы стре-



лгать в них можно было. Даже посуду собирали. Сдавать государству надо было по 500 литров молока в год да мяса, масла, яйца, шерсть. Ребята, старики со старухами да женщины в основном работали. Лошади были только в колхозах, техники вообще никакой. А у себя на огородах по пять человек в плуг запрягались и пахали. В колхозе по трудодням рассчитывали, работаешь весь день, а за этот трудодень две копейки выдавали. Когда, правда, и горстью хлеба заменят. А в год, может, триста трудодней, только и выйдет, значит, шесть рублей. Да и купить на них тогда нечего нельзя было.

Все сами добывали. Летом, конечно, лучше было: пестики (головки хвоща) собирали, из крапивы и кислицы суп варили, сок березовый точили, ягоды и грибы на зиму заготавливали, ну а на огороде что вырастет. Цветки клевера собирали. Высушат, истолкут да с мукой намешают. Сахара, мыла не было. Метр ситца такой диковиной считался.

Очень сильно я первые годы войны переживала. Брат Иван у меня в авиационном училище в Умани учился, а началась война — он и пропал, больше года писем от него не было. Шибко быстро наши-то отступали, они от своих отбились да с парнем одним вдвоем по лесу плутали от погони. Вышли к хутору к какому-то, так тем и спаслись, что хозяин их от немцев в копну поместил, их и не нашли. А потом как вышли к нашим — до Сталинграда отступали. Он тогда и провещился, весть, значит, подал. И для всех ведь. Как кто из баб письмо получит — вся деревня бежит к ней читать. Так этим письмом семья и живет до следующего письма. А уж самое большое горе по деревне — это похоронка или извещение, что без вести пропал. Тоже горе было, когда калеками придут, но уже не такое, главное, живой был, и не надо ничего больше.

Деревня наша Хлябово стояла в низине. По самой середине речка пробегает, и сама низина Манзарихский лог называется, а чуть дальше Заячий лог, тоже с речкой. Зимой речки «кипят» — вода из-под льда вдруг выйдет и разольется. В Заячьем-то чише речка была, вода холодная, ключей там много было, воду из нее брали. Деревня была вся в садах, вся зеленая. Около домов черемухи, рябины, калины, березы, липы. Очень ухаживали за ними.

31 дом в деревне был, 164 человека жило, я специально считала. Кругом леса, в полкилометре Пушма протекает. И в военные времена ничего не нарушено было. На Троицу подметали, убирали всю деревню. А теперь умерла и деревня. Живут там сейчас два парня — один на скотном дворе работает, другой в Подосиновце. Дома сгнили все. В поскотине двадцать лет стадо не пасут, а травы там не одно, а три стада прокормить можно! По Пелеговке уж лет пятнадцать луга не косят, все они заросли, а ведь как послушаешь, все корма скоту не хватает. Это ведь никому ничего не надо ноне!

Про ребят-то я могу рассказать. Подростки-то основной силой в колхозе были, больше взрослых робили. Ну и с маленькими они нянчились. А бывает, маленького-то и оставить не с кем, так мать ему молока с хлебом намешает да за ногу к крылечному столбу привяжет, чтобы не убежал. Рядом ведь речки, а малой и в луже может утонуть. Кто пойдет — накормит...

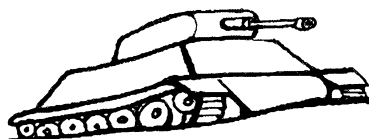
Помню, мы один раз с подружкой пошутить захотели. У одной старушки к кольцу на калитке нитку привязали, а на той стороне сарай был. В него спрятались (а это ночью было) и давай за ниточку дергать. Она раза четыре вышла. А наутро приходит к подружкиной матери и говорит: «Я, мол, вчера загадала, приснится сын — живой вернется. Только так и не спала всю ночь. Все кто-то кольцом брякался». Сына-то так и убили у нее, долго нам нехорошо было. И не потому, что ей не дали сына увидеть, а надежды мы ее лишили — вот отчего!

Тогда ведь ближе люди друг к другу были. Потому, что горе общее было, радость общая...

«Как мы верили в Сталина!»

Лукиянова Александра Тимофеевна, 1905 год,
крестьянка

Маша Платониha шла с базару и говорила, что началась война, ей никто не верил, а часов в одиннадцать едут люди на двух лошадях и кричат, что надо идти в военкомат.



В ту ночь было бедствие. Забрали десять человек, все прощаются, до Ошланского мосту провожали. Потом гребли вику, клевер ли, а Иван Прокопыч кричит, что Ваньку берут, бильярских берут и наших всех по повесткам.

Арсентьича, мужа моего, взяли 9 августа 1941 года. Он только что пришел с финской войны. Сначала взяли военнообязанных, а потом стали брать молодых ребят. Стариков стали брать в трудовую армию. Женщин мобилизовали в лес. У меня было трое ребят, а помоложе девчонок окопы гоняли копать, а потом в Киров на завод. Как мы верили в Сталина! Соберут колхозное собрание: «Товарищи, Сталин просит варежки, шерсти». Принесем клочками шерсть, вяжем. У нас Марфа была, у нее не было никого. Все отдавала: овчины, валенки, молоко.

Я была выбрана лечить маленьких детей, все ребята умирали от голода. У меня сын Ленька начал собирать корешки, поел их, заболел дизентерией и умер. Если похоронная придет, то так и считали: что делать — без жертв война не бывает. Самые тяжелые дни помню: хлеба ни крошки, отец — старик, мать, ребята, и семь дней мы питались не знаю чем. Ребятам председатель по 100 грамм хлеба давал. Дома трудно: отцу восемьдесят три года, матери тоже, сестра больная да ребята.

А в лесу мы лес валили, сучки обрезали, в лесу была два года. В зиму два раза домой ходила. Как сменили Анто́на Ивановича, председателя сельсовета, так и нас сменили. Стали мы молотить. День молотишь, ночь сортируешь, утром встаешь и везешь в Турек, а там тридцать две ступеньки, и все ведь таскаешь на себе. Самые тяжелые мешки — это с пшеницей и горохом. Лошади через силу таскали. Картошку возили, так себе воровали.

На суд меня гоняли — в лес не ехала, да не я одна. Идем, хохочем — думали в милицию идем, дак ничего. А нас до ночи держали. Мишка наш говорит: «У них дети плачут — а они тут сидят». Вызвали к прокурору, тот спросил, сколько детей, и тут же отпустил.

Потом сняли Анто́на Ивановича, а он ел людей. Подохните, говорил, дак не больно и надо. Павел Яковлевич (пред-

седатель колхоза) стал ребятам пайки давать, мне тоже дал. Все на себе пахали, и он с нами пахал.

Немало лес помогал. Грибы там, ягода, растения разные. Простой с работы никогда не идешь, то лебеду несешь, то кисленку собираешь. У нас на лугах много было кисленки кобылячей. И повадились ребята чужие, так их палкой гоняли. Бывало, с сенокоса возами возили кисленку.

Почему-то думали, что так и надо, говорили, что никто и ничто не будет забыто. Мы очень верили в победу. В День Победы я была свай на мельнице в Романове. Был у нас начальник почты Андрей Захарьич. Он бежит и кричит: «Война кончилась! Война кончилась!» Все работу бросили, идем не знаем куда. Председатель вытащил красную скатерть и повесил на пожарной. Провели собрание. Сразу дали хлеба, мукой, на ребят. Всех больше ребят берегли.

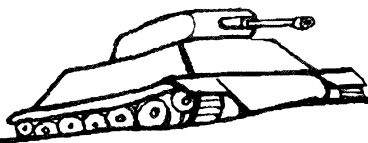
Кто не погиб, начали возвращаться. Мой Ваня вернулся в 1947 году. Он вернулся в ярмарку. Все его видели на ярмарке. Пришел он после обеда. А вот встречать Ваню я не пошла, сколь была страшна, худа. Я послала Райку да Володю (детей), а сама сижу. Он заходит, говорит: «Что с тобой?» А я: «Хочешь, так сейчас бросай! Разведемся — гулять будешь». Посмеялся только.

«Как люди могли день и ночь работать?»

Лежнина Анна Ивановна, 1930 год,
село Муша, крестьянка

Как началась война, не помню. Помню только, как провозжали брата Николая на фронт. Собралась вся деревня, молодежь играла в гармошку, пели песни, а утром увезли на лошади в Советск. А в ноябре 1941 года повестка пришла и тяте. Уж не было гармошки, не было и песен. Все ревели. В семье оставалось пять человек: мама, старшая сестра, брат, я да еще младшая сестра.

Хлеба не было, корова была, да ее пришлось продать, а на вырученные деньги купили хлеба да козу. Питались мы плохо. Весной копали прошлогоднюю картошку, такую гнилую



и ели. С картошкой варили крапиву. Любили очень песты, из них делали лепешки, сушили и толкли. Летом ели кисленку. Серпом жали ее, а когда высушивали — колотили, потом мололи на мельнице и тоже пекли лепешки.

На трудодни давали хлеба очень мало, какие-то граммы, ели подсолнечные корни, их тоже рубили и на мельнице мололи. Мука получалась белая, но невкусная. Когда хлеба нисколечки не оставалось, ходили с ребяташками на мельницу, там по горсточке всем давали, а кто и не даст, всякие люди были. Помню, ходили с подругами собирать (нищенствовали, — *В. Б.*) в другую деревню. Зашли в один дом, там как закричат — без оглядки домой прибежала. И с тех пор больше не ходила.

Летом ходили по ягоды, по грибы. На обед что-нибудь сварить, пойдешь в лес — вот тебе и опять ужин готов. Народ с голоду опухал. Животы надуваются, а ребенки как рахиты.

Одеванья тоже никакого не было. Ходили в лаптях, а если издерутся, обшивали кожей. Оболочки (верхняя одежда. — *В. Б.*) были портяные, все самотканые, сами пряли, ткали. Матрац, подушка — соломенные. Посуды было мало. Чашки были глиняные, горшки тоже, ложки деревянные. В избе стояли лавки от стены до стены, да стол был еще самодельный. Комод тятя до войны смастерил.

Приходилось спать больно мало. С утра до вечера работали. В Октябрьскую, Новый год, Пасху, Троицу, Луговое заговенье, в Петров день, 1 Мая — вот тогда и не работали. Иногда и в эти дни не отдыхали: как сев, как погода. Праздники ждали очень радостно, не как сейчас. Собирались на вечерки, танцевала под гармошку. Любили «чижика», «барабышку», «рабочую», пели частушки. Эти вечерки проходили в избах, где надо было хозяину помочь, пол вымыть или дров наколоть. Ходили на посиделки, где пряли, вязали и за работой любили петь. Соберется нас человек двенадцать — песни поем, а парни в карты играют.

У нас были свои вечерки маленькие, но иногда ходили и ко взрослым. Летом ходили в соседние деревни, тоже на вечерки, а те к нам ходили. Девочек было много, а парней-то не

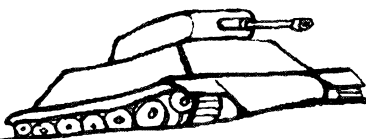
хватало. Маленьких, что не взяли на войну, вот их было много. Света тогда не было (электрического. — В. Б.). На вечер нащепают лучины целое полено, а иногда солому. Дыму-то сколько! А ничего, сидели.

Летом тракторы стерегли и горячее ночью, а то горячее больно таскали, а у трактора могли и части утащить, вот ночью и стерегли. А днем мы воду заливали. Трактористы раз по борозде проедут — и опять заливать. Больно тракторы плохие были, да и трактористами были вдовы и девки, мужиков-то не было.

Зерно возили из глубинки для государства с каждого колхоза. И я возила — на быке. В жару бык устанет, ляжет и лежит. Немного полежит, встанет и идет шагом. А вот домой шел быстрее. Еще и картошку возила в Советск, от нас до Советска было 30 километров. Больно уж крута гора там. Едешь, едешь — свету белого не взвидишь, и объехать-то нигде нельзя. Когда и поревешь. Грязи тоже хватало. Хоть в дождь, хоть в снег, все равно приходилось ездить. А лошаденка была трехногая. У ней нога «выпадала». Идет, и нога вихляется. Каких только лошадей не было. Но если б не они, совсем бы плохо пришлось. Сейчас удивляемся, как люди могли день и ночь работать, а теперь лишнее время трудиться никого не заставишь. А тогда с песнями, с шутками со всеми делами справлялись.

Помню, война кончилась, а с войны тятя долго не возвращался. Когда рожь цвела, все ждала, если цветок расцветет, то тятя вернется, цветок расцвел, а тяти все нет. Несколько раз так гадали. Вот один раз побежали на поле гадать, а там солдат идет, вся грудь в орденах. Такой звон от них стоял. На все поле, как колокольный. Пригляделись... так ведь это наш тятя пришел с фронта! Как обрадовались ему, что живой пришел! Из деревни вернулось двенадцать человек, шестнадцать было убито. Больше половины убило, ведь и молодые совсем.

До войны кончила два класса, а в войну уж не училась. Уж после за парту села. Писать было не на чем, писали на книгах, делали самодельные чернила. Сумки были портяные, а у кого портфели — радости-то сколько!



Деревни Шамшурята, в которой я родилась, сейчас уже нет. А какая деревня раньше была! Чистая, улицы широкие, речка близко, лес близко. Ну как не жить? Да вот разъехались все. Сейчас там ровное поле. Как начну вспоминать: вот здесь то было, здесь это, так и сердце замирает. Самые лучшие годы провела там.

Как-то ездила я к себе на родину. Осталось еще крылечко от нашего дома, да дерево стоит, в котором мы прятаться любили. Щель в нем здоровая, было очень удобно сидеть-то.

А вообще-то я войну не очень люблю вспоминать, а вот во сне снится. И когда проснусь, то сначала кажется, что опять война. Нет, войны не надо, и так сколько намучились, сколько всего пережили. Пусть мир будет.

«Работала с женщинами вместо лошадей»

Лошакова Анна Борисовна, 1909 год,
село Муша, крестьянка

Мы работали в поле. Видим, мужики на лошади едут. Кто песни поет, а кто и ревет. Думаем, что же это такое случилось? А когда нам сказали, что война началась, то и сами заревели.

Вскоре забрали мужа. Два письма от него всего получила. А 22 декабря пришла похоронка. Долго мне ее не вручали. Многие знали, да не говорили. Пореву, пореву, да делать нечего, опять иду работать. Приеду в сельсовет и спрашиваю о мужике, а меня успокаивают, что нет похоронки, чтоб я не переживала. Если б, говорят, была, то как же не сказали. А одним днем захожу в избу, а там народ сидит, и мать мужа ревет. Поняла я, что похоронка пришла, редела, редела, да что делать-то, детей надо поднимать. Их у меня было четверо. Маленький Коля умер. Питание было плохое, заболел и умер.

А так раньше дети почему-то мало болели, крепкие были.

Но помню, как-то раз сын Анатолий заболел воспалением легких. Врач приходил, а что толку. Все равно никаких лекарств не было. Сама горчичники накладывала, сама так и вылечила. Еще помню, однажды потеряла сына Михаила. Это уже позже было. Как раз гроза началась, а его нигде нет. Послала дочь в лес, может, думаю, грибы ушел собирать. Везде обыскались, а его нигде нет. Ну чего делать? Зашла в клеть и давай реветь. Ревела, ревела — смотрю на кровать, а он в пологу лежит. Подошла и спрашиваю, почему, мол, молчишь, мы тебя обыскались. А он говорит, что отвечать и то не может, вот как ослаб. И верно, питание совсем скудное было. Хлеба мне иногда совсем не давали. Если, говорят, будет записка из сельсовета, тогда дадим. Неправда, что, мол, хлеба у тебя нет. А в семье иногда и сухарика в доме не было.

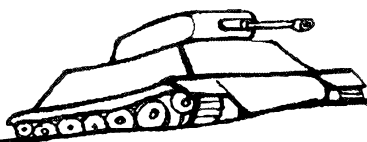
У меня была простая деревенская изба. Кругом переборки, стульев не было. А все одни лавки. Диван, правда, был. Из железа делали миски, чугунок-то и то не было. Вот так вот и жили.

Праздников никаких не отмечали. У нас в деревне Малые Муравьи до войны больно весело было, а в войну какое уж веселье. Иногда соберемся вместе, поговорим, поревем, вот и весь праздник. Да и одеванья не было, в чем ходить-то. Носить нечего было, даже лаптей иногда не было. В тепло дак босиком бегали, пятки так избьешь, что ходить трудно. Жали дак босиком, это уж обязательно.

Прямо удивительно: ели плохо, а работали как! Иногда и без обеда. Кто сейчас эти поля будет обрабатывать? Все это уж забыто. Никому нет теперь до этого дела. Работала с женщинами вместо лошадей. Пахали на себе. Нас было четыре бабы, вот и менялись. И боронить боронили, сколько земли прошли. Косила, таскала мешки на себе. Работала и на ферме. Со скотиной и то горе было. Ни дров, ни сена.

Помню, одна корова чуть меня не зашибла. Кто-то привез немного сена. Вот я и решила им дать. Может, думаю, встанут.

Одна корова больно слаба была. Дала я ей сена, а она на задние ноги вскочила, а на передние встать так и не смогла.



Рухнула на меня. Долго я после того болела, все-таки отошла. Да где только не работала. Да ведь не только я одна, все женщины работали.

Еще я помню, как-то ходили в Колянур (село поблизости. — В. Б.) в лаптях, а уж весна была. Иду по льду, то тут вода, то там. Еле-еле по реке дошла до берега. На берегу больно много снега-то, я как прыгну, да вся в снег ушла. Ноги-то в воде, чуть лапти не оставила. Давай санки к берегу тянуть. Хорошо, что веревка длинная была.

Молодая-то больно быстрая была на ноги-то, хоть куда бегала. Вот бы вернуть годы молодые, мужа бы повидать. Да ничего не сделаешь. Пореву, пореву да дальше живу. Вот на внуков гляжу и радуюсь, посмотрел бы на них муж, вот бы порадовался, да ничего не вернешь. Во всем виновата война, будь она проклята.

«Вернуть бы молодость...»

Лежнина Клавдия Михайловна, 1921 год,
село Муша, крестьянка

Все ходили пешком, в любые морозы. Одежда была плохая, часто обмороживались. Везде на работах побывала: в Кирове, в Йошкар-Оле. Помню, в Йошкар-Оле пилили деревья. Деревья не обхватишь, вот сколько здоровы они были. Силы-то никакой не было, плохо кормили. Хлеба давали по 500 грамм, да и то сырого. На квартиру придешь, и поесть нечего, что из дома привез, то и ладно. Из дома взяла сушеных картошек да вода, вот и все питание. Как-то летом набрали ночью грибов, а каких, хороших или плохих, — разве видно. Утром у всех животы болели.

В избе были лавки, один шкаф хороший. Подушка, матрац — все соломенное. А спала когда на ферме, так и на голом полу. В Кичму ездили за горючим, а обратно на себе. Нас было десятеро, бочку горючего ташили. Да, сколько мы на себе всего перетаскали, страх божий, лошадей-то не было.

Снопы на себе таскали, день и ночь работали. Днем косили, ночью сено подбирали. Кормов-то не было, лошади гиб-ли. Из тридцати осталась одна, на ней воду возили.

В праздники некогда было веселиться. До войны-то весе-лились. Да я и всю хорошую одежду променяла на хлеб.

Налогом обложили. Помню, пришла домой, а дом зако-лочен. Из печки, из сундука — все собрали. С мамки послед-нюю юбку сняли. По воду идти — ведер нет.

Вот во сне иногда увижу войну, проснусь — так и дрожь берет. Как работали в войну, сейчас так не работают. Спа-ли больно мало. Я спала в лаптях. Солнце только встанет, опять идти. Руки опухли, не могу захватить ничего. Жала на коленках. Хлеба кусок да луковицу проглотить — и опять работать. Зимой возили на лошади хлеб, тоже хоть какая погода. Мешки таскали на себе до складов. По лестнице ходили, одной рукой держишься за поручни, а другой мешок придержишь.

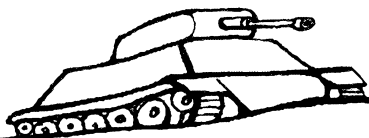
Если вспоминать, то больно много всего перенесла. Мно-го уж и забыла, время-то идет. Многие подружки и умерли.

«В войну жили дружно...»

Горячевская Фаина Павловна, 1917 год,
дер. Попова Выставка, крестьянка

Жила я тогда в колхозе «Красная заря» в деревне Попо-ва Выставка, работала во время войны на полевод-стве: пахали землю, собирали урожай. Пахали на быках, а то и сами запрягались (лошадей-то не было, всех на войну забрали). Работали и день и ночь. Работала и телятницей на скотном дворе. Для каждой скотины надо все на своем гор-бу переташить. И напоить животину и накормить — все вруч-ную. Да хорошо, есть если чем, — радуемся, а бывало, что и нечем, так вместе со скотом ревим. Жалко, а дать нечего, ни соломинки нет.

Работали мы много, а ели мало. Пойдешь на работу — нава-ришь травы, да в бурак и в сумку. На поле нарвешь шишек от



клевера — хорошо, а так-то ведь не разрешали, сторожей ставили. У кого была корова, тому намного легче жилось. Это, можно сказать, спасение. Хоть для ребятишек молочко есть, а когда удастся скопить, так и маслице. Если все хорошо, да теленочка принесет — счастье, значит, мяско будет.

Только вот волков во время войны развелось — табунами ходили, людей даже не боялись. А пастушили ребятишки, да старика какого дряхлого приставят еще, чтоб присматривал. Еще за них расстраиваются матери: как бы чего не случилось, а то почти каждый день то овцу волки уташат, то корову зарежут. А если пропадет корова — настоящая беда. У нас за десять дней до отела корову зарезали, случилось что-то с ней, заболела. Так я этот день как один из самых черных, страшных вспоминаю.

Валя (дочь. — В. Б.) у меня малолетняя была, сама-то я и травы наемся, а чем ее накормлю? Спасибо, односельчане помогли. Люди тогда очень дружные были, последней горбушкой с тобой поделятся. Раньше люди добрей были. Горе, слезы, но жили дружно, наверное, потому, что все в печали были. И детишки, и старики, как чуть посильнее — на работу. Есть ведь всем хотелось, а хлеб давали только тем, кто работал. Ребята и в школу ходили, и работали. Каждый что мог делать — делал. Многие умирали даже при работе от голода. Жил у нас в деревне Афанасий, годами стар, но крепкий старик. И так он истощал, ослаб, что однажды драл лыко да так за работой и помер. Все хозяйство в годы войны легло нам на плечи: бабам, ребятишкам да старикам.

Что необычного было во время войны, так это грозы. До войны таких не было. Все небо заволакивает тучами, кругом темно. Потом так загремит, так засверкает — в избе светло. А град бывал по яйцу. Буря подымется — дома вскрывало, крыши вздергивало, нередко и людей убивало. Страшные грозы были.

У нас в деревне было 38 хозяйств. Когда война началась, мужиков всех на фронт забрали. Остались только старики да мы с ребятишками. Война закончилась, а из тех, кто воевал, 27 не вернулись домой. Не успеем одного оплакать, а уж на другого похоронка пришла. И самое большое желание

у меня было, чтобы Федор (муж. — В. Б.) пришел живым. Он на войне был восемь лет без двух месяцев. И было такое время, когда от него целый год писем не было. Это было в сорок третьем году. Их часть попала в окружение, Федор был два раза ранен. И год никакой весточки от него не было. Все слезы, наверное, в тот год выплакала. И когда случилось первое письмо после такого долгого перерыва, так самая большая радость за всю войну это была. А потом после госпиталя ему дали месячный отпуск. Когда уходил Федор, Валя совсем мала была, не могла еще запомнить. А тут он пришел, а она к нему никак не подходит. Во всю головушку ревет и кричит: «Уходи, дядька, не трогай мою мамку!» Ей три годика тогда было. Я тоже сквозь слезы смеюсь да разъясняю ей, что это не дядька, а папа ее.

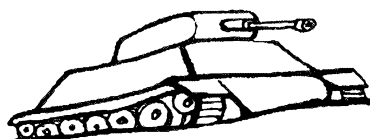
Часто ли вспоминаю те годы? Фаина Павловна, вздохнув, сказала: «А чего их вспоминать-то? Тяжело, очень тяжело жилось тогда. Теперь жизнь хорошая, а плохую зачем вспоминать? Ее забывать надо».

«Горе и сближало нас»

Ашихмина Глафира Николаевна, 1912 год,
пос. Вахруши Слободского района, крестьянка

Самое страшное в жизни — это голод и смерть. Все остальное человек может вынести. А вот голод и смерть... Вспоминать все это сил нет, да надо, чтоб вы знали и помнили.

Одну дочку мне пришлось схоронить четырехлетней. От голода она умерла. На работу я ушла и припозднилась. Сено метали, надо было довершить начатый стог. А ребята одни остались. Старшему Лене десять было. Прибегаю я домой, старшеньких нет. Танюшка сказала мне, что они в лес за ягодами ушли. А на дворе уже темнеть стало. Перепугалась я, бросилась на улицу, мечусь как глумная. Вбежала в избу, схватила миску, бросилась во двор, подоила козу. Поставила молоко перед Танюшкой и на улицу. Куда бежать? Кинулась за деревню, пробежала клеверное поле, к леску метну-



лась. Кто меня остановил, сама не знаю. У дороги, в низинке, свернувшись калачиком, спят мои ребятишки, туесок около них с ягодами. Я от радости плачу, встала на колени, давай их будить. Дошли мы тихонько до дому, и тут у меня чуть сердце не остановилось. Гляжу, а у Танюшки ручонка висит синюшая, молоко не выпито...

Мне ее и похоронить-то не в чем было. Долго мне чудилось, что бежит она за мной и просит: «Мама, одень меня, холодно...» Вот так жилось моим детям в военные годы. Страшно было, что голод унесет всех. Как только и выжили!

Люди? Люди были всякие, но больше было хороших, добрых, хотя горя у всех хватало. Горе и сближало нас. В одиночку мы все бы не сдюжили, поэтому и помогали друг другу, чем могли.

У нас в деревне Соломониha жила. Нелюдимая она была. Детей у нее не было, жила она со старухой матерью. Бывало, и на работу, и с работы — все молчком. И случилось одной тут Марье Семенихе заболеть. Увезли ее в больницу, а дома трое ребят осталось. Старшей Зине девятый год пошел, младшему Коле трех не было. Думаем, что делать, как за домом да за детьми догляд устроить, ведь у каждой своих забот полон рот.

Сидим, кумекаем, Зина еле на ножках стоит. Глядим, Соломониha идет. Подошла, поклонилась и говорит: «Мне сподручнее всех за детьми присмотреть. Пока Марью из больницы не выпишут, а я с ними поживу. Будьте спокойны, все сделаю, у меня дома не семеро по лавкам». Сказала так и в избу пошла.

Вот так мы и жили, мужиков с войны ждали. Письма с фронта всей деревней читали.

Больше всех в войну мне вот какой праздник запомнился. В 1943 году, в июле, помню, ягод, грибов сколько было. Ребята наши ожили, смеяться стали, начали бегать, по вечерам в прятки играть. А радио у нас не у всех было. Пришли мы однажды с работы поздно. Вдруг в наше окошко кто-то постучал. Я бросилась на улицу. А Сергунька Русанов никак выговорить не может, запыхался. Еле я поняла, что всех зовут к репродуктору к Вахрушевым, он у них был. Собрались мы, слушаем. Начали передавать, что под Кур-

ском немца разгромили. Что тут было! Кто плачет, кто смеется.

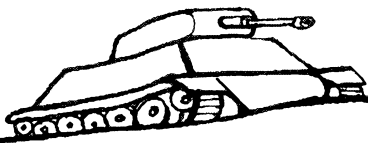
На другой день выходной дали. Мы сходили в лес, набрали грибов и общую грибовницу сварили. У кого что было, все выложили. Веселье откуда и взялось. Уж как плясали мы, кто бы видел. Такой еще праздник в День Победы был. Но больше было трудностей, чем радостей. Откуда радости приходиться-то было. В 1941 году из нашей деревни 40 мужиков ушло. В 1942-м в семь домов уж похоронки пришли. А с войны вернулись только пятеро! Вот и судите. Ведь в нашей деревне больше пятидесяти дворов было.

У всех усадьбы, их пахать надо было, не говоря уж о колхозных полях. А лошади падали от бескормицы. Вот бабы и впрягались вместо лошадей. Идешь на работу — ни поесть, ни обувь нечего. Дети есть просят. А надо пахать и сеять, потом жать, молотить. Зима подходит, а дров ни полена. Всю зиму ребята с печки не сходят. Но мы знали, что на фронте и того страшнее. Старались много о себе не думать, работали из последних сил.

Когда я схоронила Таню, у меня было самое сильное желание сохранить остальных детей. Все думала, что же мне Александр скажет, когда придет с войны, что сил не хватало сберечь детей. Эта дума мне сил прибавляла. Я во все годы картошку садила, козу держала, ребята грибы запасали на зиму, ягоды. Выдюжили, выстояли.

После войны деревня наша ожила, сыновья подросли, мужики, вернувшиеся с войны, за колхоз взялись. А вот сейчас нашей деревни нет, снесли ее. Все кто куда поразъехались. Поначалу сильные деревья стояли, а сейчас и их нет. Все распаханно. И зачем все уничтожили? Ведь в деревне жить-то как хорошо было, разве с городом сравнишь?! Воздух какой, лес рядом, а когда клевера цвели, что тебе у калки с медом стоишь, аж пьяный становишься. У каждого дома сирень и черемуха цвели по весне.

Я со своим Александром у черемухи повстречалась. Потянулась, помню, за веткой, и меня сзади кто-то за руку схватил и не отпускает. «Ты чего черемуху ломаешь, да не у своего дома? Пойдешь со мной плясать сегодня, ворох наломаю!» —



говорит мне и смеется. Я зарделась, вырваться хотела, да не тут-то было.

Он косынку с меня снял и говорит: «Пойду провожать сегодня, до дому, так отдам». Эту косынку он с собой на войну брал и назад привез. Говорил, что она ему выжить помогла. Мы, когда из деревни уезжали, спилили ту черемуху, старая она была. Вот и жизнь деревенскую нарушили, а зачем? Кому это надо было, ломать деревенские устои? Вот деревню мы с Александром часто вспоминаем. Люди дружнее в деревнях были, добрее, потому что ближе к земле жили. А от земли как от матери: молоко, хлеб, любовь и доброта.

Глава 11. Царь-Голод

«Всю траву в округе съели»

Козлова Зинаида Петровна, 1923 год,
рабочая

2 ноября 1941 года пришла повестка, хотели взять на войну. Но после комиссии оставили в Кирове на лесосплаве.

В 1944 году приехал сосед из деревни и говорит: «У тебя мать умирает с голоду. Ты, наверное, и доехать не успеешь». А в деревне у матери кроме меня еще четверо ребят. Отец на фронте. Вот я собрала у всех подруг по сплаву по 300 г хлеба займы и поехала домой к матери, может, думаю, успею еще... Идти не могу, ноги не идут, а идти надо. Подошла к деревне, бегут все навстречу, говорят: «Быстрее иди, мать умирает!» Зашла домой, мать лежит на полу, встать не может, опухла вся. Отрезала я ей быстрее хлеба, она ревет и ест. Съела кусок, полежала чуть и села. Воды попила. А потом еще отрезали ей хлеба. Она и его съела, потом встала и говорит: «Пойду корову доить, прошло теперь, теперь не умру».

За войну всю траву в округе съели, далеко стало ходить. Отец пришел с фронта, говорит: «Что вы все такие вздутые?» А это от травы. И когда уж хлеб стали есть, то прошло.

«Война отняла все мои способности»

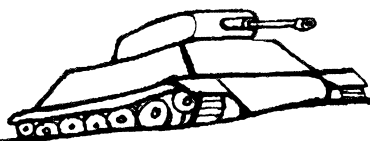
Поддубская Клавдия Георгиевна, 1924 год,
г. Котельнич, служащая

Росла сиротой. Родители умерли. Сначала умер отец, когда мне было шесть лет, через год умерла мать. В детдом нас не взяли. Всего нас было четверо детей. Мать перед смертью вступила в колхоз, и поэтому колхоз назначили опекуном. В то время колхозы были бедные. Давали нам муки по десять килограммов в месяц, и больше помощи никакой от колхоза не видели.

А учиться хотелось. В девять лет пошла в школу, хотя учиться трудно было полуголодной и раздетой. Часто приходилось собирать. День собираю да день хожу в школу. Не раз обмораживала ноги, осенью по застылой земле ходила босиком. Книги тоже купить было не на что. Поэтому все брала с урока.

Семилетку закончила с похвальной грамотой в 1941 году. Сразу же устроилась на работу в Котельниче в городскую электростанцию учеником дежурного 25 июня 1941 года. Электростанция была сердцем города. Учеником пришлось работать недолго. В основном дежурными были мужчины, только одна женщина. Скоро мужчины ушли на фронт, и я стала работать самостоятельно. После рабочего дня надо было обязательно отработать два-три часа на выкатке бревен с плотов реки Вятки. Электростанцию топили дровами, а рабочих не хватало. Отпусков тоже не было. Вместо отпуска давали купоны, которые после войны должны были заменить отпуском. После войны купоны заменили облигациями займа.

Была карточная система. Хлеба нам давали по 600 граммов в день. Еще давали карточки на сахар по 400 граммов в месяц. Но сахарные карточки отоваривали всего несколько месяцев, а дальше не стали отоваривать. Была карточка в рабочую столовую, где раз в день обедали: первое блюдо — суп из мерзлой капусты, второе — пюре из мороженой картошки. Зарплата была небольшая. Учеником получала 90 руб-



лей. А когда перевели самостоятельно, был оклад 250 рублей. Желудок отошал, жиров никаких не было. Пайки хлеба не хватало. А на рынке купить не на что. Хлеб стоил один килограмм 100 рублей. Картошка — 800 рублей пуд. Из 250 рублей вычитали налоги: бездетный, военный, подоходный да плата за общежитие, а заем государственный, так что не знаешь, как дотянуть до получки. Вот так государство обирало.

Осенью ходили после работы в поле. После копки картофеля иногда кое-где перекопаешь, и попадет несколько картошин, а весной выкапывали мерзлую картошку, и из нее готовили лепешки, и очень они были вкусные. Как-то раз я получила получку и пошла на рынок, надо было чего-нибудь купить поесть. Деньги, карточка хлебная и в столовую — все было завязано в носовом платке. Купить все было дорого, а кушать хочется, и придумала купить вилок капусты. Стала выбирать, который поплотнее, а деньги положила на прилавок около капусты.

Не успела взять кочан в руки, как платочек с деньгами и карточками исчез. Тут я еле на ногах устояла. И заплакала, и покричала, но кто поможет... Как дальше жить? Думала, умру с голоду, а работать все равно надо. Судили за прогулы, за опоздания. Опоздаешь на пятнадцать минут — судили по указу военного времени на три месяца тюремного заключения.

Дружила я в то время с одним пареньком из госпиталя, а у него не было одной ноги. Звали его Алексей, фамилия Шигаев, родом ленинградец. Госпиталь этот был рядом с электростанцией. А я жила в общежитии. Он часто с товарищами приходил к нам в общежитие, и вот ему девчата рассказали про мое несчастье. И вот он стал покупать у своих ребят в госпитале пайки хлеба и сахар. Некоторые продавали или меняли на махорку. И вот когда идешь с работы вечером, а он сидит у окна и ждет, когда я пойду. Открывает окно и подает мне эти пайки в кошельке. Мне очень стыдно было брать, ведь я девчонка, но вечером хоть никто не видит.

Но как-то раз заболела моя напарница, и мне пришлось работать подряд две смены. Ему сказали мои подруги, что

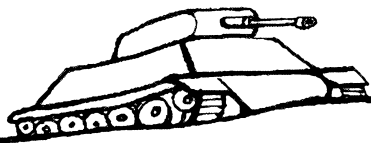
я на работе. И вот он в тамбур электростанции на костылях с белым мешком в руках пришел, в котором лежали хлеб и сахар. А я и не знала ничего. Сижу, дежурю. Вдруг звонком меня вызывает вахтер. Я иду спокойно, потому что часто вызывали абоненты с заявками на исправление света. И вдруг увидела его с мешочком, а он подает его мне, и я от краски чуть не сгорела. Мне было очень неудобно и стыдно перед вахтером, но все равно взяла. И вот так целый месяц он прокормил меня. Если бы не этот добрый человек, конечно, мне бы не выжить.

Продать было нечего, а купить не на что. Свалилась бы, да и все. Дай бог ему здоровья. Не знаю, жив он или нет... Адрес его я потеряла при переезде, и если б сейчас найти его, то не знаю, как бы я его отблагодарила. В те военные годы ребята были очень замечательные. Хотя материально жили плохо, но морально отлично. Мы не понимали никаких мод, у кого что есть, тот то и одевает. Ходили в кино, на танцы, время проводили весело. И за все военные годы, сколько мне приходилось встречаться с ребятами, никогда и нигде не встречала, чтоб кавалер был выпившим.

«Я ходила по деревням со шприцем»

Уракова Александра Дмитриевна, 1924 год,
дер. Обухово, фельдшер

В декабре 1941 года я окончила медшколу в городе Советске и начала работать. Работали больше по профилактике сыпного тифа, брюшного тифа и детских инфекций. Был и осмотр на вшивость. Оборудование на медпункте — один градусник, стетоскоп деревянный да несколько шприцев. Внутривенно ничего не делали. Дороги плохие, лошадей нет, не на чем было ездить людям к врачу. На медпункт ходили редко. Ежемесячно отчет сдавали о том, сколько выявлено вшивости, длинный, помню, был отчет, мы его «вшивой портянкой» называли. Детям прививок никаких не делали. У нас



на участке была болезнь — септическая ангина со смертельным исходом. Это из-за употребления в пищу зерна, зимовавшего под снегом. Варили и ели мясо павших животных.

В войну нас, медиков, тоже заставили работать в колхозе. Больше всего я переживала из-за того, что нечем было помочь людям. В районную больницу не на чем было отправлять. Рожали тоже дома. Деньги заработанные выдавали иногда раз в полгода.

Тяжело было смотреть на эвакуированных. Они умирали от дистрофии. Если у своих имелся огород, то у этих ничего ведь не было. После войны еще долго плохо жили. Есть нечего было, скот кормить нечем, топить нечем, привезти тоже не на чем. Возили на салазках, далеко. До войны-то еще техники не было, а уж после войны вообще ничего не осталось. Лошадей — которых на фронт взяли, а какие в колхозе оставались, так те или с голоду пропали, а которых на работе замучили. В войну ведь нечем было их кормить, а работать заставляли намного больше.

У детей много было рахита, дистрофии, некоторых клали на койку. Лечили рыбьим жиром да известковой водой, больше ничего не было. Когда в Дубовой работала, там тиф сыпной свирепствовал, вшивость была большая. В деревню привозили камеру, обрабатывали в ней одежду, заставляли топить бани — так боролись с этим. При райисполкоме была создана даже чрезвычайная комиссия по борьбе с сыпным тифом. Делали профилактику против кори, вводили кубиков по шестьдесят. Рев сильный по деревням стоял. От скарлатины делали пятикратные прививки, но они мало помогали. Пока весь курс из пяти прививок сделаешь, так человек успеет заболеть не один раз.

Много было случаев дифтерии. Примерно после пятидесятого года ввели прививки против дифтерии. Я ходила по деревням со шприцем, люди не давали делать уколы. Иногда просто, завидя меня, прятались, а дети убежали из деревни и ждали, пока я уйду. Профилактику дизентерии делали бактериофагом. Ходили по деревням со стаканом. Кого из ребят на улице встретишь, напоишь, а кого и дома не заста-

нешь. А вообще люди закаленные были, меньше болели, если, конечно, никакая инфекция не попадет.

Собирали по деревням государственные займы. Придет из района человек с бумагой — сколько нужно собрать денег. Соберут всех в одну избу и не выпускают, пока человек не подпишется на назначенную сумму. Это тоже зависело от достатка семей. Кому побольше давали выплачивать, кому поменьше. Трудно было до того, что и теперь подумать страшно.

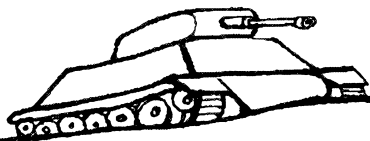
«Падают, да идут на работу»

Памелова Ольга Егоровна, 1916 год,
дер. Долматово, рабочая, медсестра

В войну ни одного радостного дня не было. Только все плачут, дети у всех голодные были. Бабы придут на работу — рассказывают, что есть нечего, детей нечем кормить, так и сама-то расстроишься. Со мной вместе две девчонки работали, в общежитии они жили. На работу придешь, спросишь: «Девки, ели ли?» — «Нет», — говорят. Так что принеешь поесть — с ними разделишь. Раньше ребенки много-то не бегали, силы не было.

В войну соли даже не было. Ничего интересного не случилось, абсолютно ничего, а только бабы выйдут на улицу, заговорят — у той да у другой дети голодные: по трое-четверо ребенков, а мужья не вернулись. Лес колхозники помогали рубить — бабы, девчонки. Лес грузили вручную, веревками таскали на вагоны. Только вагон загрузят, а им сразу же новый давали. Зимой веревки все замерзали. Бабы чуть не ревут: «Ну провались вы с этими вагонами».

Старики тоже работали. Раньше пенсии не было, до самой старости работали. Только уж когда незаможет, так тогда дома оставались. Падают, да идут на работу. Все мы тогда хотели, чтоб парней не всех убило, чтоб они домой вернулись, чтоб война кончилась. Больше нам ничего не надо было.



«Кому-то нужно через это пройти»

Калашникова Елизавета Степановна, 1926 год,
дер. Аничкино, крестьянка

В те годы я уже заканчивала школу. Школа была далеко-далеко от деревни, километров двенадцать — четырнадцать будет. Все, когда узнали, что война началась, страшно испугались. Мужики стали на фронт собираться. Ушел и мой отец Степан Егорович и брат Николай. Остались мы: другой брат, три сестры, мать и я. Семья, конечно, была большая. Я осталась самая старшая. Сестры, считай, погодки были, да брату Сане девять лет. Мать работала в колхозе, утром уходила и вечером приходила. Вся работа по дому была на мне, и Саня помогал. Конечно, к матери прибежим когда на поле, поможем.

Были, правда, и лошади, но маловато. Да еще трактора были, две штуки, да плохонькие — все ломались. Мужиков-то в колхозе осталось три человека: председатель наш, конюх Гаврила и еще один, он на тракторе работал. На войну его не взяли — у него в организме что-то со здоровьем было неладно. А на другом тракторе Наталья Лихая работала. Это так ее прозвали, уж больно шибко на тракторе каталась. Ну и трудиться была мастерица. Пока все не сделает — все работает. А ежели трактор сломается, так чуть не бегом в район за мастером. А потом даже сама научилась исправлять какие неполадки.

Работали сильно, ведь нужно было и на фронт отправлять, и самим чем-то кормиться. Да корову держали, сена много надо было. Вот летом все на сенокосе. Косили вручную литовками. Лени тогда не знали, трудились хорошо. Сорок-то первый год выдался урожайным, много и картошки, и зерна было; и в своем огороде все уродилось. Первый год мы еще голода не испытывали, да и старые запасы были, ведь раньше в деревнях закрома держали. А вот в следующие годы голод стал прижимать.

Сильно плохо стало где-то в 1943-м, там еще и неурожай был. Считали каждое зернышко, картошечку. Летом-то еще

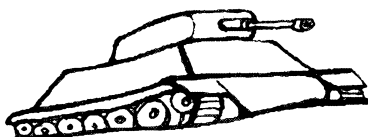
полегче: кисленки в огороде подерем, черемуха, да и лес рядом — ягод да грибов. Рыбу удить, правда, плохо умели, это у нас мужики мастера были, а мужиков-то теперя и не было. Так я Саньку утром рано будила и на реку посылала. Пока по дому хлопочу, корову выгоняю — он чего, глядишь, и принесет. Сварим, похлебаем.

Все одно ж без хлеба не еда. А хлеб пекли — сейчас и в рот не возьмут: и траву, и мякину, и мелкий опил ложили — все в ход шло. Много, конечно, и на фронт шло: картошку, зерно — все слали. Под осень в поле колхозном картошки накопаем, что в земле осталась (вся почти гнилая), и ту варили, а более годную перетирали на крахмал и делали половинчатые лепешки.

Да корова наша, конечно, была основной кормилицей. Доилась хорошо, а вот молока оставляли только для сестер, а остальное молоко сдавали в район.

Зимой поменьше работы было. Собирались в избе у какой-нибудь бабки: вязали, ткали половики, пели песни и разговаривали о том о сем — вот и был это для нас отдых. А летом, весной, осенью — все в работе, не передохнуть. До войны жили очень уж хорошо. Мужиков было много, парней. Когда мужик в доме, тогда и хозяйство на ладу. Вечеринки были. А уж как весело парни на гармони играют — девки, значит, пляшут, песни поют, хороводы водят. И в доме и на дворе все было. Никто и не думал, что вот так может случиться.

Брат мой Николай не вернулся домой, в 1944-м на него пришла похоронка. Когда получили бумагу, мать стала вообще молчаливой, а ведь раньше была весела и песенница была, в округе такой не найдешь. От отца письма-треугольнички приходили редко, писал мало. Жив, здоров, бьем врага, береги моих деток, веди хозяйство, не волнуйся, мол, все будет хорошо. Приду, говорит, жизнью хорошей заживем, все по-новому будет. В 1945-м в начале пришел отец домой. Комиссовали его по ранению. Помню, мы в огороде стояли. С лужков прямо в огород дрова завезли. Лес с той стороны был, с огорода, значит, дрова-то и пилили. Соседка бежит вся в слезах. Мать-то моя закричала, и что, говорит, случи-



лось. А она — да я от счастья плачу, хоть первый мужик пришел. Только проговорила — и отец со двора заходит. Конечно, радости было — не высказать.

Отец работающий был и сразу за хозяйство взялся. И все вроде хорошо, вот только старшего Николая не случилось. Хоть я тогда и не велика была, а все понимала, что война. Горевали много, причины были всякие. То коровушка прихворнет, то зерно побьет дождем. Похоронки, конечно. Радости уж больно большой не было. Помню, радовались все в нашей деревне, когда впервые привезли кино. Пришли все, кто смог, уселись, значит, и смотрим. А дядька, что кино привез, — сейчас, говорит, начнется. Показывали города, машины, людей, корабли, самолеты — много чего, ведь мы тогда еще никогда такого не видели. Сидели с открытыми ртами. Долго потом мы его вспоминали. Больше кино не привозили, опять радостей не стало.

Страшно было за отца, как бы не убили, а до похоронки за брата переживали, как бы Николая не убили. За корову было боязно, ведь, считай, одна кормилица была у нас. Думали, а вот немец победит, что тогда делать будем. Слава богу, что не победил. Хотелось посмотреть, какой из себя немец. Мы думали, что он очень страшный и злой, верили этому и маленьким рассказывали.

Детям жилось так же трудно, как и большим, приходилось им, бедным, работать с раннего детства. Болели очень часто, умирали от хвори да от голода. Игрушек не было, от матери ласки почти не видели, ее самую бы кто приласкал.

Некогда всегда было. Приходила она с работы, еле на ногах держалась. Зимой из-за одежды и обуви сидели дома, не ходили в школу. Конечно, жилось очень трудно. Хотелось идти куда-то учиться. Мечтала трактористкой стать, сестрой милосердия на фронт уйти, но я ведь старшая, маме надо было помогать с детьми. Хотелось в город съездить, посмотреть, что это такое. Это сейчас с малого детства все видели. Хотелось поиграть, побегать, а приходилось работать.

Прожитые годы жалеть нельзя, что уж, как говорится, Бог дал, то и возьми. Ведь все равно кому-то же нужно было через это пройти. Пусть наши дети живут счастливее.

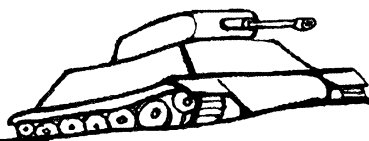
«Огромное желание людское выжить»

Осмехина Валентина Николаевна, 1922 год,
дер. Тюмень, учительница начальных классов

На полях в войну главными орудиями были лопата, серп, коса-горбуша да огромное желание людское выжить. В 1943 году я была призвана на работу в школу в освобожденных районах Смоленщины. Из Кировской области послали пятнадцать молодых учителей. От Кирова до Смоленска добирались железной дорогой мы восемнадцать суток. Смоленское облоно направило меня в райцентр Велиж. Добиралась туда как могла (железной дороги не было), шла шестьдесят километров пешком, ехала на попутных военных машинах. А там роно меня с подругой, Ниной Михайловной, отправило дальше в глубинку за сорок километров, в Ботаговскую начальную школу Зубковского сельсовета. Пришлось принять директорство и вести сразу два класса, да еще начальную военную подготовку. Да еще и здания-то школы не было. Деревня была цела, а школу фашисты превратили в конюшню и при отступлении сожгли. На площади мы еще увидели ужасное зрелище — столбы от виселиц.

Приехали мы на место работы с Ниной измученные, похудевшие, страшненькие. Боялись, справимся ли. Но детвора встретила нас радостно. Они нас ждали, ведь не учились уже третий учебный год. А какие для них это были страшные годы! Пришел в третий класс Вася Левченко на костылях, а мог бы мальчик учиться уже в шестом. Он подорвался на mine. Когда построили детей на линейку, сердце сжималось в комочек, когда мы глядели на их измученные лица.

Ждали открытия школы и их родители. Они к нашему приезду в бывшем колхозном клубе устроили две классные комнаты. Парты и сиденья сделали временные из досок. Начали учебный год 27 декабря, не имея ни одного учебника, ни одной тетради. Дети писали на старых книгах, газетах. Через месяц я раздала каждому по одной тетради. Для эко-



нонии бумаги на уроках математики, русского языка часто писали на столах мелом, а потом, выполнив работу, тут же стирали влажной тряпкой.

Дети были настолько старательны, настолько серьезно относились к учебе, что положенный годовой курс выполнили с декабря по июнь. Все перешли в следующий класс. А ребята четвертого класса успешно сдали государственные экзамены. Эти успехи детей я бы назвала ребячьим подвигом, так как в школу они приходили полуголодные. Не было хлеба, овощей, молока. Фашисты уничтожили в деревне весь скот. Летом мы с ребятами работали на полях. В это же лето из глубокого тыла в деревню пригнали стадо коров и несколько лошадей. Какая это была радость, праздник для колхозников, уверенность, что выживем и победим!

Нелегко нам с Ниной Михайловной было. Мы ведь тоже каждый день были голодными. Получали на месяц по карточкам шестнадцать килограммов какого-нибудь зерна, мололи его на ручных жерновах. Тем и питались. Весной 1944 года пришлось особенно трудно. Местность там равнинная, болотистая. А село, где мы получали паек, было в десяти — пятнадцати километрах. Из-за сильного вешнего разлива два месяца мы не могли получать паек. Не было совсем соли, сахара. Я серьезно заболела цингой, мучил фурункулез. Были времена, что отчаивалась — выживу ли... Но я не имела права пропустить рабочий день.

Ближе к лету нас спасли шавель и пesty.

Постоянной квартиры мы тоже не имели. Жили поочередно в домах у местных колхозников. Но принимали они нас сердечно, как членов своей семьи. Приобрести мебель, одежду, обувь, посуду мы не имели возможности. Но мы понимали, что так жилось всему народу. Настроение у наших детей, да и у всех в связи с успехами Красной армии менялось на глазах, хотя похорожки все продолжали приходить в семьи. Но горе спланивало людей. Делились последним куском хлеба, последней тарелкой ботвинницы. 1944—1945 учебный год уже пошел, кажется, своим чередом. Болела душа за родных. Вот и весна 1945 года, с ней и победа.

Когда я вернулась домой, то первое впечатление было такое, будто деревня осела, вросла в землю, как и моя мама. На улице была какая-то тихая, тихая пустота. Домов так и осталось тридцать семь. До войны в них жило 120 человек. На фронт были призваны двадцать четыре мужика и парня. Из них семнадцать человек не вернулось, остальные имели ранения. А сколько людей, как мой отец, умерли от чрезмерной работы в тылу?

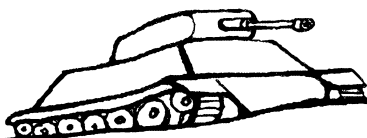
«Соль ела»

Фетищева Клавдия Григорьевна, 1915 год,
г. Вятка, рабочая

Началась война-то. Ничего не стало. Не успели мы дров заготовить, так в холоде сидели, нетоплено было. Вот он (муж. — *В. Б.*) собирался, мол, что: «Пойду в отпуск с первого (июля. — *В. Б.*), дров наколю». И его в армию взяли — на фронт взяли. И я, че, осталась. Купила печурку такую железную, маленькую. Их на рынках продавали. Вот такая печурка, небольшая. И дрова такие на рынке покупала, а где брать-то? Государственных-то не было.

Отдых, говоришь? Какой отдых? Миленький, на что жить-то приходилось? Сто рублей на старые деньги мне платили. Муж на фронте, двое детей. И так вот раскошелясь, купи. Накорми ребенков, за квартиру уплати, а еще ведь надо керосин, с копилкой сидели, электричества не жгли. За что платили-то? Дак за то, что отец-то ушел на фронт, так за него. Помощь... Я ведь не работала. Сто рублей платили.

А чем жила... Так вот, карточки хлебные давали. По 300 грамм на человека, там крупа, там масло, там сахар, ну, мясные талоны, соль... На все талоны были. Дак ничего этого не было. Бегашь-бегашь с карточками-те. Только получишь соль да хлеб. Масла не было никакого. В войну жить трудней? Господи, да как не трудней! До войны-то мы как жили, квартал тут до рынка-то, под боком. Уложу детей спать



да эдак минут за пятнадцать сбегаю. Мяса-то — дак рынок ломится. Выберешь, какое тебе надо мясо, молоко. Все на рынке покупали. Муж-то бухгалтером был, на двух работах работал. Дак ведь и дешево все было. На старые деньги, смотри. Вот было три рубля мясо, дак счас, че, тридцать копеек? Три рубля тогда дорого считали. Два, два пятьдесят. Ак идешь, дак ведь тебя чуть не за рукав ловят. До войны, конечно, лучше было, может, потому, что населения меньше было. Киров-то был маленький.

Заводы-то до войны и здесь были: машиностроительный, спиртоводочный, шубно-овчинный, где я потом работала. А в городе пекарни еще были. «Рекорд» — была пекарня большая... Очень хороший хлеб делали. А сейчас хуже хлеб. М-м-м, ниче близко нет. Вот французские булки были до войны, гребешком такие. И вот сожмешь так кулак-от, отпустишь — она опять така же. А вот под гостиницей зайдешь, ну он, правда, больше всех был магазин-то, по Вятке-то. Зайдешь, дак и живая рыба, и икра, и красная, и черная, и конфет каких токо нет, каких токо нет конфет — прилавки ломаются. А яиц вот не было. Яйца покупали на рынке. И после войны яиц в магазине не было тоже. Это где-то уж, поди, в эти годы они появились. А после войны вот че появилось — мясо. Появилось в магазинах и много — два рубля, так это уж сменились деньги (1961 год. — *В. Б.*), да как осень, дак ведь завалят мясом. И почки, и печенка, и уши, и ноги, и головы; мясо свиное, говяжье, какого только нет... И на рынке полно...

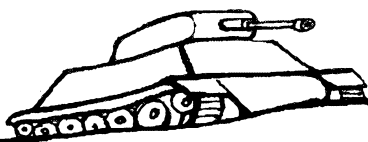
Какая радость в войну? Чему бы радоваться-то? Ну вот поверь, что я 900 грамм получу хлеба, дак мне отрезать и отнести молока четушку купить, отрезать — продать на дрова надо. Ак мне самой-то че оставалось? Вот соли давали, дак соль ела. Наемся соли-то, кусочек-то хлеба вот такой махонький весь его усолю, дак пить хочется. И пьешь. Будто и сытый. И детей кормить-то надо. Хорошо, что малы были еще. Больше были, так не выжили бы, конечно. Еще вот как взяли Ивана (мужа. — *В. Б.*), наверно, недели не прошло, Коломенский завод приехал. Дак четверых поставили мужиков ко мне. В эту комнатушку, подумай-ка! Помога-

ли ли? Нет! Наоборот, один еще ворюга попал, дак ревела. Рядом с нами жила Иванова сестра, и ребенки у ее жили в деревне у сестры. А поек-то она получала мукой. Она муку-то эту хранила в сундуке. Опять соседка жила за стеной, у нее был участок, она картошку садила. Сундук тоже имела большой такой, обитый железом. Туда картошку сложила.

Воровал-то, молодой был. И вот трое-то уехали, а он остался. «Клава Григорьевна, я до Ивана Александровича поживу». Че, кто его знает, придет муж, не придет. А этот — поживу, поживу, обещают общежитие дать, обещают. Дак вшей-то не могла обратиться от него. Я приду, надо воды принести. Еще где найдешь зимой-то. Застыла вода-то. А пойду, оставлю их (двух дочерей. — В. Б.) одних. Ак он: «Клава Григорьевна, иди, я сейчас понянчусь». Людмилу в коляску заверну, а Галя-то уже бегала. Ну он ее на руки возьмет. Как подержит ее, так опять вши, вши ползают по ней. И он чего значит? Вот я уйду, а он ключи сделал к этим к обоим сундукам. Откроет, возьмет картошки, возьмет муки. Я приду, он говорит: «А я, Клавдия Григорьевна, вот шел с работы, дак стаканчик мучки купил, дак я счас похлебочку сварю. Вот картошечку купил да стаканчик мучки».

А тут вот, значит, как золовка-то хватилась. Муки-то много он съел. И соседка тоже. А у соседки опять нянька была, жила у них. Кем-то отец у соседки непростым был, дак ну раньше держали прислугу-то. Ну эта нянька, трясогузка такая, старуха-то и говорит на меня, что я картошку съел. И они с ней двос-то на мсня, так шепчутся, перешептываются. А я не знаю че. Потом и она вслух говорит: «Вот картошку-то сожрала, так бегает». — «Какую, — говорю, — картошку?» — «Из сундука всю картошку перетаскала!» — «Где, когда?»

Ну а потом муж полгода лежал в госпитале. Привезли, дак ночь ночевал еще не в больнице. Рука перебита и нога, все в гипсе. Вот я его вела до госпиталя, где сейчас Центральная баня. Тут был этот госпиталь. Токо партийных тут ложили. А Иван ведь был беспартийный. Привела его туда, а не берут: «Нет мест» — и все! Ну я и заревела. День мы целый шли



с ним. И ведь не с костылями, не мог ходить еще на костылях-то. Такой худущий, одни кости. Вот я, значит, и заревела. Пришел главный врач, говорит: «Хорошо, давайте вашего, устройте здесь его, в коридоре». Ну, господи, хоть в коридоре, дак все равно уж накормят и будут ухаживать. Неужели нет?

Ну, он там с месяц, наверное, лежал. День на третий или на четвертый сестра-то пошла к нему и рассказала. Мол, жена воровала муку у нас, и у меня брала, и у соседей картошку.

Иван мменя заругал другой день, а я че знаю? Говорю, ни в жизнь того не было. А шагнула из госпиталя: «Господи, если есть Господь, дак накажи! Накажи ее! Накажи за мои слезы!» И точно, она пошла в баню, шерстяной полушалок надела и потеряла. Утащили там у нее.

Полгода Иван лежал, не мог ходить, а потом стал ходить, ну, поправляться стал. Стали кормить его, он завтрак съест, а обед нам несет. Поужинаем там.

Больше всего в войну хотели наестись досыта. Мы так говорили: «Если токо кончится война, хлеб будет, дак будем досыта ести, проедать, сколько заработаем денег. Все будем проедать!»

«Из наших мальчишек никто
не вернулся»

Шипицына Нина Афанасьевна, 1924 год,
дер. Лойно, врач

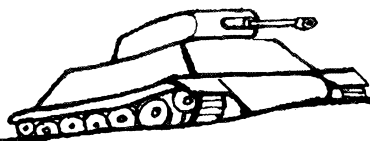
Мать моя неграмотная была, жили бедно. Училась я всегда хорошо. А когда война началась, я как раз десятый класс кончала. Вот в июне 1941 года у нас вечер выпускной был. А наутро и война началась. Всех мальчишек из класса — сразу на фронт. Даже тех, кому еще не было восемнадцати. Одни женщины в деревне остались. В июне, июле, августе — проводы, проводы, проводы... Деревня-то большая была, больше триста дворов. А на проводах и гармошка,

и песни, и слезы. Сплошной вой под гармошку. Из наших мальчишек никто не вернулся.

Учиться было хоть и трудно, но интересно. Хлеба по карточкам давали мало. А я всю войну, каждый день есть хотела сильно-сильно, никогда мне этого куска не хватало. Но была румяная, здоровая, все даже удивлялись. Чтобы легче было немного с едой, я уже на втором-третьем курсе пошла работать в детский дом сестрой. Там по ночам надо было дежурить. Дети все до такой степени истощены, кожа да кости, глаза какие-то потухшие. Если один проснется, то вся палата кричит. Вторая палата тоже просыпается. Ужас какой-то. Почему-то кажется, что в ад попал. Жалко каждого, и не знаешь, как кого успокоить. После этой ночи бежишь в институт. На лекции сидишь, засыпаешь, стыдно, но глаза слипаются, сил нет. Через двое суток опять дежурство.

Но училась я хорошо. Всегда меня ставили в пример. Помню такой случай. Тетрадей же тогда было очень мало, а у меня и вовсе их не было, писали кто на чем. Так вот, я купила в книжном магазине плакаты какие-то. У них одна сторона красная, а вторая чистая, белая. И я из этих плакатов сшила себе тетради. Так, помню, профессор увидел у меня это, схватил и перед каждым стал трясти и говорить: «Вот видите, человек-то как хочет учиться! Вы только посмотрите — если хочет учиться, все ведь может!»

А жили мы очень бедно. Очень редко, если были деньги, покупала я обеды, цена у них была более-менее божеская. Хотя и есть-то там особо было нечего — водичка, там капуста плавает, редко картошечка. И еще чайная ложечка растительного масла. Мы для этого с собой носили маленькую чашечку и ложечку. Масло туда выливали. А потом, когда там в чашечке уже несколько порций — туда макаешь хлебушком и с солью — царская еда, величайшее наслаждение. Голод — ежедневный. Есть постоянно хочется. Наверное, от этого дважды в обморок падала. Пришли мы первый раз в госпиталь, а мы же учились на стоматологов, вот нас и привели в челюстно-лицевую хирургию. А там раненых — ну, война же идет. И вот увидела я раненого, у кото-



рого нет полностью нижней челюсти и части верхней. Лоб, глаза, и дальше дыра, все черное, обожженное... Ужасно. Вот тогда я второй раз в обморок упала. Все сбежались. Это вообще-то среди нас не часто встречалось. Все равно как-то держались.

Помню, один раз пришлось особенно туго. У меня туфли совсем разносились, подошва отваливается, ну совсем ходить не в чем. И денег нет. Тогда решила я сходить на базар и продать свою хлебную карточку. Ходила я, ходила. Все еще боюсь, что ограбят, тогда совсем хоть не живи. Продала я ее за 300 рублей, пошла покупать туфли-то, а они все — то 500, то 700 рублей. И купила я себе ботинки. Такие страшные, черные, некрасивые. Как мне потом было стыдно в них ходить, но что поделаешь! Этот месяц у меня вообще был самый тяжелый, наверное. Есть-то было нечего. Сначала было у меня немного сушеных овощей, которые я из дому привезла, а потом и они кончились. День ничего не ем, два ничего не ем. Сил больше нет.

А у нас девчонка одна училась, так у нее родители, видно, неплохо жили и посылали ей каждый месяц мешок сухарей. И вот пошла я к ней (Лида вроде бы звали, не помню сейчас) и говорю: «Одолжи мне два сухарика, а я когда карточки получу, я тебе сразу же отдам». А она мне вдруг говорит, и так с опаской еще: «А вдруг не отдашь?» Вот такого я не ожидала, да пропади ты пропадом, ничего мне не надо. Она долго потом за мной бегала, просила: «Да возьми, возьми!» Нет, я уже не могла. Мне уж легче было поголодать, чем вот такое унижение.

Ну, ничего, прожила. Было бы мне совсем уж туго, но иногда везло все-таки. Как-то раз у меня подруга познакомилась с лейтенантом, он ее в кино пригласил и друга с собой взял, и я тогда тоже пошла. И вот там я и познакомилась с Колей. И были-то мы знакомы только один вечер, потом он у меня адрес взял и уехал. Писали мы друг другу письма. Он на фронте был, воевал. Но у него горе было — не мог он найти мать свою и сестер, потерялись.

Тогда он мне вдруг стал деньги посылать, посылает и пишет: «Мать найти не могу, а оклад мне идет большой

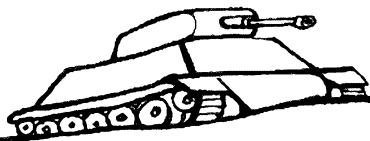
(видимо, как офицеру), если меня убьют, так эти деньги пропадут, а здесь мне они все равно ни к чему». И вот так он мне эти деньги и посылал. Послал около 2000 рублей. Это было очень много. Я себе на эти деньги и одежду покупала, и еду. А потом он как-то перестал писать, и деньги больше не приходили. Я этого Николая еще после войны долго искала, все хотела ему долг отдать да в ноги поклониться. И никак не могла. Вот ведь добрый человек, сколько доброго сделал. Я ему всю свою жизнь спасибо говорю. Без него не знаю, как бы я выжила. Мать мне деньги редко посылала, да и откуда они у нее, она же не работала, все по хозяйству. Почему он писать перестал? Не хочется думать, что убили.

«Мы радовались как дети»

Вершинина Пелагея Лаврентьевна, 1905 год,
дер. Вершиницы, крестьянка

Бабы и дети, обессилевшие от горя, плакали громко. Вой стоял в деревне, особенно по вечерам. Было даже страшно проходить по улице мимо домов. Потом мы начали голодать, запасы, какие были, иссякли до капли. Дети стали хворые. Лечили в домашних условиях всякие лекарки, а дети все равно начали помирать. Началась корюха, скарлатина, желтуха. От желтухи умирали женщины, оставляя детей. Мне никогда не забыть, как я зашла в один дом, услышав рев, и увидела троих маленьких детей: четырех, двух лет и одного года, у которых умерла мать от желтухи. Они были одни дома — худые, грязные, голодные, а отец еще не пришел с работы. Мне их так стало жаль, что я привязалась к ним, а они ко мне. Для меня это был радостный и счастливый день 1943 года, когда я нашла и полюбила детей. Позже мы поженились с отцом этих ребят.

Потом узнала, что в этой семье после смерти матери умерло еще двое детей (мальчик и девочка). Очень жалела, что не пришла раньше, может, смогла бы их сохранить. Я очень



люблю детей. Все, что могла раздобыть, хотя бы горсточку ягод или крапивы вареной, — я все им несла. А они меня ждали с работы, за километр встречали, все трое, радовались как могли, обнимали, целовали, и я была самая счастливая.

Но однажды не оказалось дома Володи, ему уже был четвертый год. Везде стали искать: в овинах, на поскотине, на картофелище, в канавах, в поле. Таскали весь вечер. Я была в отчаянии, плакала и вдруг увидела его в клевере. Он объелся головок цветочных, ему было плохо. Когда мы его подняли, он едва дышал. Я закричала, сбежались женщины и стали с ним делать все, кто что может. Он через некоторое время стал открывать глаза и подавать голос. И с великим трудом я его выходила. Счастье-то какое! Он был очень худой, так как есть было нечего, особенно зимой. Тяжелые были годы... Не было радио, света; сидели с лучиной по вечерам. Не знали вестей с войны, но иногда нас собирали прямо в поле, и председатель немного рассказывал нам о наших победах и вообще об обстановке. Мы радовались как дети, если вести были хорошие, и это у нас поднимало дух. Мы старались еще больше работать изо всех сил.

Детей старались учить в школе, которая была в нашей деревне до четырех классов. Был один учитель на всех детей. Он был хорошим человеком. Иногда некоторые ребята от голода падали в обморок, и у него к такому случаю всегда была картошка, и он давал ученику немного поесть.

Наступал сорок пятый год, стало еще голодней и трудней. Есть нечего, носить нечего. Некоторые дети совсем не могли ходить в школу, а бабы на работу. Приходил председатель — просил из последних сил помочь фронту; говорил, что скоро кончится война. К весне скот в хозяйствах гибнул с голоду. Началась посевная — все, кто мог, вышли пахать. Поле было в трех километрах от деревни. Вдруг видим — идет мальчик босый и машет руками. Мы увидели и приостановились, чтобы услышать, что он кричит. Одна баба поняла — война кончилась. Мы пошли навстречу, некоторые падали, подкашивались ноги — то ли от радости, то ли от изнеможения. Это было 9 мая 1945 года.

«Душа вон!»

Перминова Татьяна Ильинична, 1915 год,
рабочая

Вспоминать про то не хочется. А иногда вспомнишь — Душа вон! Помню в городе только серые дома и очереди за хлебом. Занимали очередь вечером, стояли всю ночь и только к вечеру получали по карточкам хлеб. Детей оставить не с кем, а хлеб нужен.

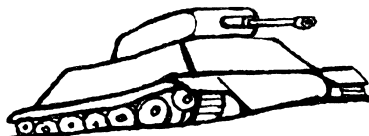
Страшно было, помню, как соседи болели от голода. Мать у них была безответственная. Хлеб, который получала на паек, съедала почти весь сама или меняла на вино, а дети голодали.

Голод вообще был везде. Одежды у нас никакой не было, т. е. только самое необходимое, да и то — серые тряпки. Все покупалось и продавалось на рынке. Но не все люди голодали. Я ездила за мукой к сестре, в деревню (у них тоже голод был после войны), останавливалась у дальних родственников. Очень запомнилось, что ни в одном доме не было нормального хлеба (почти одна трава), а у них — белый каравай. А в то же время свекровь ихняя пухла от голода. Хлеб они, наверное, воровали.

«В мешках не было муки»

Суслопаров Владимир Иванович, 1925 год,
дер. Рябовщина, рабочий-шлифовщик

В 1947 году мне дали отпуск за пять лет флотской службы. Когда мы с товарищами сели покушать на вокзале Мурманска, то нас окружили пацаны, человек тридцать, которые увидели у нас бутерброды со сливочным маслом. Мы почувствовали, что они такой пищи давно не видели. Тогда мы всю еду свою раздали им. Тогда буханка хлеба с рук стояла 300 рублей. Дома тоже ждали разочарования: демобили-



зованный сосед мой и двоюродный брат, который старше меня на год, работал в то время бригадиром и пригласил меня в гости.

Его мать, моя тетя, принесла закусить нам два яичка. Когда я спросил хлеба, то она заплакала и сказала, что такой хлеб я есть не буду. Я все-таки настоял, и она принесла нам черные лепешки под цвет угля. Когда я откусил, то не знал, как проглотить его, а выплюнуть не мог, т. к. боялся обидеть родную тетю. С большим трудом я проглотил тот кусок. В этих лепешках не было главного — муки. Лепешки были из клевера, прошлогодней картошки с добавлением древесных опилок. Единственно, что спасало тогда семьи от голодной смерти, это молоко, у кого была корова, и картошка.

Глава 12. «Я и лошадь и я бык...»

«Песни были пополам со слезами»

Солодовникова Нина Алексеевна, 1918 год,
дер. Студеново, крестьянка

Все изломала война. Васю (мужа) в 1942 году взяли на войну, и последнее письмо я получила от него в октябре 1942 года из-под Сталинграда. И остались мы без мужика в доме: двое маленьких детей, свекровь и золовка. Вспоминать о той жизни не хочется, не жизнь была, а каторга, но все вспоминается само. Кем я работала в войну? Да всем была! И пахала, и сеяла, боронила, и жала, и молотила, и грузила. Потом мешки возили государству. Работала в лесу, на конном и скотном дворах. Работали от темна до темна. Ели плохо, к осени лучше, а к весне хуже.

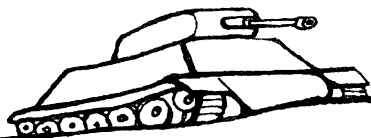
Наша деревня еще жила лучше, чем соседские. У нас из своих не было нищих, а вот от соседних деревень нищие к нам шли все время. Кажинный день под окном было

слышно: «Подайте Христа ради». И, уходя на работу, оставляли для нищих куски хлеба, вареные картошки, чтобы дети им подавали. Жалко было, ведь собирали дети, старики или калеки. Самой большой опорой тогда была кормилица — корова.

Время было очень голодное. Ну, с осени хлеб был чистый, из одной муки. С «говенья» начинали в хлеб добавлять картошку, а к весне уже и траву: молодую крапиву, клевер, листья свеклы. Когда снег стаивал, собирали мерзлую картошку, которую не успели выкопать осенью. А когда поспевала рожь, варили из зерен кашу. Так и жили. Времени на отдых было мало. Работали все вместе. Сходились в одну избу, пряли, вязали, пекли и пели. Сколько песен было перепето. Песни были пополам со слезами.

До войны, конечно, жизнь была радостная. Были молодые, был муж, который любил и жалел. А война все нарушила, никаких радостей не оставила, одну тяжелую работу. О чем больше всего вспоминала и переживала тогда? Конечно, о мужиках. В деревне у нас было 94 дома, и из каждого ушли мужики на войну, а из которых и не по одному. Вот и ждали все писем с войны. Письмо было радостью, а сколько пришло похоронок, сколько их приносили письмомосцы... Вернулось с войны только тринадцать мужиков. Радио в деревне не было, все новости узнавали от уполномоченных, которые приезжали из города. Мне порадоваться в войну только один раз пришлось, одно только письмо и было от мужа. Писал он, как там жарко приходится. Помню, писал он не прямо, что был бой, а «недавно у нас был большой праздник, у многих после него заболела голова, а у меня пока ничего». Мы поняли, что был бой и много погибло. Письмо это потом у нас забрала милиция, видно, какая-то неразбериха вышла, и он потерялся по ихним спискам. Потом мы писали письма, но ответ был: «Адресат выбыл неизвестно куда». И только после войны получили похоронку.

Одевались все плохо, но одежду делили на праздничную и будничную. И в праздники наряжались. Праздники справляли в основном религиозные. Плохо было с обувью. Летом



ходили босиком и в лаптях, зимой в валенках. Плохо жили все, бедно и никому не завидовали.

После войны деревня стала стареть. Новые дома не строились. Некому было строить их. А сейчас наша деревня совсем одряхла, и скоро ее не будет — доживают одни старики.

Много было в те годы страшного. Боялись дезертиров. Были они в лесах, ходили по ночам в деревню и отбирали хлеб и картошку. Был один дезертир в деревне и у нас. Жил в подполье в своей избе. Искали его, нашли и застрелили прямо в его избе. Страшно было, но не жалели его бабы. Таинственное тоже было. Многие бабы как бы въявь видели своих мужей, разговаривали с ними. Так бывало после похоронок, видно, очень тосковали по своим мужьям, вот и казались они бабам.

Дети были вечно голодные, не знали игрушек, зимой сидели дома. Гулять было не в чем — ни одежды, ни обуви не было. В школу многие не ходили. У нас была в деревне начальная школа, вот туда на руках носили детей учиться. А в село Первомайское уже не ходили многие (там семилетка), не унесешь ведь на руках за четыре километра. Военные дети... Основной мечтой их было вдостоль поесть хлеба. Дети не знали, что такое белый хлеб. Только из рассказов взрослых слышали, что есть хлеб белый, как бумага.

Тяжелая была жизнь в деревне. Трудная была работа, плохо одевались, голодали, мерзли в избах, не было керосина, сидели с лучиной. Но друг к другу люди относились по-доброму, жалели друг друга. Ругались тоже, конечно, но долго не сердились. Часто вместе пили чай. Самовары тогда были ведерные. Кипятили их и созывали всех соседей пить чай. Если было лето, то кричали прямо в окно: «Вера, иди к нам чай пить». Работали все хорошо, никто не отлынивал от работы, никто не жаловался на трудности. Работали за трудодни, всем надо было выработать норму. На трудодни ничего не получали. Вот так и работали бесплатно.

Осталась я без мужа, когда мне было двадцать четыре года, совсем еще молодая, а у молодых разве мало желаний. Никому не пожелаю такой судьбы. Когда собираем-

ся вместе, то вспоминаем голод и холод, но больше говорим о том, как умели радоваться каждой удаче, какие были жизнерадостные, как верили в добро, что когда-нибудь все наши беды кончатся. Те трудные годы ушли, жалеть о них нечего. Но душевность, теплота в человеческих отношениях, доброта друг к другу ушли тоже вместе с тем трудным временем.

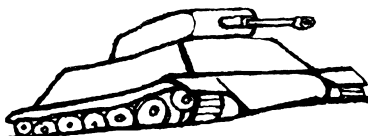
Не стало у людей жалости к другим, завистливые стали, думают, как бы поменьше работать, а побольше получить денег. Не любят помогать друг другу. Вот об этом-то мы, старые, жалеем. Нынешним-то, с их достатком да со старой-то добротой друг к другу, — как бы жилось сейчас!

«Страшно болели руки»

Ходырева Афанасия Васильевна, 1912 год,
село Спасское, крестьянка

В семье была старшей, и за мной еще шесть детей. Всех их пришлось нянчить. Чуть только пальцы научились ладить с веретеном — посадили за прялку, ведь такую ораву детей надо было одевать. Первые годы колхозной жизни в память врезались тем, что везде было много народу. На работу шли с радостью и всю выполненную работу принимали с замеру. Точный учет был во всем. Работали все вручную, но любую работу делали весело, с песнями. Косьба или гребиво, молотьба или жатва — всегда песня звучала.

Когда началась война, меня вместе с другими молодыми бабами и девушками мобилизовали на оборонные работы. Зима 1941 — 1942 годов такая морозная была, а всю работу выполняли на открытом воздухе. Окопы рыли в Вологодской области. Километров за пять по глубоким сугробам ходили в ближайший лес за жердями, тащили их, чтобы разжечь костры, землю промерзлую разогревали. Я спросила один раз, как глубоко нужно было копать эти траншеи, а мне ответили — чтобы Василий Лекомцев смог ходить



там не нагибаясь (а этот Василий Лекомцев ростом под два метра).

Сначала ели то, что было из дома, хлеб, сухари. Потом стали выдавать по 300 граммов печеного хлеба. А к весне эти же 300 граммов, только уже неразмолотого пшеничного зерна.

Жили в большом бараке. Большая русская печь посреди-не. Возле стен — двухъярусные нары для спанья. Вечером, когда с работы вертались, печь вкруговую увешивали лаптями и онучами для просушки.

В апреле было разрешено вернуться по домам. Около двух недель добирались домой на товарных поездах. Копейки в кармане не было. При себе было немного муки, и, когда удавалось раздобыть немного кипяточку, заваривали болтушку. Этим и питались.

Добрались домой — и снова работа. Страшно болели руки, а ноги все чирьями покрылись, да так дружно, что нельзя было обуться в лапти, не было места для лапотных веревок.

Летом мобилизовали меня в лес. Призвали нас двоих тогда из деревни. Доехали до Зуевки, да и решили вернуться домой, сбежали попросту с лесозаготовок. А потом вскорости суд и приговор — семь лет тюрьмы. Правда, посидели всего два месяца, был пересуд по кассационной просьбе брата, и меня освободили. Только домой вернулась, снова повестка на лесозаготовки. Больше не сбежала. Всю зиму работала в омутнинских лесах. Снегу было до пояса, сосны в обхват. А на ногах лапти, бывало, и примерзали к ногам. Правда, что хорошим вспоминается — была горячая пища. Весной вернулась домой. В 1948 году родился сын, и из дома уже никуда не отправляли. В колхозе продолжала работать. Часто ребенка брала с собой, а иногда просто дома одного оставляла.

Подвозила горючее к тракторам на колхозные поля. Пораньше утром надо было объехать поля и собрать там пустые бочки и с ними ехать в Богородское. А чтобы грузить эту бочку в телегу, были приспособленцы и покаты. По ним и закатывали бочки. Сначала толкала руками, а ближе к верху упиралась в нее и головой. Когда бочка перекатыва-

лась в телсгу, бывала в изнеможении на земле рядом с телегой. Немного отдыhalа, и опять давай дальше.

Постепенно колхозная жизнь стала налаживаться, сын рос, жить легче становилось.

«Все жили в ожидании»

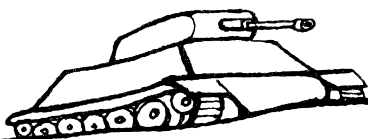
Шишкина Мария Васильевна, 1910 год,
рабочая

Работали с семи до семи, без выходных, да еще рыли траншеи, так как немцы от нас были в 100 километрах. Один раз потопили пароход, люди ехали, и их всех, 300 человек, потопили. Опаздывать было нельзя, если опоздаешь на двадцать минут, то в месяц 25 процентов зарплаты высчитывали. Еще там строили аэродром, все оставшееся время от работы уходило на строительство. Некоторые дни даже боялись ложиться спать. На субботники, воскресники ходить было надо обязательно, их считали тоже рабочими днями.

Начальник у нас был очень строгий, но справедливый. Круглый лес как-то грузили, ночью. Кто в трюме был, тем давали по килограмму турнепса, а тем, кто сверху, — по сто грамм спирта. Работать тяжело было, пришлось мозгами шевелить. Придумали лебедкой пачки леса прямо в трюм заталкивать.

Был у нас Вася, рабочий один. Есть-то у нас нечего было, а он все ходил ел что-нибудь, его прозвали Васей-есвяным. Один раз поспорили, что он тринадцать обедов в один приест съест. А если не съест, то тринадцать дней обедов ему не будет, мы будем их есть. Но так и не пришлось поесть его обеды, он все наши слопал, а нам ничего. Смеху потом было!

Праздники у нас бывали, когда пароходы спускали на воду. В нашей конторе собирались, отмечали, песни пели, плясали. Народ у нас веселый очень был, дружный, общительный. В годы войны, по-моему, еще дружнее стали жить. Все жили в каком-то ожидании, чего-то боялись, друг другу поэтому сноровляли. Но друг за дружку держались.



«Стали мы лишенцы»

Симонова Анна Андреевна, 1912 год,
дер. Клюкино

Замуж вышла я в деревне Масленики, деревеньке в шесть домов, но народу было много. Две деревни — Масленики да Горохи, домов с пятнадцати, это был один колхоз. Весело было. Все на полях работали вместе. Жили хорошо, в достатке. Дети пошли, две девочки с 1930 и с 1932 годов. Мужа потом выбрали председателем. Очень уж он был хозяйственный. Построил он новую избу, как в городе, с большими окнами. Народу-то нас было много: двое родителей, да нас четверо, да еще у мужа шесть братьев. Они были все умные, грамотные, жили потом по всем городам: два врача, два бухгалтера, инженер да самый младший танкист. Он сгорел в танке еще в войну с японцами. Они все к нам приезжали в гости.

Мы ведь тогда, как мы вятские, так и говорили: лико, чё-то, лопотина, куды, а тут люди культурные. Ну и наши мужики газеты читали, как без этого.

В 1937-м забрали моего мужа как врага народа по доносу одного лодыря и ворюги. Я больше его не видела. Стали мы лишенцы. В дом к нам вселили постояльцев в наказание, и начали мы горе мыкать. Старики все немощные. Вот одинова пилили дрова. Попал опилочек в глаз и начал болеть. Голова разрывается. Прошу у нового я председателя лошадь — не дает. Говорит: «Троцкистам у меня лошадей нет». Пошла пешком до Слободского — двадцать пять верст. Шла с ночевкой. Пока пришла, глаз уже пропал. Хорошо хоть не вынули. От мужа только одно письмо и получила, что, мол, не виноват и ждите. Не дождалась. Только когда в 1977 году начали искать, прислали похоронку и бумагу, что его реабилитировали. Зазя, выходит, взяли. Вот так хлебнул от сталинских милостей.

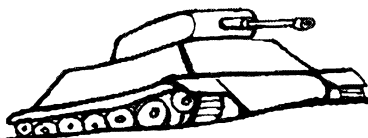
Я уж везде первая была. Днем и ночью работала, чтобы лишний раз не ткнули, не попрекнули. В войну от нашего колхоза осталось двенадцать домов, нас соединили с Лек-

мой. Остались одни бабы, дети да старики. Но как работали! Вот теперь ездим на родину. Поля зарастают. Мелиорацию сделали, леса свалили, а поля все равно зарастают. А мы все поля всегда обрабатывали. Лен сеяли, коноплю и хлеба. И убирали все. Скотину держали, а косить нам не разрешали. Косили ночами, воровски. Учила ребятшек сама.

В деревне осталось уже четыре дома, но ребят было 9 человек. И вот бабы решили для ребят один раз сделать вечерку. Под Новый год в Подволочье — такая деревня была большая в три конца — послали пригласить ребят. И они пришли, все как есть двенадцати-тринадцатилетки. Все собрались у нас, в большой избе. Даже древние старухи и старики приплелись. Играл пацан лет четырнадцати на одних басах. Плясали «козла», «кадриль», «кружавенку». Парнишка подходил к девочке, хлопал ее по плечу, отходил и дробил ногами. Это значит — приглашает. А потом кружились. Пели частушки про войну и про дролечку с ягодиночкой. Так мы все породовались и поплакали.

Самое страшное у меня случилось, когда старшая дочка заболела. Отвезла я ее в Слободской, оставила там в больнице. Навещать часто не могла, так как далеко, а лошадей нет. Вот приехала как-то, а мне говорят: «Не уезжайте, ваша дочь при смерти». Я забежала, а она уже вся синяя и еле дышит. «Возьми меня, мама, домой», — говорит. Я у врача стала просить, чтобы отпустили. Она говорит, что не довезу, умрет дорогой. Болела она туберкулезом.

Еле уговорила врача, а чтобы мне обратно заворотом за справкой о смерти не ехать, дали мне ее на руки. И вот повезла я ее домой живую и со справкой о смерти. Как ехали, и не помню. День и ночь волки воют — а я как будто и не слышала. Ехать волоком километров семь. Довезла ведь, и чего делать? Тут старик сосед пришел и принес сало. Сказал: растопи и пои ее. Потом я уж узнала, что это собачье сало было. Ну и стала сама собак добывать. Свою собаку своими руками повесила, потом шенят давить стала. Так и выходила дочь, а справка и сейчас лежит. Выучились мои дочки обе в техникумах.



А чтобы учить их, я четыре года работала в лесу. Сама вызвалась и была там передовой. Давали там 800 граммов хлеба, и по 400 рублей зарабатывали, а в колхозе-то ничего не давали, только налоги одни...

«Мы войну выстояли»

Свиньина Дарья Гавриловна, 1907 год,
дер. Зайцы, крестьянка, рабочая

Родители умерли, меня оставили — двух лет не было. Меня взяли бездетные люди вместо дочери из деревни Шебалинцы. Я родителей не помню, только знаю воспитателей. Они мне родные. Все жили в Шебалинцах до колхоза. И в колхозе работала — день на поле, ночь на станции — грузили картошку или зерно, носили мешками. Все грузили, фронту помогали. А то на торф, а то в лес — везде назначали. За трудодни ничего не доставалось, а налоги отдай, мясопоставки отдай. Исти нечего, а спать некогда. Я получила злокачественное малокровие. Два месяца в больнице лежала, подлечили. А потом когда дом продала, то и в Коми АССР, в Ленинграде побывала.

В Киров приехала. Из-за прописки жила в няньках. Вынянчила ребеночка. От зеленхоза работала. Из деревни-то какую работу я знала? Потом на шинный завод ушла техслужащей. Стаж вот там и заработала. В семьдесят лет ушла на пенсию. Заслуги получала: почетная грамота, ударник коммунистического труда, медаль «Ветеран труда». Путевки в санаторий дают, совет ветеранов собирается. И похоронит меня тоже шинный завод, я так думаю.

Война... Есть нечего, день на поле, ночь на току, налоги-то отдай. Корму не давали, и скотину нечем кормить. Если бы не это — я и не была бы в Кирове. Теперь молодые-то как собаки-овчарки готовы нас проглотить; не любят нас, старых. Еще их матери в проекте не были, а мы войну выстояли. Ели траву, так и жили. С коровами вместе питались. А когда

муки еще немножечко было, я лепешки пекла: изрубишь травы, морковки сварить, истолчешь, с мукой смешаешь — испечешь. Вот и лепешечки...

До войны тоже мне трудно было: и пахали, и сеяли, и все делали. Особенно если нет в хозяйстве мужика. И в лес, и в поле сельсовет назначит — так куда денешься?

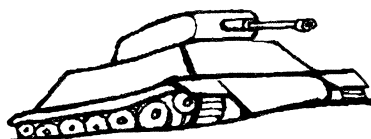
После войны поломали жизни-то. Хорошо ли было? Все разорено. Старые повымерли. Деревень не стало, все травой заросло. Родители говорят детям: «Учись, учись!» А те выучились — уехали и родителей в город вызвали. У нас было шестьдесят домов, восемь осталось. Двое недавно умерло, теперь шесть домов. Был у нас Красовский сельсовет, а теперь Ленинский (два сельсовета в одном, деревень-то не стало).

Пусто везде. Поля опустели. Теперь все опалилось. Я вот все говорю: скоро вся Кировская область будет один сельсовет. А на полях теперь одни тракторы. Все изрыто, дороги перепаханы, не знаешь, как идти. У нас деревни, наверное, тоже не будет — уедут. Ни хлеба, ни дров, ни лошадей. И фермы нет. Шабалинский район всегда в конце — нет народу. А раньше был передовой, пока мы работали. Теперь сзади первый. С небес ведь ничего не падает, а были бы люди — был бы и урожай. Одни тракторы ничего не сделают.

В войну не давали нам покоя: только одно — работа. Ни есть, ни пить, ни спать. Хуже этого уж не было. А давали хоть бы грош! Самое обидное, что нам-то ничего. Хоть себя продавай, а отдавай налоги. Чем нам платить-то? Раньше лен-то изломаешь и продашь. А в войну? Скот еще не держали. Кормить нечем. Корова была сначала у нас. Отаву косили мы в августе, ночью.

От руководителей, конечно, много зависит. У соседей председатель хороший был, они и коров на подворье держали. А у нас свой навоз — и тот с выдачи. Потому я и здоровье потеряла. Вот и врачиха говорила, если бы день-другой еще не пришла — умерла бы. Знала бы я, как будущее сложится, не пошла бы к ней, не стала бы лечиться.

У нас без навозу что усадьба даст? А в Красове председатель был другой. У нас экой ячень, а у них вот такой! До



слез обидно. Неужели бы я корову не стала держать? Трудно в войну. Только дома стояли, да народ страдал. А теперь не выглядит никак деревня. Дома пустуют и пустуют. Лесом все заросло. Хорошего нечего сказать: довели до ручки. Вот и остатних деревень не будет. Там не больно грамотные нужны, там работать надо.

Тогда траву ели, а теперь хлеб есть, да аппетиту нет.

Глава 13. Горе горькое

Алыпина Анна Семеновна, 1915 год,
крестьянка

Четверых мне оставил. Трех сынов да дочку, когда на войну эту проклятую пошел. Только одно письмо и было от него, из-под Москвы. Без вести пропал... Долго еще обувку его донашивали. Я как на ботиночки парнечьи погляжу, так ноги подкашиваются и в глазах темно.

Последнего своего ребенка, дочку Галину, родила я в аккурат на 22 июня. А тут война эта окаянная началась. На третий год дочка моя младшенькая от гололу умерла...

Костылева Евгения Васильевна, 1914 год,
медсестра

Вскоре после ухода в армию мужа у меня заболела дочка Верочка двух лет. 10 марта 1942 года умерла. Велико было мое горе. Хоронила я ее 12 марта. Был очень сильный мороз и метель. С великим трудом привезла гроб на кладбище на санках и была поражена увиденным. Во многих местах по всему кладбищу стояли штабеля гробов. Многие уже завалило толстым слоем снега. Причину объяснил начальник кладбища. Зима 1941–1942 годов была очень морозная. Земля глубоко простыла (промерзла). Копать очень трудно; народ голодный, ослабленный, копать могилы не может. Поэтому

привозят на кладбище и оставляют. Захоронение проводится в общую могилу, когда приведут заключенных.

Мне копать могилу тоже отказали. Была тут раньше вырыта могила для парня четырнадцати лет, так в этой могиле сбоку подкопали луночку и в нее поставили гробик мосей дочки. Так за эту работу с меня взяли: полбуханки черного хлеба, осьмушку табаку и чекушку водки. Зная такую обстановку на кладбище, мне командование госпиталя дало все необходимое для расплаты. Смерть дочки и тяжелое ранение мужа были для меня сильным потрясением.

Тетерина Анна Герасимовна, 1913 год,
село Пачи Кировской обл., крестьянка

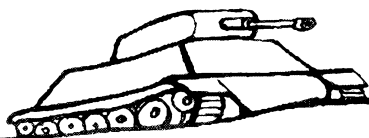
Жила я одна. С мужем мало жила. В 1939 году ходил он на финскую войну. Служил чуть не год, пришел не раненый. Дома побыл немного. 28 августа 1941 года снова ушел на войну. Осталась с тремя детьми. Воевал он три года с половиной. Пришел контуженый, раненный в ногу. Ходить было никак нельзя. Потом он сам себе сделал деревянную ногу. Ходил с костылями. Помню, как он пришел с войны. Привезли его на лошади в карете, в которой раньше землю возили. Вышла я за ворота, заревела, обрадела. Он мне и говорит: «Примешь али нет меня?» А я ему: «Приму, какой есть!»

Гуляева Ольга Александровна, 1924 год,
дер. Вороны, служащая, в годы войны
зенитчица

Я жалею лишь о том, что ушли те близкие отношения между людьми, которые были в годы войны и благодаря которым мы победили.

Бахтина Татьяна Андреевна, 1925 год,
крестьянка

В войну все только и ждали, когда же она, проклятая, кончится? Когда мужчины придут, да живые? Все для побе-



ды старались. А пришло с войны в деревню четыре мужика, а ушло-то двадцать четыре. Войну вспоминаю все время. Да и как не вспоминать?

Трудно приходилось нам тогда, а ведь выстояли, выдержали. Ведь сколько на своих плечах-то бабы русские вынесли, сколько этими руками своими сделали золотыми! Чуть не каждый день думаю об войне и поминаю...

Колчина Ольга Александровна, 1913 год,
крестьянка

После войны, когда вернулись из ста ушедших мужиков десять человек, жить стало полегче, немного легче, радостно, что победили, выжили. Со страхом вспоминаю налоги. Ести было нечего, да еще налог надо было платить, и детей надо было кормить. Где взять все? Дети мои с сорокового и сорок первого года. Десять человек в деревне умерло с голоду. Моя мама не засмогала даже корову встречать — ноги опухали. А трехлетняя и четырехлетняя дочки мои есть очень хотели, еще когда мы с мамой на работе были. Придешь, а они сырую картошку или свеклу грызут. Потом поймаются за подол и кричат: «Дай есть!» А что можно было дать? Мама часто мне говорила: «Ровнехонько живем, Олюшка, ни хлеба, ни соли нет».

Суворова Елизавета Михайловна, 1911 год,
крестьянка

В первые дни войны все как-то растерялись. Никто не хотел, не мог поверить, что мирная жизнь рушится.

Похоронка на старшего брата пришла в 1944 году. Первой ее увидела моя мать. Она не умела читать, но почувствовала что-то неладное. Бумага-то казенная. Когда я с сестрой вернулась с поля и прочитала похоронку, то сперва никто не заплакал. Потом я словно перестала видеть все вокруг себя. После этого из глаз брызнули слезы. Мы с сестрой проплакали всю ночь. Мать после этого стала ко всему безучастной, как бы сжалась и все время молчала.

Рябова Валентина Александровна, 1912 год,
крестьянка

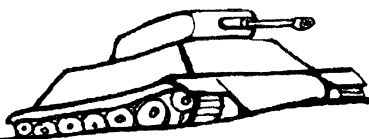
Не было писем. Нет, не затерялись они с годами. Просто не успели прийти. Слишком быстро погиб дорогой мой человек. Рябов Иван Иванович ушел на войну в июле 1941 года. За селом у нас рощица березовая растет, «Вдовья» называется. Не в память посадили, сама выросла в войну еще. Земля тогда три года не пахалась, березняком взялась. Раз Николаич наш, председатель колхоза, он тогда только с войны вернулся, пришел на поле. Мы там борону на себе таскали. Впрягся промеж нас и до вечера коренником ходил. Сели потом на меже, он и говорит нам: «Давайте рощицу эту оставим, пусть растет, праздники тут справлять станем!» Я-то и говорю, что до той поры он нас на кладбище перетаскать успеет, ан нет, выжили... И березки, вишь, поднялись. Мы тут и собираемся, мужиков своих вспоминаем. Поплачем по ним, по жизни своей. Тяжелая она у нас получилась. Горя не сравниваешь — у кого больше, у кого меньше. Всех нас, соседей на улице, породнила война.

Софронова Мария Михайловна, 1915 год,
дер. Поздяки, крестьянка

Идо того доработала в войну, что ходить не замогла и глазами ничего не видела. Спали ведь два-три часа в день в караулке при конном дворе. Лошади так отошали, что пахали на себе. Шесть баб впрягутся, а одна за плугом идет. И раз так пашем у дороги, и едет уполномоченный из Котельнича, и он запретил на себе пахать, стали коров запрягать, а ведь каждому было жалко корову, она же кормилицей была.

В войну худо было с одеждой. Доживали так, что вымоешься в бане и сушишь над каменицей тут же выстиранную одежду, не было ничего на смену.

Был такой случай: обменяла в лагере масло на кальсоны мужские, отошла с полкилометра, и тут же из леса выскокил солдат и отобрал. Ни масла, ни кальсон, а хотела сшить нижнее белье.

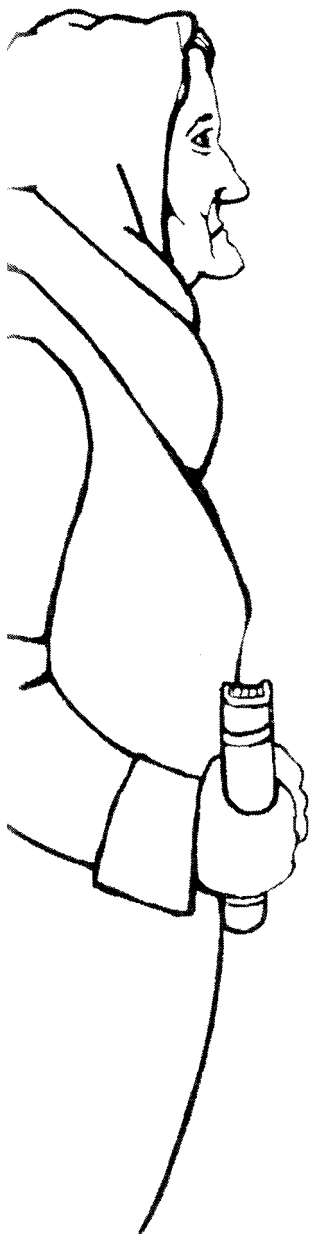


Со страхом ждали, кто уедет в село. Почту не разносили, а письма посылали нам с попутчиками. Писем с фронта и ждали, и боялись тоже. А вдруг там такое... А как было страшно остаться в двадцать пять лет одной с двумя малыши детьми. Когда мужа забрали на фронт — это в декабре 1941 года, ребенку последнему и трех месяцев не было. Корма для скота мало (был неурожайный год на сено), хлеба в обрез, да ведь надо и работать. Как вечер, так около леса, а лес в километре от дома, бегут дезертиры. Бывало, ночью попадали в ограду, в сени — и вот ложишься спать и около себя ложишь топор или вилы, а дверь еще и на ухват завяжешь.

Муж воевал под Москвой, ранили, лежал в госпитале, и снова фронт. И вот две похоронки одна за другой. Слез уже не было, все окаменело внутри, единственно, боялась потерять рассудок, знала, что малы дети. Шла к колодцу с коромыслом, но без ведер за водой, вот до чего доходило. Работала-работала, старалась больше быть на людях. И вот в двадцать семь лет вдова. Всю жизнь ждала, авось ошиблись, ведь было, кто приходил домой после похоронок, а мне две пришли... Может, ошиблись?



Муки памяти
(вместо заключения)



Народные воспоминания о прошлом... Это мера человека ушедшей эпохи и мерило, которым он мерит нас.

Присмотримся к судьбам этих людей: каждая неповторима по своему, хотя и не всякий может доходчиво рассказать о себе. Но порой в самом обыкновенном рассказе, где вся ткань повествования уже хорошо знакома по другим воспоминаниям, внезапно блеснут неожиданностью и возьмут за душу две-три фразы. Может, в них-то ярче всего и проявилось то, что отличает человека от его соседей, друзей, родных. Как при фотографировании, внезапно открывшиеся створы души запечатлевают навсегда что-то, казалось бы, маловажное... И затем вся жизнь человека связана с этим эпизодом, прикована к нему, и он постоянно, часто неосознанно, обраща-

ется памятью к одному и тому же. Муки памяти — вот как это называется

Двадцатый век для России был воистину великим и страшным, он высветил такие глубины души народной, о каких мы и не подозревали. Лихое то время потребовало невероятно-го напряжения духовных сил нации. Слишком многое вообще не восстановимо. Поэтому поспешим оглянуться вокруг.

Миропонимание, миросозерцание человека, прожившего и повидавшего, его суждения о себе и о других для нас не менее ценны, чем конкретные факты и эпизоды реальности, — каждый хранит в душе нити, связующие мир настоящий и мир, ушедший в небытие.

Так оглянемся же на прошедший XX век и запомним слова старой русской крестьянки: «Очувствоваться не могу еще, что они прошли... эти годы...»



Приложение Черты из моей жизни

Я родился 9 августа 1956 года в Советске, в той его части, что именуется заречной. С древности и где-то до 1950-х годов это было село Жерновогорье — Жерновы Горы, очень древнее — известное с XVI века село. Сразу вспоминается вятская приговорка-присказка «Черт родил татарина, татарин родил кукарина, кукарин родил нагорина» — некое возрастание хитрости и вредности. Дело в том, что это старинное русское село, как и близлежащая слобода Кукарка (сейчас город Советск), находится вблизи центра активного смешения этносов: недалеко древняя Волжская Булгария, где-то здесь легендарная чудь, татары, марийцы, удмурты, в конце концов, русские — все наложили свой отпечаток на местные земли и облик людей, здесь сейчас проживающих. Внешний облик многих кукарян и жерновогорцев не вполне традиционно славянский, хотя это коренные русские люди: широкие скулы, узкие глаза, темные кудрявые волосы можно наблюдать у многих коренных местных обитателей.

Отец мой, Аркадий Александрович, родом из близлежащей деревни Решетниково, мать — Лидия Андреевна, коренная жерновогорка. Я практически не помню своих дедов: ни решетниковского — Александра Михайловича, хороше-

го плотника и пимоката, крестьянствовавшего всю жизнь в деревне, ни жерновогорского — Андрея Федоровича Богомолова, пришедшего с Первой мировой с простреленным коленом (нога в котором не гнулась) и зарабатывавшего себе на жизнь работой в местном кустарном промысле: он делал надгробия и простые памятники из опоки — хорошего поделочного камня, добывавшегося в местной сельской шахте. Считается, что я похож на решетниковскую родню, а не на жерновогорскую.

По семейным преданиям знаю, что фамилия моя произошла от небольшого кустарного промысла: в деревне изготавливали зимой берды — небольшие деревянные приспособления, необходимые в каждом ткацком стане. Целыми возами возили на продажу. Леса вокруг очень много, притом хвойного (ели, сосны, пихты), а не лиственного. Вот лесом и кормились. Земля тут суглинок — скудная, прокормиться сложно. Вот мужики и мастерили что-нибудь зимой или шли в отход, чтобы получить дополнительный заработок. Дед мой, Александр Михайлович, еще в 1920-е годы успешно занимался извозом — доставлял на своих лошадях грузы по подряду. Был он крестьянином-середняком, так что в коллективизацию его не тронули, а вот семью, из которой вышла бабка (его жена) Надежда Яковлевна (урожденная Демшина), раскулачили, братьев ее арестовали и сослали в Алдан — на золотые прииски. По преданию, в ночь перед их арестом в дом к бабке ее братья носили свою праздничную одежду (им жалко было ее бросать в отобранном доме), а бабка, боясь, что и ее арестуют, всю ночь топила печь и жгла эту одежду в печи.

Какие-то глухие отзвуки коллективизации доходили до меня еще в детстве. В большом деревянном двухэтажном доме, в котором я родился и жил до двенадцати лет (первый этаж — бывшая сапожная мастерская дяди Александра, который за всю жизнь ни разу не видел кино, — считал, что это от дьявола, — был очень богомольным человеком, а в гости ходил со своей рюмкой, чтоб не налили больше его нормы), на первом этаже в чулане еще в 1960-е годы все доски на полу свободно лежали и громыхали при ходьбе. В ответ на мои недоуменные вопросы, почему доски не прибиты, отвечали,

что это комиссары еще в Гражданскую войну делали обыск — искали под полом хлеб, деньги, золото, хотя откуда взяться золоту в бедном сельском доме...

На автобусной остановке меня как-то удивила такая сцена: хорошо одетая пожилая женщина в нарядном платье с палкой мелкими приставными шагами еле-еле шла к остановке. Вдруг из своего дома рядом с остановкой вынырнул чернобородый мужик несколько цыганского диковатого вида. При виде этой женщины лицо его перекосилось.

— Раскулачила нас! — злобно закричал он на нее, потрясая обоими кулаками.

— Так тебе и надо!

Мать мне пояснила, что женщина частично парализована, а в молодости работала в райкоме и раскулачивала родителей этого мужика, которые погибли где-то на поселении.

Никак не мог я понять и того, почему очень по-сельскому мягкий, деликатно обходительный старик Ворсин, приходивший к нам в дом резать поросенка, именовался высланным. Оказывается, его сослали из родных мест (в нашей же области) к нам в село. Это было непонятно. Его «здравствуйте» было целой процедурой, нередкой у местных стариков. Даже со мной, мальчишкой, он, встретившись, останавливался, говорил «Доброго здоровья!», прикасаясь рукой к козырьку своей фуражки на твердой высокой тулье (настоящий картуз какого-то диковинного фасона), и приподымал ее в знак почтения, затем осведомлялся о моих делах, жизни, приводил пример из жизни своей или моего деда и, прощаясь, шел дальше.

Один из моих дедов, Андрей Федорович (1891 года рождения), был из очень бедной семьи. Мачеха очень рано вытолкала его в люди. Он ходил до Первой мировой бурлачить, сплавливая плоты по Вятке, Каме, Волге, — благо здесь была богатая пристань. Мачеха, по рассказам, не желала, чтобы он учился, и выбрасывала его сумку с книжками на дорогу. Школа здесь тогда была церковно-приходская. После революции он как представитель местной бедноты был избран в сельский совет. Во хмелю, бывало, он, доказывая свою знаменитость, стучал кулаком по столу и кричал:

— Да я с Изергиным за одним столом сидел!

Изергин — это основатель советской власти в Кукарке. Впрочем, этим, судя по всему, революционные заслуги деда и исчерпывались, так как его семья очень бедно жила в 1930-е годы и сильно голодала в годы Великой Отечественной войны, когда он работал сторожем в местной шахте.

Жена его, моя бабушка Клавдия Васильевна Богомолова (1890 года рождения), жила в доме через дорогу. Отец ее, Василий Фомич, был церковным сторожем при местном храме, дивно украшенном стараниями местных мастеров-камнерезов. Храм этот был взорван в 1930-е годы и окончательно снесен в 1950-е годы. В 1970-е на месте храма и кладбища построили баню с котельной. Вполне традиционное по понятиям тех лет варварство. Мать — Пелагея Васильевна. Клавдия Васильевна была третьей из четырех дочерей в семье: Ольга, Серафима, Клавдия и Анна.

Все сестры, судя по старинной девической фотографии, замечательно красивы. Всех красивее была последняя дочь Анна, имевшая множество очень богатых женихов и вышедшая в конце концов замуж за капитана. Богатая пристань — капитаны в почете. Старшую дочь Ольгу, чтоб не загоразивала младшим сестрам дорогу, выдали замуж рано — в шестнадцать лет. Клавдия закончила местную земскую школу кружевниц, долго копалась в женихах и в свои двадцать два года считалась по местным понятиям перестарком. Разгневавшийся прадед поставил ей ультиматум: немедленно выйти замуж за любого из трех оставшихся женихов — Колю Моню (он говорил невнятно), Андрея Солдата или жениха из дальнего уездного города Яранска. Далеко уезжать от дома бабке не хотелось, про Колю Моню она сказала, что от него «ребенки» будут немые (что впоследствии и подтвердилось на его потомстве), и нехотя согласилась выйти замуж за Андрея, хотя незадолго перед этим и отказала его сватовству. Может, повлияло на нее и то, что в сочельник (когда девки загадывали на женихов) она, гадая, с сочнем выбежала на дорогу, ожидая первого встречного — им оказался Андрюха-водовоз. Таким образом, имя Андрей было предопределено.

Дед Клавдии Васильевны (по линии матери) Василий Кузьмич, будучи человеком богомольным, совершил в свое время паломничество ко Гробу Господню — в Иерусалим. Он сплавился с плотами до Астрахани, а там с какой-то группой паломников потихоньку, пешим ходом дошел до Святой земли. Вернулся он домой через три года, принес какие-то дешевые сувениры (по своему карману): бумажные литографии, деревянный кипарисовый крестик, шапочку. Последнюю я еще помню, так как, когда в детстве меня уронили в детском саду со стула и я тяжело заболел, на меня ее надевали. Считалось, что она помогает от родимца.

В браке с Андреем (он стал примаком и перешел жить к ней в дом из дома своей мачехи, что стоял напротив) у них родилось пять детей — двое умерли (старший сын Василий умер уже в пятнадцать лет от воспаления легких), а три дочери остались: Алевтина (1914), Нина (1920) и Лидия (1927). Последняя и стала моей матерью. Таким образом, село Жерновогорье, а точнее, заречная часть города Советска, а по метрике просто город Советск (до революции богатая с хорошей пристанью на реках Пижме и Вятке торговая слобода Кукарка), — стала моей родиной, где я безвыездно жил до семнадцати лет — до полного окончания средней школы.

В нашей заречной части была своя школа — четвертая восьмилетняя с двумя параллелями и тремя учебными зданиями, двумя деревянными и одним кирпичным (бывшей спичечной фабрикой местного купца), в которых я постепенно и проходил курс школьных наук. Школьные годы были достаточно тихие и безмятежные, вполне обычные для любого местного школьника. Всегда радовала местная природа: заливные Бобыльские луга в междуречье Пижмы и Вятки с дубняком и духовитой луговой клубникой, реликтовый сосновый бор — Печеновский лес, чудные леса за Вяткой с брусникой и черникой, ближние озера: Подгорное, Светлое — с замечательной рыбалкой. Был я ягодником и рыбаком, большим любителем путешествий на велосипеде по окрестным селам и деревням. Учился всегда хорошо, считался, как говорят, ударником.

Отец умер, когда мне было всего одиннадцать лет. Он был всю жизнь шофером. Были, говорят, и у него какие-то необычные для села склонности; во всяком случае, перед войной ему, деревенскому пареньку, закончившему шесть классов, выдали направление в Горьковское театральное училище. Поехать туда не удалось из-за войны. Он был призван на фронт в 1942 году — 18-летним мальчишкой. Рассказывал, что брали тогда и семнадцатилетних, так что нередко в окопах ребята, в жизни не бывавшие нигде дальше своего соседнего села, увидев танки, кричали «мама» и плакали.

Я был завзятым читателем и перечитал дома весь небольшой запас книг, а заодно и учебники своего старшего брата (разница у нас шесть лет) по гуманитарным предметам. Потом, быстро записавшись в районную детскую библиотеку, стопками носил книги из нее — глотал их довольно быстро.

Начитавшись героической литературы о войне, где один наш храбрец десятками берет в плен фашистов, я допытывался у отца, сколько фашистов убил он и какие подвиги совершил. Рассказы были совершенно для меня странны и непонятны: о том, как перед мощными немецкими укреплениями зимой погнали в наступление полк сибиряков (на верный убой) и те все полегли. А весной, когда часть отца стояла в этих окопах и солнышко согнало снег, — они все вытаяли и задвигали руками и ногами. О том, как в наступлении на одну ужасно трудную высоту впереди пошел штрафбат (я и не знал такого слова — в книжках его не было) и тоже почти весь полег. У отца было две медали — «За отвагу» и «За боевые заслуги», он воевал командиром отделения танкового десанта — ехали в наступление на броню, и тут их шелкали, как орешки; имел два тяжелых ранения и одно легкое. После второго тяжелого ранения в ногу (точь-в-точь такое же, как у моего деда Андрея Федоровича в Первую мировую) его комиссовали, дали инвалидность и отправили из госпиталя домой. Вернулся он на костылях, так как одна нога совершенно не работала, и год отлеживался у матери на печке. Но медицина шагнула вперед, операция в госпитале была сделана хорошо. И, в отличие от сво-

его будущего тестя, нога в колене стала гнуться нормально, но поскольку сухожилие было сильно подрезано, то в походке он все же припадал несколько на эту ногу и раскачивался из стороны в сторону.

Из четверых братьев — двоих убило на войне, а двое вернулись живыми. Один из убитых (старший — Иван), будучи офицером и зная, что в деревне голодно, высылал свой аттестат матери. После его гибели и конца войны бабушка пошла в сельсовет выправлять себе пенсию или пособие по потере кормильца. Председатель сельсовета грубо накричал на нее:

— У тебя же два сына вернулись с фронта — неужели они тебя не прокормят?! Стыдись, у людей-то всех ведь убили — и то не ходят, не просят! Пристыженная, она повернулась и, несолоно хлебавши, ушла домой. Поэтому на старости лет она осталась совсем без пенсии и жила в доме моего дяди Николая Александровича до самой смерти — лет эдак до восьмидесяти двух. Из четверых ее сыновей: Иван и Леонид — погибли на фронте, а двое — Николай и Аркадий — пришли инвалидами после тяжелых ранений.

И летом, и зимой все сельские развлечения были к нашим услугам: купание в озере и на реке, рыбалка, походы за грибами и ягодами. Дом был свой — с огородом, поэтому немалое время отнимала и помощь по дому: дрова, уборка снега, работа в огороде.

Мать, Лидия Андреевна, всю жизнь отработала лаборантом на местном хлебном элеваторе. Семья ее жила бедно, голодно, она пошла работать в 1942 году — четырнадцати лет от роду, сразу после окончания семилетней школы. Учиться хотелось — в педучилище или медучилище, бывших неподалеку, но родителям нужна была рабочая карточка (600 граммов хлеба) работающей, а не иждивенческая (200 граммов хлеба), иждивенцев в доме было и так полно.

Родители мои женились по любви в 1949 году и стали жить в доме тетки — Ольги Васильевны (сестры бабушки Клавдии), муж которой умер, а все трое сыновей погибли на войне. Дом был большой — с чуланами, обширными сенями, мастерской на первом этаже и огромной русской печкой, на которой так сладко было долгими зимними вечерами читать

сказки или рассказы про пограничников, слушая завывание ветра в трубе. В огороде была своя банька, кусты черной смородины (хорошо плодоносившие) и вишня с яблоней, обильно цветущие каждый год, но не дававшие плодов. Держали в хозяйстве козу Муську, которая меня почему-то терпеть не могла и при каждом удобном случае бодала своими рогами, поросенка и с десяток пестрых кур. С той поры мое любимое молоко — козье.

Большое впечатление в школе на меня оказал наш классный руководитель в пятых — восьмых классах, учитель географии Владимир Иванович Сушенцов. Он окончил Ленинградский университет, и его рассказы о дальних странах, пиратах и флибустьерах, путешествиях по Кавказу были очень увлекательны.

В девятом-десятом классах я учился уже в городе — в средней школе № 1 Советска — и очень благодарен учителям, учившим меня: Любови Васильевне Шелапугиной (классному руководителю, которая всю душу вкладывала в свой класс), Валентине Степановне Ворониной — учительнице истории, да и всем другим предметникам, заложившим прочные основы моих школьных знаний.

После окончания школы в 1973 году я поступил на исторический факультет Нижегородского (тогда Горьковского) госуниверситета. Все пять лет я жил в студенческом общежитии факультета на Ульяновке — в старой части города, недалеко от кремля и волжского Откоса, — и это стало для меня мощной школой житейского жизненного опыта. В общежитии жили студенты со всего Союза: из Украины, Белоруссии, Средней Азии (туркмены, таджики, узбеки — целевики), Горьковской области.

Свободы для студентов было очень много: вечерами кипели жаркие споры по политическим, культурным, национальным проблемам. Свободомыслия было «от пуза». Будучи студентом, был, пожалуй, самым свободным человеком за свою жизнь. Летом, как правило, ездил в Крым: на археологическую или педагогическую практику, путешествовал.

Занимался с удовольствием, получал повышенную стипендию, на которую тогда можно было с небольшими добав-

ками жить. Изучал русскую историю XIX века — эпоху декабристов. На эту тему и написал дипломную работу, получив по окончании диплом с отличием. Моим научным руководителем в университете был кандидат исторических наук Владимир Николаевич Сперанский, один из самых умных людей, с которыми мне довелось встречаться в жизни. Ум его был настолько глубок, что как-то обессиливал сам себя, лишал его творческой силы.

На факультете, в преподавательской среде, постоянно кипели жаркие страсти, гремели звонкие скандалы с политическим душком. Мой шеф был из группы гонимых, человек под подозрением, поскольку некогда в 1968 году подписал какое-то коллективное письмо против ввода советских войск в Чехословакию. Процветали кланы и группировки, сплетни, подкопы (все это в преподавательской среде, хотя частично преподаватели вовлекали верных им студентов в сферу своего влияния). При мне процветал клан одного профессора — блестяще умного и талантливого человека с очень своеобразными представлениями об этике и морали. Его питомцем и прямым наследником стал нынешний декан истфака университета, которого я тоже хорошо помню.

Профессиональный уровень преподавателей в целом (за немногими исключениями) был вполне приличный. Мы, хотя и недолго, кроме сугубо исторических курсов, учили латынь и древнегреческий, древнерусский и советскую литературу — и многое другое, — что серьезно расширяло наш гуманитарный кругозор.

По окончании университета в 1978 году я был направлен по распределению в Киров (Вятку) в Кировский госпединститут. Мне хотелось вернуться именно на Вятку, хотя были интересные варианты работы на Урале. Проработав четыре года до аспирантуры в институте, я уехал назад в Горьковский университет в аспирантуру к очень известному тогда и авторитетному профессору Валерию Яковлевичу Доброхотову. Благополучно завершив обучение в аспирантуре и досрочно защитив кандидатскую диссертацию по проблемам развития высшей школы в Советской России 1920-х годов, я вернулся назад в Кировский пединститут.

Краеведческими проблемами я стал заниматься сразу по приезду в Киров и уже в 1979 году опубликовал свою первую научную статью в краеведческом сборнике «Вятка» — «Кукарские кружева», об истории возникновения одного из самых знаменитых в крае кустарных промыслов — кружевоплетении. Мне это было интересно вдвойне, так как промысел этот связан со слободой Кукаркой, моей родиной. Плела кружева моя бабушка — Клавдия Васильевна, до сих пор плетет моя тетья — Нина Андреевна. В Жерновогорье очень многие умели плести кружева и зарабатывали этим себе на жизнь, хотя цены на кружева всегда были грошовые и жить только этим было нельзя.

Занимаясь широко краеведческими изысканиями, я увлекся историей жизни знаменитого в XVIII веке поэта и переводчика — нашего земляка Ермила Кострова. Мне посчастливилось найти в госархиве Кировской области точные сведения о дате его рождения и семье — сделать небольшое открытие (до этого сведения в энциклопедиях были противоречивы). Затем я написал небольшую книжку — биографию поэта — и опубликовал ее.

Много лет я увлекался устной историей — записью рассказов крестьян — вятских старожилов о прошлом. Итогом этой работы стали две моих книги: «Россия и русские» (Киров, 1994) и «Народ на войне» (1996). Изучение русской провинциальной историографии завершилось для меня в декабре 1994 года защитой докторской диссертации.

В области краеведения своим учителем я считаю Евгения Дмитриевича Петряева, с которым мне посчастливилось довольно много беседовать обо всем на свете. Такого блестящего собеседника в жизни мне более встречать не приходилось.

В науке мне большую помощь своими советами и руководством оказали такие выдающиеся русские ученые, как археолог Александр Александрович Формозов и историк-археограф Сигурд Оттович Шмидт, сын знаменитого полярика.

Очень важной для меня была работа в составе редколлекции серии книг «Энциклопедия земли Вятской», где я стал

составителем четвертого тома «История». Организаторы этого дела — местные писатели Владимир Арсентьевич Ситников и Надежда Ильинична Перминова. Долго работал я над книгой по истории Вятлага. Это очень большая и страшноватая тема.

Живу постоянно в Кирове (Вятке), работаю профессором в Вятском госпедуниверситете.

Вятский край мне очень нравится своей колоритностью, патриархальностью, замедленностью исторического развития. В центре страны следы уходящей эпохи уже полностью стерлись — а здесь застряли своими остатками в быту и поведении населения. Так что наш край — рай для историка и этнографа. В этом моя удача.

Словарь архаизмов, диалектизмов и терминов советской эпохи

Баское — красивое, пригожее.

Босики — легкие берестяные лапти без завязок.

Бродни — вид легких лаптей.

Бурак — круглая коробка из бересты.

Вёдро — сухая, ясная погода.

Вятлаг — Вятский лагерь НКВД СССР.

Горбуша — коса с короткой ручкой.

Гуж — кожаная петля в хомуте.

Извоз — крестьянский промысел по перевозке грузов на лошадях.

Кабан — большой стог сена.

Каптенармус — должность в российской армии до 1917 года.

Ответственный за ротное имущество.

Катать валенки — изготавливать валенки.

Кладня — стог из хлебных снопов.

Колымить — в данном контексте — работать.

Кошули — мужская верхняя крестьянская одежда.

Куделя — чесаный и приготовленный для пряжи лен.

Куркуль — богатый крестьянин.

Ликбез — пункт ликвидации безграмотности среди крестьян.

Молоканка — пункт приема молока.

Мясоед — период года, когда верующие могут кушать мясную пищу.

Набойное — узорное.

Напрягут — напекут.

Новины — холсты.

Обмолотка — остатки снопов.

Обрат — обезжиренное молоко.

Осырок — участок земли.

Помочь — совместная работа крестьян в помощь кому-либо.

Портенина — грубая ткань из домотканого холста.

Поскотина — огороженное поле за деревней для выпаса скота.

Продразверстка — изъятие у крестьян хлеба советской властью в годы Гражданской войны.

Самообложение — сбор средств на удовлетворение общественных нужд, по сути — дополнительный налог на крестьян.

Середь, середа — часть крестьянской избы около печи.

Стожар — длинный шест в центре стога сена.

Суслон — небольшой стог из снопов на хлебном поле.

Твердое задание — специальный налог, накладываемый в годы коллективизации на зажиточных крестьян.

Тюкнешь хлеба — здесь: выкосишь немного ржи.

Угорчина, угор — холм.

Хлыст — длинное бревно.

ЧТЗ — Челябинский тракторный завод.

Содержание

Что такое устная история?	5
Раздел I. ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ	13
Глава 1. Начало века	15
Глава 2. Сплошная коллективизация.	28
Глава 3. Раскулачивание	36
Глава 4. Колхозная держава	41
Глава 5. Сталин глазами русских крестьян	55
Глава 6. О налогах	63
Глава 7. Об арестах	67
Раздел II. КРЕСТЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ	73
Раздел III. БЫТ И ПРАВЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ РУСИ	95
Глава 1. Мир, в котором жили.	97
Глава 2. Большая семья.	111
Глава 3. Босоногое детство.	119
Глава 4. Хлеб наш насущный	127

Глава 5. Праздничная Русь	134
Глава 6. Вера и суеверия	145
Раздел IV. СОРОКОВЫЕ-РОКОВЫЕ...	159
Глава 1. Начало войны	161
Глава 2. Солдат в бою	174
Глава 3. В обороне и наступлении	183
Глава 4. Страх и ненависть	198
Глава 5. Женщины на фронте	205
Глава 6. Госпиталь	215
Глава 7. Фронтовой быт	229
Глава 8. Фашистский лагерь	237
Глава 9. В оккупации	241
Глава 10. Деревня военной поры	256
Глава 11. Царь-Голод	271
Глава 12. «Я и лошадь и я бык...»	291
Глава 13. Горе горькое	301
Муки памяти (вместо заключения).	307
Приложение. Черты из моей жизни	309
Словарь архаизмов, диалектизмов и терминов советской эпохи	320

- Бердинских В.
Б48 Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке / Виктор Бердинских. — М. : Ломоносовъ, — 2011. — 328 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-112-0

Книга доктора исторических наук, профессора Виктора Бердинских, созданная в редком жанре «устной истории», посвящена повседневной жизни русской деревни в XX веке. В ней содержатся уникальные сведения о быте, нравах, устройстве семьи, народных праздниках, сохранившихся или возникших после Октябрьской революции. Автор более двадцати пяти лет записывал рассказы крестьян и, таким образом, собрал уникальный материал, зафиксировав взгляд на деревенскую жизнь самих носителей уходящей в небытие русской крестьянской культуры.

УДК 392

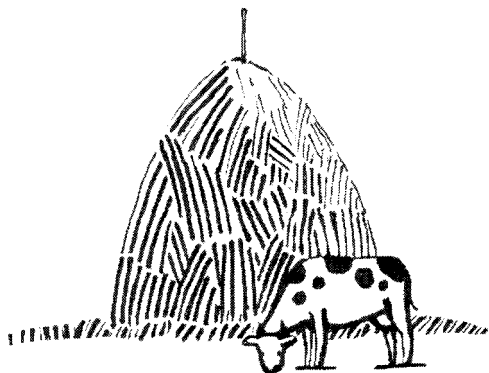
ББК 63.3(2)6

История. География. Этнография

Виктор Бердинских

Речи немых

Повседневная жизнь
русского крестьянства в XX веке



Редактор В. Королева
Художественный редактор Е. Трушина
Верстка М. Васильевой

Подписано в печать 25.02.2011.

Формат 60×90/16.

Усл. печ. л. 20,5. Тираж 1500 экз. Заказ № 5028

ООО «Издательство «Ломоносовъ»

119034 Москва, Мансуровский пер., д. 13

Тел. (495) 637-45-49

info@lomonosov-books.ru

www.lomonosov-books.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.оаомрк.ру, www.оаомпк.рф
тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

Виктор
Бердинских
Речи немых.
Повседневная
жизнь русского
крестьянства
в XX веке

Двадцатый век жестоко обошелся с русской деревней — сломал привычный быт, нарушил преемственность поколений, уничтожил традиции. Погиб огромный материк русской народной культуры, и лишь отдельные ее носители продолжают жить среди нас. Они видят крестьянский мир изнутри, помнят то, что не фиксируется ни в каких документах, они — последние носители знания об исчезнувшей деревенской России. Историк Виктор Бердинских почти три десятка лет записывал рассказы этих людей, и в итоге сложилась картина повседневной жизни русского крестьянина в двадцатом веке. Книга «Речи немых», созданная в редком жанре «устной истории», посвящена деревенскому быту, нравам, устройству семьи, народным праздникам, насильственному раскрестьяниванию России.

Виктор Бердинских — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и краеведения Вятского университета.

ISBN 978-5-91678-112-0



9 785916 781120